

ЛЕВ РАЗГОН

ОДИН ГОД И ВСЯ ЖИЗНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







ЛЕВ РАЗГОН

ОДИН ГОД И ВСЯ ЖИЗНЬ

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

Художественно-документальная
повесть

Рисунки
Г. Филипповского

Р $\frac{0763-352}{101(03)73}$ 563—73



Глава I



Татьянин день



Какой будет год?

— Какой будет год? Отвратительный! Не понимаю, Саша, откуда, из каких источников черпаешь ты свой оптимизм? Ну чем тысяча девятьсот одиннадцатый год будет лучше, чем тысяча девятьсот десятый? Разве только тем, что в нем не умрет гениальный писатель. Толстого уже больше нет... Толстого нет, а вот Кассо остался! И будет дальше идти вся эта круговерть! Студенты — митинговать, попечитель — дрожать от страха, в университете на каждого студента придется по два полицейских, Мануйлов всех станет уговаривать... До науки никому никакого дела нет! Как будто она и не нужна России!

Лебедев в сердцах отодвинул чашку и свирепо посмотрел на Эйхенвальда. Тот отложил в сторону газету и, смеясь, погладил свою маленькую русую бородку.

— Злой Петя хочет сказать, что российское правительство не почитает науку? Напрасно, дружок. Вот в сегодняшней газете сообщается: на физико-математическом факультете один заслуженный профессор и два ординарных к новому, тысяча девятьсот одиннадцатому году высочайше награждены Станиславом первой степени... И будут теперь почтеннейший Алексей Петрович Соколов, Млодзиевский и Цераский на торжественных актах на свои сюртуки звезду нацеплять. А то и ленту... Представляешь

себе нашего звездочета, Витольда Карловича, в этаком виде? Мефистофель со Станиславом! Умора!..

— Да уж куда уморительней! Если бы за дело награждали, то в нашей обсерватории Штернбергу надобно было орден дать, а не профессору Цераскому. Работает-то Штернберг! Да и на кой они, эти бляхи? Вот Сергею Алексеевичу Чаплыгину опять отказали в оборудовании для его лаборатории, а орденок Владимира четвертой степени дали... Как столоначальнику какому-нибудь... А Михаилу Александровичу Мензбиру немного повыше — Владимира третьей степени. Стоило, значит, быть в России двадцать пять лет профессором, знаменитым на весь мир естествоиспытателем, быть избранным помощником ректора в старейшем русском университете, чтобы удостоиться третьесортного орденка! Тьфу! Ты, Саша, видел эти длиннейшие списки награжденных? Ежели Мензбиру такой орденок, то сколько же в России гениев, раз их государь осыпает всякими там белыми орлами с алмазами и без них!..

— Как это у твоего любимого Гёте сказано: «Гораздо легче ведь венок сплести, чем голову, его достойную, найти...» Так, кажется?..

— Петя! Как бы то ни было, а поздравить надо...— Хозяйка стола умоляюще взглянула на мужа и перевела глаза на брата, как бы ожидая от него поддержки.— Витольд Карлович, при его польском гоноре, никогда не простит, если не нанесем визита. Ты же знаешь его характер! Будет дуться целый год...

— Нет уж, уволь, Валя, от этого!..— Лебедева даже передернуло.— Я этими визитами наелся на всю жизнь! Скоро двадцать лет, как начал работать в университете, и за это время от профессорских визитов чуть припадочным не стал. Да ты, Саша, не смейся! У тебя другая жизнь, ты ведь не только приват-доцент, ты музыкант, композитор, художник, чуть ли не артистическая там богема... С тебя взятки гладки! И тебе все простится. Да и время сейчас другое, все же позади пятый год и всякая там цивилизация. А я, когда после свободной жизни в Страсбурге приехал в первопрестольную, от российских профессорских обычаев аж извелся... Представляете, несколько раз в год надо делать всем профессорам обязательные визиты... А кроме того, у каждого солидного профессора свой день для приема гостей. У одного собираются по четвергам, у другого по пятницам... Одни и те же люди, одни и те же

разговоры, как на университетском совете. Даже харчи одни и те же... Семга двадцатикопеечная, пироги с немыслимой начинкой, всё те же вина — рейнвейн да сотерн, да водка от Смирнова. Профессорские жены сидят в столовой, точат языки про отсутствующих, о том, кому граф Комаровский цветы прислал... А в кабинете у хозяина почтеннейшие профессора, цвет русской науки, ведут неторопливые разговоры. О чем, думаете? О науке? Как бы не так! О ректоре, о попечителе, о министре... Кто что где сказал, кого куда прочат, что могут значить слова государя на приеме, что опять этот необузданный Тимирязев выкинул... И ведь не дурни какие, не чиновники сплетничают — нет, настоящие большие ученые, известные во всем мире! А послушаешь со стороны, ну, будто ты среди департаментских чинуш сидишь! Попробуй только вставь слово о том, что Томсон в Кембридже делает, на тебя как на Чацкого посмотрят: куда лезешь, для таких разговоров есть университет... А я еще к тому был холост, молодой приват-доцент с перспективой на экстраординатуру... Так, значит, мне еще положено в гостиной толкаться, там профессорши своих дочек, что на выданье, привезли... Уже одна за рояль засела, сейчас танцевать начнут...

Эйхенвальд от хохота раскачивался на стуле.

— Петя, милый, так ты же знаменитый московский танцор! Душа общества, распорядитель на всех балах... Забыл уже, каким был?

— Хотел бы забыть — не дают, дураки! Ну, когда реалистом был, танцевал, барышням букеты подносил — словом, вел себя, как и положено купецкому сыну. Так ведь то время прошло. Теперь я ученый, у меня есть дело — самое для меня интересное на свете, а я должен тратить время, чтобы слушать скучнейшие разговоры, развлекать перезрелых дур... А сам думаю: ах, как бы в лабораторию сбегать, еще раз на прибор посмотреть! А ты слушай, как Андреев хихикает, своим красным носом принюхивается к новостям из министерства... И держит его по ветру... Ну, натурально, стал превосходительством, деканом...

— Так Константин Алексеевич не дурак, совсем не дурак. И не только по службе. Он, по-моему, и в науке не глупец.

— Ты, Саша, смеешься над моим пристрастием к Гёте, а он, хотя и тайный советник был, и не без суетности, а говорил правильно. Про этот случай как раз сказал:



«Глупцы и умные одинаково безвредны; вредны только полуглупцы и полуумные...» Не знаю уж как в жизни, а в науке все делать наполовину — безнравственно да и бессмысленно... Да чего я тебя уговариваю, когда ты это все знаешь не хуже меня! Сам так думаешь.

— Ну, злоязычники! — Валентина Александровна решительно встала из-за стола.— Не знаю, Петя, как насчет профессорских жен, а на твой язычок попасть — не приведи господи!.. Чего же ты хочешь, чтобы тебе, такому, начальство улыбалось?..

— Да я плевать хотел на все их начальственные улыбки! Мне нужно, чтобы они не мешали, не мешали науке! Н-не-ме-ша-ли!!! Понимаешь, не мешали! Не так уже много я успел, и времени мне уже осталось мало, совсем мало... Пусть только мне не мешают! Мне не нужна их политика, их оглядки то на социал-демократов, то на черносотенцев,

их постоянные заботы: что скажет какая-нибудь Марья Алексеевна в Петербурге или Лондоне!.. Дайте мне работать — вот чего я хочу!

— Ну, успокойся, Петр! Смотри, до чего ты мою сестру испугал! — вмешался Эйхенвальд.— Все, что говоришь,— правда. Но никто же не может сказать, что ординарный профессор Московского императорского университета, статский советник Петр Николаевич Лебедев, ничего не успел сделать. Слава богу! И имя твое известно всему миру, и избран членом Лондонского королевского общества, и школу русских физиков основал, и лаборатория твоя упоминается рядом с Кембриджем или Манчестером. И не много в Москве, да и в России, есть ученых, которых бы молодежь так любила, как тебя... Всем нам в России не сладко, не одному тебе... Конечно, прошлый год почти пропал для университета. Но говори мне что хочешь, а все же верю в хорошее. Прояснится все, из всей этой суматохи вызреет что-то настоящее и нужное. Помнишь, как мы с тобой забирались к моему папаше в его фотолабораторию? Темно, немного страшно, в углу красная лампочка светится, отец опускает в ванну большой кусок белого стекла, он мутнеет в растворе, пятна грязные расползаются, потом сливаются, уже и разобрать что-то можно... А назавтра в витрине выставлена новая отличная фотография! Я думаю, что так и в жизни происходит. Идет проявление негатива, пока трудно понять, что там изображено, но процесс превращения негатива в позитив проверен и неотвратим. Вот в чем и состоит, Петр, источник моего оптимизма...

— Красивый, красивый образ, Сашенька, красивый!.. Но ты же не только художник, ты и ученый. Да не какой-нибудь, а физик! И хороший физик! Ты отлично понимаешь, что в основе твоего поэтического сравнения лежит физическое явление. Камер-обскура снимает то, что есть в реальности. Превращение негатива в позитив, в хорошо сделанную фотографию,— конечно, процесс закономерный. А только что на этой фотографии будет изображено? Отец твой был не просто фотографом, а художником, он снимал дамочек так, что они у него все красавицами выходили. Красиво усадит, головку выгодно повернет, свет искусно направит, потом ретуширует... Глядь, неземной красоты создание на фотографии! А познакомишься с этим неземным созданием — курносая лабазница с Болотной... Вот так-с! Пойдем лучше, оптимист, в лабораторию! Там тебе

мой Гопиус объяснит, что выйдет на реальной фотографии. Человек он не только прекрасный, но и красный, он с тебя твой оптимизм мгновенно снимет!..

— Нет уж, пойди один. Все-таки вчера был Новый год, мне еще сегодня покрутиться надобно. У меня, как ты говоришь, удовольствий много, а у тебя одно: лаборатория... Ты в нее идешь, как я в концерт.

Лебедев встал из-за стола, и у Эйхенвальда защемило сердце от тайной тревоги за друга. Был Лебедев все так же необыкновенно красив, как и прежде: крупная, хорошо вылепленная голова, выразительное лицо, под бархатной курткой чувствовался торс атлета. Все как прежде. И все не как прежде. Крупная, ранняя седина, усталые, даже страдальческие глаза, тяжелое дыхание, и эта странная сутулость... Сутулый Лебедев! Невозможно в это поверить! Этот спортсмен, бравший призы на гребле, конькобежец, теннисист!.. А каким силачом, красавцем он приехал двадцать лет назад из Германии! Быстро же тебя уходила матушка-Москва!.. Ах, как быстро, обидно быстро...



На втором этаже

Как и у других профессоров университета, квартира Лебедева была рядом, в университетском доме. До Физического института было несколько минут ходьбы. Еще совсем недавно Лебедев почти пробегал крошечный университетский двор. Теперь он шел медленно, прислушиваясь, как внутри него, где-то слева, чуть-чуть побаливает...

Двор был памятен, очень памятен. Еще стоит на своем месте старая столетовская лаборатория. Этот небольшой двухэтажный дом был построен для ректора давно, в позапрошлом еще веке. Один из немногих московских домов, уцелевших от великого пожара 1812 года... Кто только не жил в этом доме! Была там квартира Надеждина, что издавал «Телескоп», где Чаадаев печатался... И квартировал

у Надеждина Белинский... И сколько знаменитых русских ученых прошло через этот ректорский дом!.. Когда Лебедев двадцать лет назад, в 1891 году, после окончания Страсбургского университета, приехал в Москву, как же его поразил этот дом! В Германии он был бы весь облеплен мраморными досками с надписями о том, кто из великих и знаменитых тут жил и работал... А старый ректорский дом Московского университета был донельзя грязным и запущенным, с выщербленными камнями фундамента, с осыпавшейся штукатуркой, покосившимися гнилыми перилами лестницы.

Эта лестница со ступенями, стертыми несколькими поколениями студентов, вела на второй этаж, туда, куда он так давно хотел попасть... Конечно, Кундт в Страсбургском университете был отличным физиком, прекрасным учителем, хорошим человеком. Лебедев о нем вспоминал с нежностью и благодарностью. А учиться он все же хотел здесь, у человека, перед которым преклонялся... И — добился своего! Добился, как всегда добивался того, чего хотел. И если не пришлось ему слушать лекции Столетова, то все же начал он работать у Столетова, под его началом... Столетов, потом Николай Алексеевич Умов — все же ему везло на учителей, на старших товарищей.

Здесь, в крошечной, захламленной лаборатории, он начал работать третьим лаборантом. После больших, отлично



оборудованных физических лабораторий Страсбургского университета лаборатория Столетова показалась каморкой, куда свалили старые, сломанные и ненужные приборы. Все они — самодельные, изготовленные где-то на стороне, нанятым умельцем. Студенты, будущие физики не имеют понятия, как самим выточить для своего же прибора нужную деталь, как самому сделать стеклянный змеевик, выдуть сложную колбочку... Библиотеки нет. Чтобы прочесть не только иностранный, а свой русский физический журнал, надо бегать в университетскую библиотеку... Заведующий лабораторией, почтеннейший Алексей Петрович Соколов, и двадцать лет назад был так же труслив, как теперь. Пойти к начальству попросить несколько сотен рублей на оборудование — для него нож острый... Когда Лебедев стал ему доказывать, что без механической мастерской лаборатория работать не может, что нужен инструмент, нужен хоть один токарный станок, Алексей Петрович стал отмахиваться, как от нечистой силы. А вся смета, составленная Лебедевым, была на триста рублей! Для Соколова она казалась немыслимо высокой, с такой сметой он боялся и сунуться к проректору.



Особенно его пугал станок, настоящий токарный станок... Он несколько часов убеждал молодого лаборанта, что даже если до самого попечителя дойти, то станок все равно вычеркнут, скажут, что станок — не научный прибор, а так, что-то мастеровое, недостойное и ненужное для императорского университета, что это они — Соколов да Лебедев — понимают, что станок нужен, а другие этого и понять будут не в состоянии и счет на станок вернут назад со скандалом. Лебедев тогда сам поехал на Рождественку в магазин Махина, выбрал универсальный токарный станок и сказал, чтобы в счете было написано: «Прецезионная дребанка». Приказчик вопросительно взглянул на него, и Лебедев ему объяснил, что дребанка по-немецки и есть

станок; на простом заводе он зовется станком, а в университете —по-иностранному, дребанкой... И не только приказчик у Махина, но и университетское начальство поверило в эту дребанку. Напрасно дрожал Алексей Петрович, никто счет назад не вернул. А станок установили в лаборатории, и Лебедев сам показал другим лаборантам и студентам, как можно на нем выточить любую нужную деталь к прибору. Ну, а раз появился станок, то и человек понадобился для работы и для того, чтобы обучать студентов,— не профессорам же стоять за станком!.. Вот тогда и появился Громов — бог токарного дела... Сейчас, пока студент не пройдет «громовский университет», Лебедев не разрешит ему начинать практику в лаборатории.

Но это сейчас. И не в старом ректорском доме, а в новой лаборатории. Даже не лаборатории — теперь она именуется Физическим институтом. Сколько забот, волнений было, когда решили наконец построить в Московском университете современную физическую лабораторию! Время-то было тревожное, начальство совершенно заморочено, министров — даже министра народного просвещения — революционеры, как зайцев, хлопали... И все-таки семь лет назад, в 1904 году, во дворе старого здания открыли Физический институт. Ах, какое счастье, какое невероятное счастье испытал Лебедев, когда получил в этом здании свою, совсем свою лабораторию!

Правда, это были небольшие комнаты, но это были его собственные, лебедевские, для его собственной работы — работы физика, а не учителя! А студентам отвели большой подвал. И в нем множество небольших комнат, чтобы студенты не мешали друг другу, могли быть сосредоточенны, не отвлекались. Все в новом здании делалось по проектам Лебедева. Устраивать многочисленные маленькие комнаты вместо одного большого зала — аудитории было дорого. Но когда Лебедев объяснял в присутствии самого попечителя учебного округа, что студент должен быть изолирован от других, чтобы ему не мешали ни возмущения, вызванные работой соседних приборов, ни разговоры товарищей, то попечитель быстро переглянулся с ректором и сказал, что прав, безусловно прав уважаемый Петр Николаевич, что, конечно, студентов следует изолировать друг от друга,— от этих там разговоров и прочих возмущений... А что дорого — так для пользы дела и не жалко денег. Лебедев сразу и не понял причину этой уступчивости, потом только дога-

дался: он и университетское начальство по-разному понимают слово «возмущение»... Ох, трусы жалкие!

Но как бы ни было, а лебедевская лаборатория была построена. И в ней, слава богу, не хуже, чем когда-то у Кундта в Страсбурге. Есть собственная механическая мастерская с небольшим штатом, есть возможность самим изготовлять необходимые приборы для опытов. И название хорошее: «Лаборатория научных исследований по физике профессора Лебедева». Все в этой лаборатории пришлось подбирать чуть ли не по гвоздику... В конце года университетский бухгалтер принес ему подписывать отчет по лаборатории: приобретено за 1910 год 16 предметов на сумму 1039 рублей 50 копеек... А всего на 1 декабря 1910 года значится в лаборатории научных исследований 1229 предметов на сумму 30 268 рублей и еще 21 копейка... Предметы! Это же нужно придумать так назвать!.. Предметы! И его, лебедевский прибор, который он придумал для доказательства, что свет давит на вещество,— это тоже предмет! Лебедев вспомнил, как это делал всегда, когда ему становилось плохо, как он изготовлял этот прибор. Как сидел и прилаживал тоненькие, почти прозрачные листочки золота: не давалось ему — хоть плачь! А потом, когда все было готово и прибор заработал, ночью прибегал смотреть: правда это? Получается снова? Еще раз и еще раз!.. А теперь вот это — придуманное бессонными ночами, выстраданное, сделанное до последнего винтика его руками— называется «предметом» и числится в университетской лабораторной описи среди других тысячи двухсот с чем-то «предметов», рядом с ученическим фабричным электроскопом, рядом с простым цейсовским спектроскопом...

У дверей Физического института студенты весело толкали друг друга, стараясь свалить товарища в свежий сугроб. Увидев своего профессора, они шумно расступились.

— С Новым годом, Петр Николаевич!

— Здрасте, Петр Николаевич, с самым Новым годиком вас!

— Со вторым десятком двадцатого века, Петр Николаевич!

Лебедев приподнял бобровую шапку, отвечая своим ученикам. В другое время он обязательно бы остановился с ними пошутить, поддеть кого-нибудь, процитировать своего любимого Гёте... Но сегодня ему было опять плохо,

опять сжимало сердце,— наверное, этот дурацкий спор с Сашей Эйхенвальдом... Самый близкий, самый любимый друг с детских лет, брат жены, блестящий физик, редкий умница — а все равно не понимает его! Саша — человек из итальянского ренессанса! Он физикой занимается так же блестяще, с таким же удовольствием, как и музыкой... Не только музицирует, но и увлекается теорией музыки, живописью, не пропускает ни одного концерта, ни одного вернисажа, дивный лектор, блестящий оратор... Ему удается все, за что только берется... Моцарт, черт возьми! А для него, Лебедева, теперь есть на свете только одно — его физика! Саша никак не может забыть старого, когда реалист Петя Лебедев был первым среди той московской молодежи, что бездумно веселилась, танцевала, играла в лаун-теннис... Саша, хотя он и старше его, еще полон такой же жизненной силы, как и тогда, в юности. Ему все вкусно, все под силу... А у Лебедева все на исходе... Сил уже немного, а дел? Нет, не хочет он ничем умалять ни Академию наук, ни Петербургский университет, но все же здесь, в Москве, в этом здании, закладывается школа русских физиков, школа исследователей, а не школяров!.. И каждый пропущенный день, отнятый у него, Лебедева,— огромная личная обида, невосполнимая утрата!.. Вот этого-то Саша и не понимает. И не только Саша, но и другие, что считают его чуть ли не «академистом», которому плевать на все, что вокруг делается, лишь бы его наука не пострадала...

Старый служитель Максим открыл перед ним дверь в лабораторию и вопросительно посмотрел на профессора.

— Нет, нет, Максим! Не буду сегодня заниматься. Вот посижу тут немного, а потом пойду в подвал. Иди туда!

...И сегодня не буду заниматься, и завтра не буду. И неизвестно, когда буду... Конечно, свой зенит он уже прошел! Последние два года ему дорого обошлись. Когда он еще в Страсбурге взялся за экспериментальное подтверждение теории Максвелла, ему было куда легче!.. И не потому, что он тогда был моложе, сильнее, увереннее в способности всего добиться. Только много лет спустя он понял, что доказать давление света на молекулы твердого вещества куда легче и проще, чем убедиться самому и убедить других, что речь идет не о чем-нибудь, а о законе природы, ЗАКОНЕ! А для этого надо было взяться



за самое трудное — за доказательство давления света на газы...

Ох, какие это были трудные, страшные для него годы! Иногда опыт ему казался неосуществимым... Ведь давление света на газ в сотни раз меньше, чем давление света на твердое тело. Если там примерно половина миллиграмма на квадратный метр, то здесь?.. Зоммерфельд и Аррениус — на что опытные физики! — те просто отрицали возможность доказать световое давление на газы... И вот здесь, в этих двух комнатках, бился он, чтобы сконструировать прибор и доказать, доказать!..

Ну, хватит об этом! Хорошо, что сегодня нет лекции. Лекций Лебедев не любит. Зачем? Физика — не римское право, не история средних веков. О ней не рассказывать надо, а ее надобно изучать! Не за школьной партой — в лаборатории за прибором! Ничего не брать на веру, все подвергать сомнению, все самому проверять. Но убедить в этом университетских зубров невозможно! И надобно время от времени подыматься на профессорскую кафедру

и перед этим волноваться, как накануне экзамена... Лебедев вспомнил свою первую, свою «пробную» лекцию тогда, в девяносто шестом году, перед тем как его зачислили в приват-доценты... Шел на нее как на плаху: бледный, закостеневший, внутри все сжалось... И голосом каким-то не своим говорил... И уж сколько лет прошло, а все равно не может он никак привыкнуть к лекциям. И хоть говорят про него, что он острослов, едкий и насмешливый, из тех москвичей, что слезам не верят и кому палец в рот не клади... а как выйдет на кафедру, все это с него мигом слетает...

И почему студентам, будущим физикам, исследователям природы, нужно читать «Общий курс физики»? Общий курс требуется в гимназии или в реальном. И его можно по книжкам изучать. Взял три тома Хвольсона да и прочел! А университет для другого — для науки, для исследования. Студент учится спрашивать природу, понимать ее ответы, он должен придумывать язык для разговора с природой!..

Лебедев сидел на стуле, слегка покачивался и даже повеселел от воспоминаний. Профессора — они так мало меняются, лучшие из них — все же из чеховской «Скучной истории»... Они любят большие аудитории, набитые робкими, трепещущими от волнения неофитами науки. И любят появляться в этих аудиториях, как священники, когда они в сопровождении диаконов выходят из алтаря... Служители несут приборы, за ними величественно, одетый в сюртук, идет сам профессор, сейчас он взойдет на кафедру — как на амвон! — и начнет рассказывать об открытиях прошлого века так, как будто это он сам вчера после обеда открыл...

И все они были так удивлены, что приват-доцент, а затем уж экстраординарный профессор, Петр Николаевич Лебедев охотней всего читал не общий, а факультативный курс: «Современные задачи физики» или «Прохождение электрического тока через газы»... А на факультативные лекции приходят только те, кто этим интересуется, и запихивают таких профессоров в крошечные, малоавантажные аудитории, которые служители всегда забывают убрать и подмести. Восемь лет назад, когда новое здание университета еще строилось, а все факультеты были стиснуты донельзя, ему отводили для факультативных лекций какую-то каморку под лестницей, куда могло поместиться человек

двадцать. А ему больше и не надо было! Приходило тогда к Лебедеву всего четыре-пять человек. И это были самые лучшие, самые интересные занятия... И не было на них священнослужителя-профессора и прихожан-студентов. Каждый мог перебить профессора вопросом, переспросить, не согласиться, начать спорить, потребовать доказательств... И сам он был другой, чем на кафедре в большой аудитории. Там холодный, чеканящий голос, слегка сдавленный от волнения, там ни одного лишнего слова, ни на миллиметр отступления от плана лекции. Здесь же или в лаборатории ему так свободно, ему так приятно не только говорить, но и слушать, вставлять замечания — те самые знаменитые лебедевские реплики, которые потом передаются в студенческих рассказах от курса к курсу... Да, эту молодежь у него никто не отнимет! Вот сейчас еще посижу немного, уже проходит это противное чувство в груди, уже легче стало дышать... А в подвале еще лучше станет — там он будет со своими учениками!



В подвале

В том Лебедеве, который спускался по лестнице в подвальное помещение своей лаборатории, уже ничего не было от больного полустарика, который несколько минут назад в пустой комнате раскачивался от боли и воспоминаний. Прямой, красивый, похожий на былинного молодца, он шел хозяйским шагом: уверенным, не слишком быстрым, но и без немощной медлительности. Зашел в механическую мастерскую, где с механиком Акуловым раздраженно, с красными пятнами на щеках, спорил какой-то студент... Второкурсник, кажется Лесняк его фамилия...

— Ну что, Алексей Иванович, тут у вас за спор?

— Да вот, Петр Николаевич, господин студент говорит, что он в университет поступал науку изучать, а не на завод ремесленником... Хочет, чтобы я по его чертежу тут

кронштейник сделал. А вы запретили мне выполнять заказы господ студентов.

— Значит, коллега, не хочет Алексей Иванович выполнять ваш заказ? Дайте мне чертеж, может быть, я сумею кронштейн выпилить? Времени у меня больше, чем у Алексея Ивановича, и наверняка больше, чем у вас...

— Да, Петр Николаевич, понимаете, я на это потрачу два-три часа, а механик это за двадцать минут сделает...

— А Алексей Иванович у вас, господин Лесняк,— так кажется? — не служит... Он работает в императорском университете, учителем работает, вас, студентов, учит, как приборы делать. Самим делать! Вы кем собираетесь стать?

— Ну, как это... Я вас не понимаю, Петр Николаевич... Я ученым хочу быть...

— Белоручка не может быть ученым! Тот, кто сам — и от начала до конца! — не сумеет своими руками изготовить прибор, тому нечего в науке делать! Хотите стать учителем физики в гимназии — пожалуйста: учитесь по учебникам, поезжайте на Кузнецкий мост к Швабе, покупайте готовую электрофорную эту вертяшку, пожалуйста!.. А вы пришли в лабораторию физических исследований, вы хотите стать исследователем. Кто же за вас прибор делать будет? Фарадей не стеснялся вытачивать кронштейны, Максвелл не покупал измерительные приборы, а сам их собирал. Сам! А вы думаете, что у Максвелла было времени больше, чем у вас? Вы эти два с половиной часа, что хотели сэкономить, на науку хотели потратить?

— Петр Николаевич!..

— Ну ладно. Ценю и понимаю значение свободного времени для столь молодого коллеги, как вы. Я только дружески хочу вас предупредить: прежде чем вы решите стать ученым, взвесьте всё! Наука не терпит, чтобы ей отдавали свободные часы или делились с ней временем. Она потребует от вас отказа от всего, что вам кажется интересным и приятным... Если для вас есть что-то более интересное, нежели физика, не занимайте места за столом исследователя, другим это место нужно! А Алексея Ивановича больше никогда не просите что-нибудь для вас сделать. С таким же основанием можете обращаться с подобным требованием и ко мне... Сами-с. И извините за беспокойство.

Не спеша повернулся и пошел дальше. Что-то совсем

он загнал бедного студентика, аж пунцовым сделался. Ничего, ничего... На пользу! Сам таким был, сам думал, что можно делить время между наукой и удовольствиями, пока... Что пока? Пока физика не стала для него самым большим, самым главным удовольствием на свете. Вот в чем дело! Вот об этом, наверное, следовало сказать этому, как его... Лесняку. А, что говорить, этому же нельзя научиться! Само собою все как-то происходит. Сделается так, что самым большим наслаждением для тебя станет — задавать природе вопросы и получать от нее ответы, будешь ученым! А не сделается — никто этому не научит, и ученым ты никогда не станешь, и науке ничего не дашь!..

...А вот и подвал! В сумрачный, освещенный двумя электрическими лампочками коридор выходили двери маленьких комнат, в которых работали студенты. В дальнем конце коридора сгрудились в кружок его ассистенты и студенты. Увидев в светлом проеме двери своего профессора, они небольшой толпой двинулись к нему. Тут были все его «птенцы гнезда Петрова», как их шутя и с некоторой завистью называл старик Николай Алексеевич Умов... И Вальберг, и Кравец, и Титов... И второе поколение московских профессоров — молодые Тимирязев и Млодзиевский... И Пришлецов и Лисицын. Позади, как всегда с иронической улыбкой, университетский «анфан-терибль»: желчный озорник, острый на язык и дела, по общему мнению, безусловно «красный», лаборант Евгений Александрович Гопиус... А в центре — да он и есть настоящий центр всего лебедевского выводка — его соратник, Петр Петрович Лазарев. Смешно его зовут и в глаза и за глаза — Пепелаз...

— Ну-с, с Новым вас годом, господа! Что происходит? Сколько за сегодняшний день великих открытий сделано?

— На текущем счету тысяча девятьсот одиннадцатого года в лаборатории физических исследований Московского императорского университета значится открытий — великих, средних и малых — ноль целых, запятая; величина, стремящаяся к бесконечно малой...

— Что же вы это, господа! За полдня могли и больше сделать! А небось не совершили никаких открытий потому, что вы, Евгений Александрович, изволили байки рассказывать! О том, как и кто из вышестоящих встречал

Новый год. Пройдемте-ка, уважемый, посмотрим, что делают будущие Фарадеи... И вы, Петр Петрович, пойдемте с нами...

И хотя Лебедев больше никого не звал, за ним пошли не только Гопиус и Лазарев, но и вся стайка ассистентов. Начинался знаменитый лебедевский «высочайший обход», как это называл Гопиус... Они переходили из клетушки в клетушку, иногда сразу, почти не задерживаясь, а иногда толкаясь вокруг стола с приборами и споря друг с другом... Почти во всех комнатах студенты прекратили работать и прислушивались к тому, как что-то, захлебываясь, рассказывает студент, как его поправляет Лазарев, как ржет по-жеребячьи Евгений Александрович Гопиус и как все умолкают, когда в этот хор голосов вступает спокойный и резкий голос Лебедева. И все тогда в подвале замолкает, все стараются вслушаться в то, что этот голос произносит. А некоторые просто-напросто сбегают со своих мест и толпятся в дверях крошечной комнатушки, где у стола студента профессор ведет разговор с ним и своими ассистентами. Собственно, эти лебедевские беседы и были главным событием дня в лаборатории, они давали студентам пищу для разговоров до самого конца дня. А иногда и недели. И месяца. И года. И лет...

...Ну, коллега, объясните мне, ради господа бога, как у вас он будет работать? Тут же у вас возникает магнитное поле, оно вам исказит всю картину... Как вы выделите истинную величину возбуждения? Рассчитаете? Дескать, возьмете в руки логарифмическую линейку — и раз-раз... Знаете, господа, уже вот не раз я встречаюсь с этакой непоколебимой верой в то, что математика может заменить физику. А вы знаете, что Фарадей, который был, конечно, самым великим после Ньютона, никогда не употреблял иксов и игреков. Нет-нет, вовсе не из принципов! Просто он никогда по-настоящему не учил математику и плохо ее знал. Вы только не подумайте, что современный физик может обойтись без математики. Никогда! Но математический аппарат — только аппарат, он не может заменить физическую идею. Что вы хотели сказать, коллега? Наверное, про Леверье, про Нептун, про Галле? Да? Но любой закон природы доказывается только экспериментом, только хорошо продуманным, умно и точно проделанным опытом! Без опыта нет науки! Физики, во всяком случае!.. Ну,

продолжайте, продолжайте. Поправку на величину возмущения можно подсчитать и на линейке, и на бумажке. Но отсчет должен быть сделан только по прибору и с наивозможнейшей в наших условиях точностью. Пойдем, не будем мешать коллеге.

...Так-с. И что же это будет? А чего вы в записную книжку заглядываете? Ох эти записные книжки ученых! Вот истину говорю: ну никогда, никогда ни у одного настоящего ученого не видел записной книжки! Для чего? Идею записать, что в голову пришла? Чтобы не забыть, что ли? Признаюсь, господа: с детства сам любил всё записывать. Вел самые подробнейшие дневники всех своих детских, юношеских опытов. Продолжаю их вести и сейчас. Но ведь все дело в том, чтобы постоянно об этом думать. Все время думать! Если влезла тебе в голову какая-нибудь идея, то нет надобности ее записывать: она из тебя никогда не вылезет. Что бы ни делал, где бы ни сидел, о чем бы ни говорил, думаешь только о ней, только о ней, проклятой! С барышней любезничаешь, а у самого в голове: а что, если присобачить к прибору такую штуку, поможет это устранить искажение? И в конце концов посмотрит на тебя твоя барышня да и подумает: на черта ты мне такой чудак сдался? И — фить с другим!.. Да-да, вы об этом всем подумайте, прежде чем физиком стать! Быть физиком — не приведи бог! Химик — он придумает, скажем, как из одного невкусного предмета конфетку сделать, и, смотришь, немедленно купят его способ, станет он известным, богатым, дом построит, автомобиль даже заведет. И шофер в кожаном шлеме с очками, в крагах... Тут уж за тебя всякая побежит... А физик только интересуется, почему эта катушка магнитом становится? А уж потом умный инженер из его идеи великую машину сделает. И получит за эту машину деньги и славу. Вы только не путайте физическую идею с идеей технической! Еще не знаю из истории физики случая, чтобы новая физическая идея обогатила его открывателя. Кому нужны деньги, известность, почтение промышленников — пожалуйста, господа, в Техническое. Оттуда выйдете великолепными инженерами, любой фабрикант за знания и хорошую голову отвалит вам порядочный кошель с деньгами... А у нас ни кожи, ни рожи, ни денег... Вот и подумайте!

...Как дальше? Ну, знаете!.. Фарадея однажды спросили, как вести исследования, и он ответил: начните его, продолжайте и заканчивайте. Вот и все. И вот мой совет: не начинайте опыт с убеждения, что это обязательно так! Гёте говорил, что убеждение — это не начало, а венец всякого познания. А у нас передко начинают познание с убеждения, что все вот так, мол, и так, а не иначе... Знаете, что самое главное в науке? Непредубежденность! Если вы начинаете исследование с твердой верой, что обязательно должно получиться то-то и то-то, а все остальное — ошибка, гиль, то смотрите: пропустите самое ценное, самое интересное! Знаете, как иногда злишься, из себя выходишь, когда не получается опыт, когда что-то постороннее влезает и мешает... А попробуйте подумать: что мешает, откуда постороннее, в чем его природа? И может оказаться, что это мешающее гораздо интереснее и значительнее, нежели результаты задуманного вами опыта... Я понимаю, что упорство в достижении цели нужно, очень нужно исследователю. Если вцепиться, как бульдог, в какую-нибудь проблему, то через какой-то срок, иногда очень большой срок, пожалуй, и выйдет что-нибудь. А может и не выйти... А вот в процессе исследования отбросить прежние идеи, начать все сызнова, искать новые решения — вот это, я вам скажу, работа, это жизнь! Вот так интересно жить!

...Слушайте, почему это в романах там или в пьесах ученых всегда изображают стариками? Сидит этакий старый хрыч, уставившись в микроскоп, и ничего вокруг себя не видит. А что ему видеть, от чего, собственно, отказываться, когда ты уже развалина? Да и чего такой старец в свой микроскоп увидеть может? В действительности большинство великих ученых делают главную работу в молодости. Только в молодости и бывает свежий ум, непредубежденность, вдохновение... Гёте, который в этом хорошо разбирался, говорил, что вдохновение — это не селедка, которую можно засолить на многие годы. Вдохновение любит молодых!.. Так что, господа, не откладывайте вдохновение на завтра. Дескать, сегодня, пока я молод, я в театр пойду с барышней или поеду верхом кататься, а наукой успею заняться... Не пойдет-с! Старость годится не для науки, а только для того, чтобы получать проценты с капитала, в молодости нажитого... Там всякие ученые степени, звания, медали... Сидеть на торжественных актах и дремать...

...Так все же, коллега, что значит это показание прибора? Петр Петрович! Вы объяснили господину студенту, что не следует полностью доверять гальванометру? Тут возможны очень крупные ошибки. Да, и потому что измеритель не точен, и потому что, может быть, что-то постороннее влезло. Попробуйте переставить это вот таким образом... Тогда у вас ток пойдет отсюда... Ну, это вы в гимназии должны были узнать! А вы не бойтесь неправильных мыслей, лишь бы они были смелые, шли вперед да вперед... Наука, знаете, чем-то похожа на шахматы: смелые, новые мысли рвутся вперед, как пешки, и все—одна за другой—гибнут. Но они-то и обеспечивают победу! Одна из них прорвется, станет ферзем — вот и все! Давайте, давайте... вот так сделайте, вот так!.. Ну, что вы молчите? Вы со мной спорьте, если не согласны, выложите ваши возражения! Я же вам не отметку ставлю, мы с вами ученые, спорим только об одном — об истине. Давайте же спорить! Я по лицу вашему вижу, что не согласны вы со мной. Ну и докажите мне мою неправоту... Да бросьте вы его подкалывать, Евгений Александрович! Не обращайте, коллега, на него внимания, изложите мне свои возражения! Ну, ну... Так говорите... Черт его знает! Я вам на такой вопрос сразу ответить не могу. А зачем обязательно спрашивать у своего профессора? Попробуйте решить это опытным путем. Ну конечно, времени порядочно. А только опровержение заблуждения в науке почти так же дорого, как находка истины. Мы же с вами не ради медалей наукой занимаемся! Я когда у покойного Столетова лаборантом работал, то понадобился мне для опыта алюминий. Он и сейчас не дешевый металл, а тогда он был редкостным, очень дорогим. Покупать его через университетскую канцелярию — недели пройдут!.. Так мне Столетов прислал свои медали, полученные на международных конгрессах да выставках — их тогда из дорогого и редкого алюминия делали. Я эти медали расплющивал в тоненькие листочки для прибора... А ученому для чего они еще? Как борцу в цирке, что ли, выходить: в ленте через плечо, а на ленте все побрякушки, полученные за свои открытия...

...Ничего не могу поделать! Здесь, милый, не возмущаться и негодовать надобно, а долго, очень долго заниматься тем, чтобы узнать: что же мешает опыту? Я за что,

собственно, не почитаю учебники? За то, что в них сглаживаются или же скороговоркой объясняются противоречия, существующие в науке. А то и вовсе эти противоречия замалчиваются. А в науке иногда весь смысл в этих противоречиях! Только они и бывают интересны! В них заложены все будущие научные открытия, в том числе и самые что ни на есть великие! В моих опытах на что у меня больше всего ушло времени, сил? На борьбу с тем, что мешало опыту. А мне мешала конвекция,— знаете, это такое вроде дуновение, вызываемое в газе теплом. Свет, нагревая газ, порождает в нем восходящие потоки. И нельзя понять, что же давит на газ: свет или конвекционный поток...

А радиометрические силы! Молекулы газа, когда ударяются о нагретую поверхность, отскакивают от нее со скоростью большей, чем отскакивают молекулы от неосвещенной стороны. Конечно, сила отдачи отскакивающих молекул воздействует на показания прибора... Вот так вот и сидишь у прибора и ломаешь голову: что же он показывает — силу света или же радиометрическую силу? Мучился с этим страшно, только об этом думал! Прибежишь ночью в лабораторию и до утра сидишь за прибором. То так его приспособишь, то иначе... Уж утро, надо приводить себя в божеский вид, сюртук надевать, на лекцию идти, а не хочется уходить от прибора, смерть не хочется!

Любовь и уважение к прибору! В него же вкладываешь всего себя, свою душу! Не могу понять тех, кто готов поручить кому-то другому изготовление прибора. Сейчас, когда шел сюда, зашел в мастерскую, и там один студиозус обиделся на Алексея Ивановича, что тот отказался ему деталь для прибора выточить. А я, когда ассистентом был, бился, чтобы в лаборатории было оборудование, на котором можно все для своего прибора самому изготовить. Некоторые коллеги на меня этак подозрительно косились: да он, пожалуй, и не ученый, а механик какой-то...

Вижу, коллега, понимаю, что вы хотели бы мне возразить. Хотели бы, да решили промолчать... Да, я — экспериментатор! И не думайте, что я этим хоть как-нибудь умаляю чистую теорию. Кстати, теория требует не столько умения укладывать все в ловкие, придуманные тобой математические формулы, сколько фантазии, воображения...

Недавно перелистывал я свои записи студенческих лет. Господи! Чего я только не напридумывал там! Ну что там

какой-нибудь Жюль Верн или Уэллс!.. Над многим сейчас улыбаешься, а над некоторыми задумываешься... В начале 1887 года пришла мне в голову мысль, что каждый атом нашего первичного элемента похож на Солнечную систему. В каждом атоме есть какая-то центральная планета, что ли, и вокруг нее с разными скоростями вращаются другие атомопланеты, ну, частицы атома... Сумасшедшая мысль, не правда ли? У меня не было и попытки ее обосновать, да и как бы я мог это сделать — неизвестный страсбургский студент! Но не следует стыдиться внезапных догадок. Конечно, перед самим собой... А пока у тебя нет совершенно никаких доказательств, надобно молчать в тряпочку. Но в самом себе ученому необходимо развивать воображение и не открещиваться от него. Уже задолго до нас было сказано: есть гипотезы, в которых разум и сила воображения заменяют идею...

— Гёте. Том такой-то, страница такая-то...

— Правильно, Евгений Александрович. Гёте. Не только гениальный поэт, но и великий ученый. Он это сказал больше ста лет назад. А за эти сто лет наука изменилась необыкновенно! Она может развиваться и развивается только как всемирная наука, в которой идеи не знают никаких границ, а работа одного ученого дополняет другого. Один выдвинет гипотезу, другой ломает голову над тем, чтобы это доказать, третий над тем, как использовать новую идею для решения еще одной загадки природы... Англичанин Фарадей выдвинул идею существования электромагнитных волн, англичанин Максвелл теоретически ее обосновал, немец Герц своими опытами убедительно доказал, что электромагнитные волны действительно существуют и что их свойства странно похожи на свойства света...

Я еще учился в Страсбурге, когда Кундт—он был увлекающийся человек, совсем непохож на степенного немца,— когда Кундт меня познакомил с теорией Максвелла и с его предположением, которое выглядело тогда совершенно сумасшедшим... Ведь если природа света такова же, как и природа электромагнитных волн, то свет должен воздействовать на все тела — твердые, жидкие, газообразные. Выходит, что свет, падая на тела, должен их отталкивать, оказывать на них давление. Я тогда уже закончил и защитил магистерскую диссертацию о теории Моссоти и Клазиуса, а все равно — днем, ночью — думал о гипотезе Максвелла. Мне тогда пришла в голову мысль, что доказа-

тельство правоты Максвелла надобно искать не на земле, а на небе... Кометы! Почему мы видим холодные, нераскаленные кометы? Да потому же, почему видим холодную луну,— солнце их освещает! Освещает, собственно, огромный хвост кометы. А он состоит из молекул газа — газа, невероятно разреженного. А вот почему хвост кометы всегда изогнут в сторону, противоположную лучам солнца? Ну, как вы думаете, господа, согласовывается это с фундаментальными законами природы?

— Да как-то не очень, Петр Николаевич... Масса солнца, по-моему, должна притягивать, а не отталкивать хвост кометы...

— Вот-вот!.. Конечно, по закону всемирного тяготения, солнце обязано притягивать эти жалкие молекулы, которые уж никак не могут сопротивляться силе притяжения такой массы, как солнце! А в действительности этот проклятый хвост бежит от солнца, как собака от палки!.. Так не в том ли дело, что солнечные лучи давят на молекулы газа и отбрасывают их от солнца?.. Вот что мне тогда пришло в голову, ходил я как помешанный, мог думать только об этом! Между прочим, сколько глупых анекдотов рассказывают про рассеянность ученых! Дескать, Ньютон кипятит часы, а сам смотрит в это время на яйцо, которое держит в руке. Так ведь Ньютон рассеян потому, что в это время думает! Думает! Он работает! И надо научиться так работать, думать только об одном, думать днем, ночью, думать все время!

Да. Так вот, кометы. Это все же попытка догадки, а не доказательство. И я вовсе не первый эту догадку предложил. Еще в 1619 году человек поумнее меня, не кто-нибудь, а сам гениальный Кеплер высказал предположение, что в загадочном этаком странном поведении хвостов кометы повинны лучи солнца, которые отталкивают хвост кометы... Но, конечно, доказать это Кеплер тогда не мог.

Значит, надобно ставить опыт здесь, на земле, надобно разработать эксперимент, который самым убедительным образом докажет, что существует давление света на все тела природы и что история с кометами — только частный случай явления, которое имеет всеобщий характер. Конечно, солнце притягивает молекулы газа хвоста кометы, но газ этот так разрежен, что отталкивающие силы солнечных лучей сильнее притяжения солнца. Вот так-с. И, стало быть, надо делать прибор, который всем докажет не толь-

ко существование этого давления, но и измерит его силу. И на этом приборе в правильности этих выводов сможет убедиться каждый. Каж-дый! Иначе это и не наука! Так вот: прибор, который ты делаешь,— это вопрос, который ты задаешь природе. Хочешь получить умный ответ, спрашивай умно!

— Гёте, том...

— Правильно. Так могу я просить сделать такой прибор Громова или Алексея Ивановича Акулова? Я должен этот прибор делать сам до мельчайших его деталей! И не жалеть на это времени, я же, черт возьми, учусь с природой разговаривать!

А то получится конфуз, как у меня с этими кометами. Я, когда приехал в Россию и начал в университете работать, вылез с моей теорией комет на кафедру Политехнического — уговорили меня выступить, интересно ведь... Прочитал лекцию — успех, как у Собинова! Стали меня убеждать: пошли статью о своей гипотезе в Петербург, самому Бредихину. Ведь покойный Федор Алексеевич был гений в кометной науке. И это он еще когда сказал, что хвосты комет отталкиваются от солнца какими-то неизвестными силами. И вот пожалуйста, объяснение этому неизвестному! Послал я в академию мою статью, а месяца через два мне наш почтеннейший Витольд Карлович, который и уговорил меня эту статью послать, говорит: не будут вас печатать в академии, потому что в тех книжках, по которым они все учились, про такое нигде не сказано... Вот так-то.

А потом через год познакомился я с Бредихиным, и он меня спрашивает: почему, дескать, вы не захотели статью вашу напечатать у нас в академии, что это за история странная получилась? А странность-то и состоит в том, что в науке никто не верит словам — нужны доказательства! Ищите доказательства!

Разговорился я с вами, господа! И вижу, что испортил вам всем занятия...

Действительно, занятий в лаборатории не было. Все клетушки были пусты. Студенты столпились в коридоре у дверей комнаты, где у лабораторного стола стоял Лебедев. Глаза его блестели, он выпрямился. Пальцы нервно постукивали по крышке стола.

— И подумать только, что такой вдохновенный человек до смерти боится лекций,— тихо сказал Лазареву Гопиус.

— Да...— также тихо ответил ему Лазарев.— Он мне говорил, что у него во время лекции сердце начинает иногда болеть так сильно, что он боится не закончить лекцию.

— Да неужто такое может быть от страха, Петр Петрович?

— Не от страха, Евгений Александрович. От жизни...



Завтра татьянин...

Дорога от дома до магазина физических приборов Швабе на Кузнецком мосту была знакома Лебедеву до мельчайших подробностей. И все равно он никогда не мог досыта наглядеться на веселую, молодую жизнь, что встречалась ему на каждом шагу. Ведь шел он по самым что ни на есть университетским кварталам. Вместе с Петром Петровичем Лазаревым Лебедев неторопливо прошел Шереметьевским переулком. Мимо профессорских домов, в которых жили все его знакомые, по нерасчищенным тротуарам. Встречные студенты уступали им дорогу. День был солнечный, но морозный, и ветерок был почти февральский: резкий, режущий. Студенты запахивали свои жиденькие форменные пальтишки, растирали заледеневшие уши. «Все естественники...» — думал Лебедев. И почему это на естественные идут юноши из самых необеспеченных семейств? Казалось бы, что желание выбиться из низов вверх должно их вести на юридический. . Оттуда прямая дорога на выгодную государственную службу. Станет следователем или прокурором, приобщится к власти, узнает вкус положения, когда от тебя зависят человеческие судьбы... И если научится не видеть людей, которых судит, обвиняет, проживет до глубокой старости, наслаждаясь своим превосходством над всеми другими людьми. Начнет с изучения римского права, а потом, по должности, будет присутствовать при том, как на его глазах человека веша-

ют... А в старости получит сенатора, и будет ему странно вспоминать, что в молодости с товарищами пел «Гаудеамус» у Оливье двенадцатого января...

Ну хорошо, не все у юристов проходимцы, есть люди, что станут присяжными поверенными, пойдут в адвокатуру, станут известными защитниками, краснобаями, на чьи выступления в суде будут приходить как на концерты Собинова или Шаляпина... Слава, деньги, деньги, возможность быть благотворителем, выступить иногда и без гонорара, так, чтобы под овации публики, рыдания дам добиться оправдания какого-нибудь бедняка... Каждый день видеть в газетах свое имя, в театре на тебя почтительно оглядываются: да-да, тот самый, известный!..

Или же, если хочешь совместить науку с прямой пользой для людей, иди в медики! Это уж не кодекс Юстиниана изучать! Из неизвестных наук эта уж такая неизвестная, что не поймешь, чего в ней больше — науки или ремесла?.. И — профессор ли ты в известной клинике или же земский врач в какой-нибудь Жиздре — все равно — существует у врача чувство какой-то власти над человеческой жизнью... От твоих знаний, умения, прилежания, усердия зависит, будет ли этот человек, что так жадно, так искательно заглядывает в глаза,— будет ли он жить. или же нет... И если ты талантлив, умен, то ты получаешь и ордена в университете, и громадные деньги за частную практику...

А стать физиком, астрономом, математиком? Или даже зоологом, ботаником... Это не даст тебе ни славы, ни денег, ни положения в обществе — ни-че-гошеньки!.. Это он, скажем, может понять Сашу Эйхенвальда! А для других тот — полная загадка. Окончил в Петербурге такой знаменитый институт, как инженеров путей сообщения, стал крупным инженером-строителем... С его способностями, талантом, умением привлекать сердца мог бы быстро стать известнейшим строителем, богатейшим человеком, меценатом... А вместо этого бросает все, что уже имел, и едет в Страсбургский университет переучиваться на физика, изучать таинственное, неизвестно кому нужное свойство изолятора, намагничивающегося при движении в электростатическом поле... Саша на два с лишним года старше его, Лебедева, талантливее — да, талантливее его — и вот тянет приват-доцентскую лямку в университете, вместо того чтобы быть «превосходительством» и занимать директор-

ский кабинет в Техническом. Чтобы такое понять, надобно хорошо знать этого необыкновенного человека. Не поймешь, что в нем преобладает: ученый или художник. Саша — человек неожиданный: может физику бросить и заняться музыкой!..

А вот этот, идущий рядом?.. Окончить медицинский факультет, иметь возможность стать одним из крупнейших деятелей русской медицины — и вдруг все бросить, пойти в его, лебедевскую, лабораторию, пойти лаборантом, ассистентом, с трудом получить доцентуру... В университете его не любят, косятся на него — чужак, странный и непонятный человек... И, конечно, странный: не поэт, не музыкант, как Саша; суховат, человек не сердца, а разума, а вот гляди-ка, стал физиком, да еще не каким-нибудь обыкновенным, а совсем необыкновенным, на других непохожим...

Лазарев как будто понял мысли Лебедева. Улыбнулся и искоса посмотрел на своего спутника.

— Опять небось, Петр Николаевич, про то, почему физика тянет к себе таких трезвых людей, как я?

— Да не такой уж вы трезвый, Петр Петрович! Вы еще и в свою медицину можете вернуться или еще в какую-нибудь сторону уйти. Для вас физика — средство, а не цель. Для меня физика — все, она сама по себе для меня самое интересное. А для вас она ключ к каким-то неизвестным тайнам... Я для физики могу и в рабство пойти... А вы?

Лазарев не ответил. Они вышли на шумную Тверскую. Еще недавний Новый год чувствовался в нарядных витринах магазинов, в афишах театров и кинематографов. В витрине огромного часового магазина фирмы «Павел Буре» хоровод часов показывал, где, в какой части света, когда начинается Новый год. В парфюмерном магазине «Брокар и К°» все еще красовались коробки духов с новогодними поздравлениями. В аптеке между огромными стеклянными шарами, наполненными ярко-синей и красной жидкостями, аптекарь поместил зазывающее объявление: «Важно для всех встречающих Новый год! Слабит нежно и верно только апериголь!» Розовые афиши театра Сабурова на Большой Никитской обещали на этой неделе спектакли: «Куртизанки двух веков», «Монги, моя бестия» и «Веселенький чертик». А в Художественном электротеатре на Арбатской площади показывали видовую картину «Бобаапаш» и комедию «Дети любви».

Лебедев и Лазарев остановились на углу, пережидая, когда сверху, от губернаторского дома, скатится с грохотом трамвай. По снегу цвета шоколадной халвы легко скользили санки лихачей и извозчиков. Кони, еще не успевшие привыкнуть, со страхом вздрагивали, когда мимо них проносились редкие автомобили: маленькие кареты «пежо» или блещущие никелью фонарей «лорэн-дитрихи». На перекрестках стояли городовые в черных шинелях с яркими оранжевыми шнурами от револьверов.

Физики не спеша пересекли Тверскую и пошли по Камергерскому. Перед Художественным театром толпилась очередь студентов и курсисток, ожидая продажи билетов на верхний ярус. Эти билеты театр продавал только в день спектакля и только для учащейся молодежи. Напротив театра через весь фасад двухэтажного дома шла огромная вывеска: «Дамский салон профессора Густава».

— Да-да,— сказал Лебедев, продолжая давно уже начатые размышления,— парикмахер не только называет себя профессором, он и чувствует себя бо́льшим профессором, чем мы с вами. И парикмахеры могут совершенно свободно обсуждать свои профессиональные дела. Вы обратили внимание, Петр Петрович, сколько у нас в Москве есть обществ взаимопомощи? Я как-то недавно искал в адресной книге адрес одной фирмы, что делает приборы, и поразился тому, как в каждой профессии люди стараются помочь друг другу. Оказывается, есть общества взаимопомощи фельдшеров и фельдшериц и отдельно общество ветеринарных фельдшеров... Есть общества взаимопомощи домашней прислуги, оркестровых музыкантов, коммивояжеров, есть даже общество взаимопомощи духовных певцов... А слыхивали ли вы, чтобы было общество ученых, целью которого было бы помогать друг другу? В науке, в общественной жизни, в устройстве житейских дел... Я никогда не встречал более разъединенных людей, нежели ученые. Даже в Германии, с ее дурацкими ферейнами, с идиотским буршизмом, когда старый хрыч надевает корпорантскую шапочку и изображает из себя студиозуса, и там каждый ученый работает и живет, спрятавшись в скорлупу своей лаборатории, своего кабинета. А у нас, у нас так вовсе...

— Ну, Петр Николаевич!.. И вы говорите такое накануне татьяниного дня! Так сказать, день братства и единения всех питомцев Московского университета независимо от чина и звания, возраста и положения...

— Ах, глупости это все! Хотя я и не кончал Московский университет, но почитаюсь уж как-то принятым в число его воспитанников. Все же лебедевская лаборатория вроде и неотделима от университета! Но какое же единение может быть у меня, скажем, с графом Леонидом Алексеевичем Комаровским... И не в том дело, что он — граф, а я — купеческий сын, что он — профессор международного права, а я — профессор физики... Он же политик, а не ученый! Октябрист, единомышленник и друг Александра Ивановича Гучкова, статейки пишет на политические темки, судьбы России решает... А по мне, что октябристом быть, что социал-демократом — все равно! Я ученый, меня занимает физика, а не политика! Я от политики одного хочу: не мешайте заниматься наукой тем, которые к этому имеют призвание! Вы как, Петр Петрович, к Гопиусу относитесь?

— Да, по-моему, при всех своих странностях очень способный человек. Только как-то разбрасывается...

— Да, очень способный! Вот он — один из тех, кого погубила политика. Я вижу, что у него все мысли не о науке, а совсем о другом. В нем эта идиотская политика губит большого ученого. Он так, случайно, попал ко мне, работает лаборантом, а мог давно уже и ассистентом стать, доцентуру получить... Да не в должностях дело! Он не желает заниматься самостоятельными исследованиями — это ему станет мешать в том, что он почитает главней!

— Да, поговаривают, что Евгений Александрович — красный, красный...

— Да какое мне дело до его цвета! Тут как-то несколько лет назад заходил ко мне с ректором попечитель Варшавского учебного округа. Варшавскому университету нужен был профессор физики, и он спрашивал мое мнение об одном химико-физике. Я ему говорю, что прекрасный ученый, окажет честь любому университету. А попечитель меня вдруг спрашивает: «А он не красный?» Я тогда беру со стола спектроскоп и протягиваю ему... А этот болван в жизни спектроскопа не видел! Он мне: «Что это такое?» Я ему отвечаю: «Это, ваше высокопревосходительство, прибор, называемый спектроскопом. Вот он может определять цвет. А я цвет не определяю, и мне это вовсе и не интересно». Поперхнулся превосходительный дурак и выскочил... Меня потом ректор укорял: дескать, что же вы с генералом так обошлись?.. А я правду сказал: мне цвет убежде-

ний человека безразличен. А если вам не безразлично, так нечего притворяться! Завтра вот будет сплошное притворство! И никакого равенства! Студенты будут пиво и портер пить в общем зале у Оливье. Там на пол опилки насыплют, со столов скатерти уберут, вместо хрусталя дешевенькое стекло поставят... А в отдельных кабинетах на крахмальных скатертях статские простые и статские действительные будут попивать мартель да клико, заедать икоркой от Елисеева... А потом, вытерев губы, выйдут в зал брататься со студентами и петь с ними «Гаудеамус игитур»... Противно! А еще противнее делать вид, что мы все, профессора университета, сообща любим науку и альма-матер нашу и готовы за нее в огонь и воду! В действительности же за орденок, за звание продадут эту матер с потрохами!

— Ну, ну!.. Вы сегодня желчны больше, чем обычно, Петр Николаевич! Конечно, университетская профессура не бог весть какой храбрости, но все же люди это вполне порядочные и чувство корпоративности у них сильно...

— Чувство порядочности, заключенное в рамках холуйства-с!.. И дай бог, чтобы при нас это чувство не подверглось жесткому опыту. Мы с вами, Петр Петрович, экспериментаторы и знаем: все проверяется опытом, только опытом...

Что завтра в Москве предстоит большое событие, чувствовалось во многом. На Большой Дмитровке, около «Ляпинки» — большого трехэтажного студенческого общежития, построенного купцом Ляпиным,— не расходилась оживленная толпа студентов. По Неглинной, направляясь к ресторану «Эрмитаж», слоноподобные битюги тащили сани, груженные бочками с пивом, ящиками с дешевым вином и снедью, которые появлялись у брезгливого мосье Оливье лишь раз в году — 12 января...

Кузнецкий мост был, как всегда, оживлен. К магазину Аванцо, на котором красовалась откровенная вывеска «Предметы роскоши», подкатывали парные сани с фонарями на крыльях, автомобили, похожие на странных черных жуков с посеребренными усиками. В витрине ювелира Фаберже на черном бархате лежали жемчужные цепи, брллиантовые диадемы, бабочки, сделанные из золота и драгоценных камней. В этом пышном ряду магазинов, где

продавались картины, меха, парижские туалеты, гаванские сигары, цветы из Ниццы, часы из Швейцарии, профессорски-старомодно выделялся магазин Ф. Швабе. В его витрине стояли цейсовские микроскопы, электрофорные машины и лейденские банки, гальванометры, манометры, амперметры... В магазине было тепло, пустынно. Старший приказчик почтительно поздоровался с известным клиентом.

— Не прибыли еще-с, Петр Николаевич... Из Иены заказанный товар почему-то задержался, ожидаем со дня на день. Вы не извольте беспокоиться: как только прибудут, пошлю к вам в университет мальчика с уведомлением-с...

На улице Лазарев с тревогой посмотрел на профессора.

— Давайте, Петр Николаевич, назад на извозчике...

Рыжая лошадка лениво делала вид, что она бежит. Лебедев молчал всю дорогу. Только тогда, когда они уже ехали по Газетному переулку, он вдруг прервал молчание:

— Так что, Петр Петрович, вы считаете, что надобно мне принимать участие в завтрашнем маскараде? Чтобы всем было ясно, что в Московском университете на небесах мир, а в человецех благоволение...

— По-моему, надо, Петр Николаевич. Лебедевская лаборатория уже и так чрезмерно демонстрирует свою независимость от университета.

— Мне бы ваш характер, Петр Петрович! Ну, пусть будет по-вашему!..



Альма-матер

Актовый зал университета был наполнен приглушенным величественным гудением. Только что в университетской церкви закончился торжественный молебен, на котором служил сам митрополит московский и коломенский Владимир. Было провозглашено многолетие государю императору, и всему царствующему роду, и начальникам, и пастырям, что пасут стадо, и было возжеланно пасуемым

успеха в науках... Вся эта первая часть торжеств татьяниного дня кончилась вовремя, и публика, придя из церкви, чинно рассаживалась по отведенным местам.

В первом ряду сидели самые главные. Поглаживал бороду и недовольно посапывал злой, всем недовольный митрополит. Лишь когда он наклонялся к своей соседке, лицо его становилось благостно-ласковым. Великая княгиня Елизавета Федоровна, видимо, с трудом выдерживала скуку традиционной церемонии. Она сидела с полузакрытыми глазами, а когда приоткрывала их, становилось особенно заметно ее сходство с младшей сестрой — царицей Александрой Федоровной, чей парадный портрет висел рядом с портретом ее державного мужа над эстрадой актового зала. По сторонам от них располагались начальники самых разных рангов: московский губернатор свиты его величества генерал-майор Владимир Федорович Джунковский, градоначальник генерал-майор Андрианов, полицмейстер генерал-майор барон Будберг, губернский предводитель дворянства Самарин, городской голова Гучков, командующий войсками генерал от кавалерии Плеве, попечитель Московского учебного округа Жданов... Позади этого ряда, блещущего золотом мундиров, муаром орденских лент, бриллиантовыми звездами, чернели строгие сюртуки профессоров. И они были рассажены так, как и полагалось по чиновной иерархии. Сначала тайные советники: Василий Осипович Ключевский, Иван Владимирович Цветаев... Потом заслуженные профессора — все действительные статские, все превосходительства... Потом шли ординарные профессора, потом уже вразброд экстраординарные... Дальше сидела плохо организованная толпа приват-доцентов, ассистентов и лаборантов. И уж совсем где-то позади, на свободных местах, сидели и стояли студенты. Это были больше «академисты». Они демонстративно подчеркивали свое отличие от студенческой вольницы тонким сукном студенческих сюртуков на белой шелковой подкладке, ослепительным крахмалом манжет, строгостью прически.

Лебедев сидел не в своем, положенном ему ряду, а где-то сбоку. До своего места он не дошел, устал, сразу почувствовал, как заныло в левом боку. И то — целый час выстоял на церковной службе, слушал, как митрополит Владимир торжественно благословляет Московский университет, который он ненавидит лютой ненавистью. Скотина! Все тут знают, что это за птица, всем известно, что он чер-

носотенец, вор, замешан в уголовных делах с церковным имуществом! И он еще благословляет ученых, которых презирает, желает им успеха в науке, которую боится и дико ненавидит!.. И этот сановный ряд, где нет ни одного, кто был бы ему не только симпатичен или внушал уважение, а хоть сколько-нибудь интересен... Нет, впрочем, один есть. Лебедев ловит себя, что он все время рассматривает красивого, седого кавалерийского генерала, чьи ослепительно белые волосы головы, бакенбардов и бороды так красиво сочетаются с золотым шитьем гусарского мундира. Председатель Московского опекунского совета генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин...

Как это странно, что когда-то в этом зале был его отец: небольшой, рыжеватый, без тени той величественности, что лежит на челе его сына... С точки отсчета первого ряда, сын сделал куда большую карьеру, нежели отец... Тот так и умер в самом младшем придворном чине камер-юнкера. Даже до «высокоблагородия» не дослужился, был просто «благородием». Сын же полный генерал, «высокопревосходительство», почетный опекун, один из первых сановников Москвы... Говорят, хороший человек, простой и честный. Но для Лебедева, да и, вероятно, для всех нормальных людей, он интересен и значителен одним: сын Пушкина!

...О! И вправду нацепил новую звезду Станислава Витольд Карлович! И попечитель учебного округа разговаривает с ним благосклонно, даже улыбаясь... Вот эти начальники — они же понятия не имеют, кто этот профессор Цераский! Они и не слыхивали никогда, что еще семь лет назад этот человек определил звездную величину солнца, что он впервые точным экспериментом установил нижний предел температуры солнца, открыл существование серебристых облаков, что фамилия Цераского навсегда останется в истории науки... Через десяток-другой лет никто и никогда не вспомнит ни про одного из тех, перворядных!.. Но сейчас они все живут в непоколебимой уверенности своей значительности, подавляющей всех величественности... И — вот тебе: даже на Витольда Карловича, видно, действует эта система оценок людей по званиям и орденам! Куда девалась его гордая осанка шляхтича, высокомерное выражение мефистофельского лица с острой бородкой и недобрыми глазами. Он разговаривает с попечителем, забыв свою привычку вскидывать голову и свысока рассматривать собеседника... А ведь знает себе действительную

цену! И знает действительную цену всей этой чиновной компании! Так зачем же он так?!

На эстраде появились руководители университета: ректор Александр Аполлонович Мануйлов, взволнованный торжеством церемонии, нервно сжимающий в руке папку с текстом своей речи; помощник ректора Михаил Александрович Мензбир. Знаменитому зоологу, очевидно, совершенно безразлична обстановка торжественного акта. Он косолапистой походкой проходит к столу, его выпученные глаза под буграми безволосых бровей мрачно и настороженно рассматривают аудиторию, столь несхожую с обычной университетской... За ними бесцветный проректор Минаков...

Лебедев поднялся со своего стула. Надо уходить. Ему так хорошо известно все, что будет дальше. Сейчас на кафедру взойдет Мануйлов и начнет свою речь, которая будет лжива от начала до конца. Он упомянет сначала хлопоты и благоволение всех первоскамеечников, от митрополита до полицмейстера. Потом он скороговоркой перечислит достижения Московского университета: не кто что сделал, а кто избран заграничными академиями и университетами. Не забудет, конечно, сказать, что ординарный профессор Лебедев избран членом Лондонского королевского общества... Потом Мануйлов этак тонко намекнет, что в прошлом году «сожаления достойные обстоятельства» не дали возможность полно использовать время, отведенное программой для обучения студентов. Потом он промямлит что-то обнадеживающее и с чувством, со слезой в голосе скажет о сегодняшнем дне, каковой объединяет сердца всех питомцев Московского императорского университета, независимо от лет, заслуг, положения и политических взглядов...

Нет-нет, хватит с него! Сейчас надо этак незаметно выбраться из зала, пойти домой и там отлежаться, перед тем как поехать в «Эрмитаж» на главную часть татьяниного дня... Лебедев тихо стал проталкиваться сквозь толпу студентов и служителей, плотно заполнивших проходы актового зала. Позади — как всегда в последнее время — появился Лазарев.

— Вам худо, Петр Николаевич?

— Да нет, просто противно! Надо воспользоваться хоть какими-нибудь преимуществами, которые дает болезнь... Зайдете за мной?

— Как обычно, Петр Николаевич.



Будем делать свое дело!

...И вот он — развернулся, раскачался, загремел вовсю московский татьянин день!.. В открытую дверь банкетного зала «Эрмитажа» доносится нестройный гул огромного ресторана. Уже господа профессора отвалились от стола со всеми яствами старой хлебосольной Москвы, уже произнесены первые тосты, уже старческими, жидкими и разбегающимися голосами спет «Гаудеамус игитур»...

Сосед Лебедева по столу, метеоролог Лейст, видно, уже порядочно нагрузился. Он забирал в горсть свою длинную узкую бороду и вытирал ею раскрасневшееся лицо. Потом начинал оглушительно смеяться. Даже смеялся он с каким-то немецким акцентом... Но видно, что пришел секретарь факультета Лейст в благодушное настроение, что ему по сердцу эта профессорская компания, свежая икра, хорошее вино, это пышное и богатое московское застолье, столь непохожее на скаредность корпоративных праздников в немецком университете. И все сегодня милые и приятные, и даже этот злой, неуживчивый Лебедев, кажется, тоже оттаял...

— Хорошо сегодня проходит университетский праздник, Петр Николаевич!.. Всего, всего хватает в нашем университете!..

— Науки только маловато, Эрнст Егорович. А так всего даже с избытком...

— Не могу вас понять, Петр Николаевич. Сколько же вам этой науки надо? Где вы видели больше? Даже в немецких университетах наукой занимаются не больше! Вы же не где-нибудь, а в Страсбургском учились университете, не в Томском!.. И удивляюсь вам. Почему это вам надо выделяться, быть не таким, как все? Ну зачем вам столько учеников? И почему они не учатся, а все время чего-то ищут! Что это — университет или академия? А вы еще толкаете неопытные студенческие конф, головы, к то-

му, чтобы они с вами спорили!.. Как может студент спорить со своим профессором?! Для него не должно существовать никаких других точек зрения в науке, кроме мнения своего профессора! Он пришел в императорский университет учиться, а не спорить. Сегодня он спорит со своим профессором, завтра он подымет голос против верховной власти... Студента надо дрессировать! Он есть солдат в науке, и никто больше!..

— Университет не цирк, Эрнст Егорович, а я — не укротитель. Да. Полагаю, что университет — прежде всего научное учреждение. Нам надобно не натаскивать студентов, а делать из них исследователей.

— Ну и пусть каждый исследует свое. Чему его учили, тем он и должен заниматься. А у вас, Петр Николаевич, на кафедре и химики, и медики, и кого только нету... В науке самое главное — граница! Ну, могут ли сойтись биология и физика, к примеру?

— А Гальвани с его лягушками?

— Ну при чем же тут биология?

— Так было и с химией, и с физикой до Вант-Гоффа! А ваша метеорология? Это что? Физика, химия, геология, география. Винегрет из всех наук, ежели смотреть на нее глазами повара, а не ученого... Нас теперь уже не удивляет появление физика со знанием химии и химика со знанием физики. А скоро биолог со знанием физики и физик со знанием биологии так двинут вперед науку, как мы сейчас и не представляем себе!

— Да какую же науку, Петр Николаевич?!

— Естествознание. Естествознание, ваше превосходительство. Ведь предполагается, что мы с вами естествоиспытатели...

— Ну вот и обиделись! Обидчивый вы стали очень, Петр Николаевич! И забыли, как хорошо вас приняла наша профессорская корпорация...

Лебедев с трудом оторвался от Лейста. Он вышел из душной комнаты на площадку лестницы. Снизу вырывался знакомый шум татьяниного дня. Он состоял главным образом из споров сотен людей, старавшихся переговорить друг друга. В различных уголках главного зала ресторана нестройно, но с чувством пели:

— «Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь...»

— «Налей, налей, товарищ...» — подхватывал хор...

— «Гаудеамус игитур, ювенус...»

— «Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу...»

— «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой...»

— «Динь-бом, динь-бом — слышен звон кандальный, динь-бом, динь-бом — путь сибирский дальний...»

Прислонясь к перилам, Лебедев мысленно раскладывал своих учеников по этим группам поющих. Аркадьев, Кравец, Неклепаев, Сахаров, Розанов... Нет, не «академисты» они, но и не бросят науку ради политики...

На лестнице показалась знакомая вихрастая голова. Какой же он внешне нелепый, этот Гопиус! Нескладный, руки болтаются, косолапит; когда разговаривает, то склоняет голову на плечо и закрывает один глаз... И — жалость какая! — уже перегрузился... Фамилия немецкая, а уж до того русак по всем повадкам. И по этой, к сожалению, тоже.

— Что, Петр Николаевич, отдохнуть решили от своей почтенной корпорации? Сейчас, наверное, Алексей Петрович Соколов скажет речь на тему «Сейте разумное, доброе, вечное...». А что по этому поводу говорил ваш любимый советник, первый министр Веймарского герцогства?

— Он-то говорил, что сеять не так трудно, как жать...

— Вот-вот!.. Посеяно столько, что жатва уже не за горами. И когда дело дойдет до нее, то навряд ли удастся науке стоять в стороне...

— Опять вы за свое, Евгений Александрович... Жаль мне, что ваши способности ученого вы тратите на детскую игру в политику, на всякие там речи, бумажки, пропаганду, оружие... Наука и политика — несовместимы. И не верю я, что вспышкопускательство это, эта трагическая борьба могут что-либо дать нашему бедному обществу. Я вижу только, что на этом пути гибнет множество честных и талантливых людей, ничего не успев сделать, не использовав для людей, для науки и самой малой части своих способностей... Вот вы разве в полную силу занимаетесь наукой? Она требует человека всего, без остатка! Всегда любуюсь Штернбергом! Павел Карлович — вот пример человека, идущего только стезей науки, не позволяющего себе ни на дюйм отклониться от нее...

— Хо-хо-хо!..

— Да что вы, Евгений Александрович, ржете?! Вы бы

лучше с него брали пример. Ведь он же фактически руководит университетской обсерваторией, Цераский теперь туда только приходит показывать сиятельным гостям звездочки в телескоп... Нет-нет, там, где наука, там нет политики!

— Зато, Петр Николаевич, в политике нет таких, каких пруд пруди в университетской науке,— нет однокорытников...

— Кого-кого?

— Однокорытников, Петр Николаевич.

— Это еще что за термин?

— Термин принадлежит не кому-нибудь, а действительному статскому советнику, вице-губернатору... Это он сказал: «Какая надобность изнывать над отыскиванием новых жизненных идеалов, рискуя при этом прогневить начальство и насмешить массу однокорытников, тогда как существуют идеалы вполне сформулированные, ни для кого не возбраненные и для всех однокорытников равно любезные?..» Почитаю вашего веймарского министра, но и тверской вице-губернатор был не глупее. Среди тех, кто ищет жизненные идеалы, среди них нет однокорытников.

— Ну, я тоже люблю Салтыкова-Щедрина, хотя знаю его меньше, чем вы. Но идеалы существуют и в науке. А наука — как и идеалы — стоит над политикой!

— О господин! Пойдемте, пойдемте сюда...

— Вы это меня куда тянете?..

Гопиус тянул Лебедева за руку вниз по лестнице. Лебедев сделал несколько шагов. Внизу на площадке, у дверей залы, стояли два господина. Один — молодой, в сатиновой косоворотке под студенческой тужуркой, другой — уже средних лет, в мешковатом сюртуке.

— Видели, Петр Николаевич?

— Ну и что тут я должен видеть?

— А это — политика возле науки... Студент этот наверняка не слыхал фамилии ни Максвелла, ни Ньюкомена, ни Дарвина... Оба они из охранки, я их еще в самом университете заприметил. Да что вы такое говорите, Петр Николаевич, о невмешательстве политики в науку после прошлого года! После того, как бывший профессор Московского университета, господин Кассо, приказал полиции занимать университет! Вам мало того, чего вы насмотрелись в прошлом году в наших аудиториях? На каждого студента по два полицейских... Им плевать на вашу науку! Это для вас

наука — истина. А для них — способ укрепить свое положение, обогатиться, поднять выше свой престиж... Еще за тысячу лет до рождества Христова каждый затруханный сатрап имел возле себя ученых. Для фасона! И сейчас так!

— Нет, Евгений Александрович, вы меня не привязывайте к ним! Я и моя наука существуем сами по себе, мы независимы от сановников, от сатрапов, от царей... И мы будем делать свое дело! И вас к этому призываю. Если надобно выбирать между политикой и наукой, то я уже давно выбрал науку, чего и вам желаю...

— А если придется выбирать между наукой и порядочностью?

— Ну-с, господин Гопиус! Вы хоть и под парами, по помните, что говорите!

— Вы не обижайтесь на меня, Петр Николаевич! Вы знаете, как я вас глубоко уважаю. Вы для меня идеал человека и ученого. И не так уж я много выпил, чтобы не понимать значительности нашего разговора. Ведь первый раз мы с вами вот так говорим за всю мою службу в университете... Не тащу я вас в политику: там не место для Лебедева, его место в науке! А только все равно когда-нибудь случитс7, что политика, не спрашивая вас, Петр Николаевич, поставит перед вами нравственный выбор. Глядь, и придется выбирать...

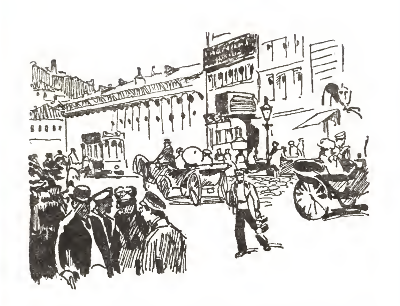
— Между кем? Тимирязевым и графом Комаровским? Я — сам с собой!

— Ну, дай бог! Предки мои, говорят, родом из Византии, наверняка были алхимиками и чернокнижпками... И я умею составлять гороскопы. Мы с вами родились под этакой странной звездой. И ждут нас самые большие неожиданности!

— В науке неожиданности должны искаться годами! Мы будем делать свое дело. Дело науки! И ни до чего нам больше дела нету! Давайте лучше пораньше сегодня ляжем. Завтра коллоквиум, сударь! И я его отменять не собираюсь... А вот и Петр Петрович! Вы как, собираетесь еще с господином Гопиусом околоточных в Москву-реку бросать или же, как я, домой?..

— Поедемте домой, Петр Николаевич. Ведь у вас завтра коллоквиум.

Глава II



Рассказы про себя



Коллоквиум не состоялся...

Да, не состоялся... Не нужно было ходить на этот дурацкий торжественный акт! Не нужно было целый час выстаивать в церкви, слушая митрополичьи возгласы! Не нужно было ездить в «Эрмитаж» и слушать пошлые и неискренние речи!.. Ну, что об этом сейчас думать!.. Вот и еще один коллоквиум не состоялся... И уже сколько их пропущено из-за этой, так торопящейся болезни... И сколько их осталось ему провести?..

В спальню, сквозь все закрытые двери, слабо донесся дверной звонок. Наверное, пришел Петр Петрович... Лебедев осторожно, чтобы не всколыхнулась боль, спрятанная где-то в глубине груди, приподнялся на подушке. В столовой послышались голоса жены, Лазарева. Видно, Петр Петрович рассказывает о том, как вчера проходило, почему-то всех умиляющее, традиционное празднество. Сам-то он очень скептически ко всему этому относится...

Дверь спальни открылась, жена пропустила вперед гостя.

— Все-таки умолил Валентину Александровну пустить меня к вам. Добрый день, Петр Николаевич! Вы, оказывается, немного приболели. Правильно сделала Валентина Александровна, что удержала вас от коллоквиума... Успеется...

— А успеется ли, Петр Петрович?

— Петр Николаевич, дорогой, я же врач, не забывайте... Мне лучше видно, что́ с вами, нежели вам самому. Немного перевозбудились, устали от всей этой московской традиционной безалаберщины, шума, суеты... Пожалуй, и слон не выдержит всей программы татьяниного дня. Да еще надобно было вам вчера сцепиться с Лейстом! Как будто вы можете этого сухаря в чем-то убедить. Полежите несколько дней, приступ у вас легкий... А потом проведем коллоквиум, как обычно.

— Ну, что в лаборатории?

— Да все идет нормально. Евгений Александрович гоняет студентов. Он теперь возится с Неклепаевым. Способный, очень способный студент! Я ему поручил проверить вот то явление в скользящем проводнике, о котором вы в прошлом месяце упомянули на коллоквиуме... Пусть поработает!

— Так явление же это чисто кажущееся. За ним ничего нет!

— Вот-вот. Пусть сам придумает прибор, изготовит его да по-настоящему, по-серьезному проверит...

— А вы его предупредили, что задача имеет чисто негативный характер, что он почти наверняка ничего не обнаружит?

— А зачем? Пусть старается изо всех сил. Пусть думает, что находится на пути к научному открытию.

— А правильно ли это, Петр Петрович? Имеет ли право руководитель давать студенту задачу хоть интересную, но чисто негативную, да еще об этом его не предупреждая... Вот он будет работать в поте лица, не спать ночами, размышляя, как лучше прибор придумать, а поработав, убедится, что гонялся за химерой...

— А разве получение негативного результата не столь же важно для науки, как и позитивного? Вся наша работа состоит из проб, из отсечений одних путей, чтобы успешнее двигаться по другим.

— Не убеждайте меня в этом, Петр Петрович! Это так. Но имеет ли руководитель нравственное право давать студенту такое задание, которое его душевно и физически измучит, приведет к нулевому результату, разочарует, может быть, даже отвадит от любимой науки?

— Так что же делать, исходя из интересов науки?

— Предупредить студента, что он идет по очевидно не-

верному пути, чтобы потом на него не возвращаться. А еще лучше — делать этот опыт вместе со студентом, руководя им, а не предоставляя видимую самостоятельность.

— Но настоящий, большой исследователь не может тратить свое драгоценное время для такой проверки, которой может и должен заниматься студент!

— Нет, нет, Петр Петрович! Не могу с вами согласиться! В науке нет солдат и генералов. Это в средние века существовал договор между мастером и учеником, который определял неравенство сторон и полную подчиненность ученика. Но ведь даже и такой договор прежде всего исходил из интереса обучения!.. Мы не можем относиться к ассистентам, лаборантам и студентам, как генералы к солдатам: дескать, важна цель, а как мы ее достигнем, не так уже и важно! Молодому ученому необходимо дать чувство уверенности в своих силах, в способностях допрашивать природу и получать от нее правильные ответы... Как же можно давать молодому человеку задачу, которая может подорвать его веру в себя?!

— Я знаю, Петр Николаевич, что вы не любите генералов... Но в науке, как и на войне, без жертв не обходится! Никогда не забуду ваш рассказ о том, как всего лишь одиннадцать лет назад в Страсбургском университете физик-теоретик Эмиль Кон в своих лекциях по оптике приводил электромагнитную теорию света Максвелла как научный курьез, как пример лженаучной спекуляции... И как через год после этого этот же Кон должен был переучиваться и переучивать своих учеников... Ну, а на войне жертвы среди солдат естественнее, нежели среди генералов.

— Ну что вы — как на войне! Война, война... Наука — не война, военные законы, обычаи и традиции враждебны науке! Исследователи все равны перед истиной, перед наукой! И профессор обязан в молодом ученом выращивать нравственное отношение к истине. Что же нам — хранить цеховые секреты? Делить истину на первостепенную, доступную только мастерам, и второстепенную, открываемую ученикам? Глупости это все! Отсюда недалеко до научных секретов, до получения специальных разрешений, чтобы заниматься исследованием тех природных явлений, которые тебе интересны!.. Надеюсь, что до этого я не доживу!.. Знаете, Петр Петрович, я не обманываюсь в том, что мы делаем с вами. Мы не открываем ни новых путей в науке,

ни новых фундаментальных законов... Но мы с вами создаем самостоятельную, талантливую школу русских физиков. От тех, кто только впервые робко и неуверенно входит в нашу лабораторию, можно ожидать открытий великих, имеющих значение для блага человечества. Среди них, может быть, и будут гении... Да, да!.. Но этих будущих гениев воспитываем мы с вами... Как вы думаете, может ли гений сочетаться с мелочностью, завистливостью, равнодушием?

— А Гаусс? Может быть, еще назвать?..

— Знаю, знаю, можно назвать! Даже и наших современников можно назвать. Но ведь равнодушие Гаусса к Бояи и Лобачевскому не изменило судьбу идей неэвклидовой геометрии! Мы можем только сейчас судить, насколько была бы эффективнее сила гения Гаусса, если бы не его характер. Ведь человек науки влияет на науку не только своим разумом, но и самой своей личностью, своим характером, своими нравственными качествами.

— Ну?.. Это называется, Петр Петрович, на минуту зайти? — Незаметно вошедшая в комнату Валентина Александровна укоризненно смотрела на Лазарева.

— Виновен! Виновен, но заслуживаю снисхождения... Это Петр Николаевич так устроен, что, начав с ним разговор, не можешь его окончить... Ухожу, ухожу Валентина Александровна! И, как эгоист и врач, рекомендую никого к Петру Николаевичу больше не пускать, пусть спокойно лежит, глотает свои порошки, не читает, пусть старается ни о чем раздражающем не думать... Завтра, пользуясь вашим ко мне хорошим отношением, приду. Желаю здравствовать!..

Ушел... Мягко говорит Петр Петрович, а человек совсем уж не такой мягкий. Небось там за дверью своим спокойным, не дрогнувшим, не терпящим никакого возражения голосом сказал Вале, чтобы никого к нему не пускали, чтобы сама к нему не ходила, чтобы мог профессор Лебедев лежать и... что делать? Ведь должен же Петр Петрович понимать, что будет Лебедев лежать и в полном своем одиночестве, никем не отвлекаемый, все время думать об одном и том же, об одном и том же... О своей физике, о своем коллоквиуме, о своих учениках. Словом, о своей жизни... Уж в этом — в размышлениях и воспоминаниях — никто ему помешать не может. Здесь он пока еще полновластный хозяин.

...Да, коллоквиум... Конечно, в последние годы его коллоквиумы стали более широкими, содержательными. И недаром на лебедевские коллоквиумы стали приходить не только его ученики, но и уже сложившиеся ученые совсем из других, не физических, областей естествознания. Ведь вот почти регулярно стали появляться на коллоквиумах кристаллограф Юрий Викторович Вульф, и астропом Сергей Николаевич Блажко, и даже Болеслав Корнелиевич Млодзиевский стал регулярно приходить... Ну, Болеслав Корнелиевич мало похож на сухого математика, скорее, на поэта смахивает своей кипучестью, неутомимостью, своим интересом ко множеству вещей, имеющих к математике самое отдаленное отношение... Да и присутствие математика на физическом коллоквиуме дело естественное: роль математики в физике будет все больше возрастать...

Но зачем стал ходить на коллоквиумы зоолог Николай Константинович Кольцов? Все его интересы — в биологии, весь он наполнен какими-то новыми, еще мало кому понятными идеями, но идеи эти — биологические, а не физические... Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?.. Он в физике ищет новые инструменты для проникновения в свои собственные проблемы... Ну, бог с ним! Вот это новое в его коллоквиумах, это, наверное, уже идет не от него, Лебедева, а от Петра Петровича... Медленно, но настойчиво уводит он физику в разные стороны: в геологию, в биологию, в медицину. Делает это тихо, как будто Лебедев это и не замечает. А он все, все видит, но не походить же ему на Лейста, не ставить же ему точные границы между науками, когда он понимает, что границы эти от нашего незнания! Не природа разделила себя на разные отрасли своего изучения, это сделали сами люди! Из-за своего невежества, из-за недостаточных своих сил, из цеховой своей ограниченности...

А все-таки ему милее его старые коллоквиумы. Не теперешние, проводимые в светлой и парадной комнате за длинным столом, а те, что были раньше, давно... Когда раз в неделю все его студенты, ассистенты, лаборанты — все сбегались на третий этаж, в самую малую, самую неказистую аудиторию. В ней ничего не было, кроме плохо вытертых скамеек, пыльного стола, длинной ученической доски, на которой висит грязная тряпка... Лебедев садился — как

радушный хозяин — в конец стола, а кругом размещались все, без соблюдения чинов, положения, возраста... Выступают студенты с рефератами о текущей литературе по физике, выступают ассистенты и лаборанты, рассказывают о своих последних опытах: какая была поставлена задача, как изготовлялся прибор, проводился опыт, какие он дал результаты...

Лебедев то и дело прерывает докладчика, задает ему свои знаменитые, лебедевские, «А что, если?..». Со всех сторон поднимается шум, споры, кто-нибудь из наиболее резвых выбегает к доске и чертит свою схему, которая ему представляется гениальной, все решающей... Но докладчика на коллоквиуме смутить невозможно. Лебедев приучил своих учеников к этой — немыслимой у других профессоров — атмосфере полной свободы мнений. Гопиус как-то сказал, что Лебедев проводит коллоквиум, как опытный доезжачий на старой барской охоте: нащупав слабое место у докладчика, спускает на него всю свору гончих. И по команде: «Ату его!» — на беднягу набрасываются все, беспощадно выискивая слабые места в опыте, в размышлениях о его результатах. Стараются доказать, что опыт был не совсем чистым, что не было учтено то-то и то-то, что выводы из опыта — школьные, не самостоятельные, что докладчик не знаком с последними работами немецких и английских физиков...

Иногда докладчик отбивается так сильно, зубасто, что оппоненты смущенно замолкают. А иногда собьется, бедный, не может найти аргументы против убийственных доводов оппонентов, против ядовитых реплик Гопиуса, начинает запинаться, беспомощно что-то чертить на доске, вытирать пот на лбу... и замолкает под громкий хохот присутствующих, под веселые реплики:

«Смотри, смотри — уже пузыри пускает!..»

«Не трать, кума, силы, спускайся на дно!..»

Однажды зашел и полчаса посидел на коллоквиуме проректор. Минаков — человек порядочный. Он был совершенно шокирован этой обстановкой, тем, что студенты осмеливались не только возражать приват-доцентам, но и перебивать своего собственного профессора... А Лебедеву это как раз и по душе! Начал было он Минакова убеждать, что наука должна развиваться в атмосфере полного демократизма, отсутствия чинопочитания, а главное — отсутствия святой веры в непогрешимость авторитетов. Но по-

смотрел на выражение лица проректора и бросил его убеждать — все равно это ему недоступно. Конечно, если в университете только обучаться, да еще так, как это делали сотни лет назад, то действительно надобно воспитывать у студентов непоколебимую веру в непогрешимость всех изучаемых догм. Так повелось с тех пор, когда в университетах главным предметом была теология. Сомневаться в догматах религии было немыслимо. Она построена на чистой вере, ее положения не могут быть доказуемы опытом. Но изучать естествознание таким же манером, как закон божий...

Большинство его коллег относятся к новейшим физическим теориям с таким же страхом, как некогда преподаватели теологии к малейшим отступлениям от толкования священного писания отцами церкви... Он не теоретик, а экспериментатор, он полагает, что эйнштейновская теория относительности будет или доказана, или опровергнута путем совершенно точного опыта. Но ему так по душе юношеская живость и восприимчивость ко всему новому его старшего коллеги, прекрасного физика, блестящего теоретика Николая Алексеевича Умова! В прошлом году опубликовал великолепную статью с математическим толкованием теории относительности. Это в шестьдесят четыре года! Не только воспринял невероятные физические теории этого странного, но наверняка гениального немецкого профессора, но и находит математический аппарат для его толкования! Вот так и надо! И таких бесстрашных ученых, без всяких шор на глазах, и должен воспитывать его лебедевский семинар, его коллоквиумы...

Но проректор еще и не подозревал, что этот шумный, внешне бестолковый спор на коллоквиуме у него, у Лебедева, заменяет экзамены. Святые, строгие, ведущиеся чуть ли не по обрядам литургии, экзамены... Со школьных еще времен, с коммерческого, с реального училищ ненавидел Лебедев экзамены! Во время экзаменов он чувствовал, что у него буквально прекращается всякая работа мозга. Надобно не думать, а отвечать что-то затверженное, не требующее размышления, обсуждения... Конечно, он ничего не может изменить в системе занятий императорского университета. Его студентам приходится и зубрить, и приходить на экзамены, и отвечать на все придирки такого упорного и хитрющего экзаменатора, как, например, Гопиус... Да ему и самому приходится принимать участие в

экзаменах, строго спрашивать студентов и мысленно страдать за них... Но на кафедре Лебедева все же известно, что успехи студентов профессор определяет не на экзаменах, а на шумных сборищах коллоквиума, за лабораторным столом, в нескончаемых беседах, которые так любил Лебедев вести с молодежью. Да, ведь только так и возможно выявить, выучил ли студент физику, или же он ее продумал и прочувствовал. А ему и не нужно, чтобы его ученик мог отбарабанить проштудированные страницы учебника Хвольсона. Ему нужно узнать: думает ли студент о физике. Думает ли, размышляет, мучается, просыпается ночью и перебирает в уме все детали неудавшегося опыта... Если это так — значит, это физик, значит, он будет ученым, все остальное не имеет уже существенного значения!

Правда, на старых его коллоквиумах и он был не такой, как сейчас, был другой. Совсем другой. Тогда, кроме физики, у него ничего не было, да и не хотел иметь...

Только три года назад женился, обзавелся семьей... Это в сорок-то три года! Да и то, наверное, потому, что это была Валя, которую он знал с детских лет, сестра ближайшего друга, человек близкий, все понимающий, все прощающий... А до этого у него ничего не было, кроме его физики, кроме его лаборатории, кроме его семинаров и коллоквиумов.

Заседания коллоквиума кончались поздно вечером, и все они — ну, не все, а самые близкие и преданные ученики,— все они после коллоквиума дружно шли в излюбленный трактир на Большой Дмитровке. Половые уже привыкли к этой шумной компании, предводительствуемой высоким веселым профессором. Они быстро сдвигали в угол столы, приносили стулья... После долгих споров на коллоквиуме все были чертовски голодны, веселы, возбуждены. Доценты и студенты, лаборанты и ассистенты жадно набрасывались на нехитрую и дешевую снедь... Пили только пиво, никакой потребности пьянеть ни у кого не было, все и так были пьяны от этого дивного чувства свободы и раскованности мысли, от того, что никто тебя не ограничивал в самых дерзких, самых невероятных физических мечтаниях... И за трактирным столом — иногда еще много часов подряд — продолжался спор, начатый в лаборатории, продолженный на коллоквиуме, спор, который не закончится еще и здесь...

Да, это и была его семья!.. А почтеннейшие профессорши в это время плели вокруг него наивные сети, обсуждая, какую же профессорскую дочку выдать замуж за этого хоть и не очень-то нормального, а все же, говорят, способного и многообещающего профессора... А ему было так хорошо в этом трактирном гаме, табачном дыму... Когда лебедевская компания уже немного уставала от споров, он им начинал рассказывать о годах своего студенчества, о Страсбурге, об Августе Кундте... Конечно, все опять сбивалось на физику, но разве от нее можно уйти?.. От нее нельзя уйти даже и тогда, когда вспоминаешь не только Страсбургский университет, но и все, что было раньше: и Московское техническое, и реальное, и коммерческое...

Неужели же он так стар, что все чаще ему приходят в голову воспоминания о прошедшем? О том, каким он был, как он стал таким, как сейчас: уже старым, очень больным, ну а все-таки что-то успевшим в своей недолгой жизни сделать!.. Неужели же от старости все чаще ему приходят в голову воспоминания о прошлом? И почему это прошедшее сейчас, когда он стал немолодым и больным, начало занимать столько места в его мыслях? Может быть, потому, что настало время подводить итоги своей недолгой жизни?..



Детство, отрочество, юность

...В доме тихо. Все, наверное, ходят на цыпочках, Валя со своим сыном разговаривает вполголоса, все думают, что он спит. А он и по ночам плохо спит, днем же и подавно. Но пусть думают, что он дремлет, так ему никто не будет мешать вспоминать...

Думал ли он в детстве, что будет ученым? Хотел ли он стать ученым? Иногда студенты его об этом спрашивают.

И он ловко уходит от точного ответа. Он этого, пожалуй, и сам не знает. Но знает зато одно: в его детстве все делалось для того, чтобы из него вышел не исследователь природы, а ухватистый, широкий, предприимчивый промышленник.

Скоро, 24 февраля, ему исполнится сорок пять... Коренной москвич! И Москву он помнит еще не теперешней, с огромными многоэтажными домами, асфальтом на Петровке, быстрыми автомобилями, стреляющими бензиновым дымом, большими дуговыми фонарями, похожими на гигантские ландыши... Москва его детства была тоже шумной, но шум был совсем другой, какой-то домашний, не раздражающий шум... Даже знаменитый предпасхальный торг на Красной площади — и тот шумел по-другому! Четыре последних дня шестой недели великого поста шло на площади это немыслимое торжище. Ряды наспех построенных палаток, просто рундуки и корзины со всем, чем только можно торговать. Цветы, ковры, парфюмерия, картины, замки, игрушки, конфеты, воздушные шары... И самый большой соблазн московских мальчишек — необыкновенные игрушки, каких никогда нельзя вымолить у родителей: «Морской житель», «Иерихонские трубы», «Тещин язык», «Животрепещущая бабочка»... Насколько эти живые, орущие, свистящие игрушки были милее дорогих кукол, огромных коробок с оловянными солдатами и железной дорогой!..

Запомнились не праздничные дни, занятые скучными гостями и скучными хождениями в гости, а веселые будничные, когда можно было после уроков бегать с Сашей и другими мальчиками на Пречистенку задирать гимназистов из Поливановской гимназии или же смущать воспитанниц «Александро-Марьинской кавалерственной дамы Чертовой Института учреждения ведомства императрицы Марии»... Уф! Это же надо так назвать! В этом институте обучались офицерские дочери, и дисциплина там была самая армейская: девочки ходили гулять строем под неусыпным наблюдением строгих классных дам. А все равно иногда наиболее ловкие мальчишки ухитрялись записочки им передавать... А то они всей компанией ходили к одному приятелю в Подкопаевский переулок. Они шли мимо мрачного женского Ивановского монастыря, где когда-то в тюрьме томилась несчастная княжна Тараканова, где на цепи много лет сидела страшная Салтычиха — убийца-ис-

тязательница своих крепостных... А совсем рядом, немного выше, шумела страшная Хитровка с ее оборванцами, «хитрованцами» — ворами, нищими, спившимися, утратившими человеческий облик, людьми... А были еще гулянья по праздникам на Большом Царицыном лугу возле Новодевичьего монастыря, и были — всегда праздничные, всегда радостные — выезды всей семьей в цирк... Цирк Саламанского на Цветном или же цирк Никитина на Триумфальной. Там, в цирке, и началось его увлечение лошадьми, верховой ездой...

А увлекаться ему было просто... Богатая, даже по старомосковским понятиям, купеческая семья, отец, никогда и ни в чем ему не отказывавший... Готовил из своего сына достойного себе преемника... Чтобы умел ценить богатство, чтобы не увлекался никому не нужными вещами: стишками там, заумными книгами. Пусть увлекается тем, чем и должен увлекаться богатый молодой человек. Любишь танцевать — и пожалуйста тебе балы в своем доме, у знакомых. Любишь верховую езду — отец покупает сыну хорошую верховую лошадь. Спорт любишь — прекрасно: играй в лаун-теннис, вступай в яхт-клуб. За барышнями любишь ухаживать — вот тебе деньги на цветы, на богатые бонбоньерки с изысканными конфетами, на ложу в театре... Ни в чем не было отказа. Кажется, все было сделано, чтобы сладкая отрава денег, богатства заворожила, чтобы ты понял, что есть только одно хорошее, достойное тебе дело — наживать деньги.

И учиться его отец отдал не в какую-нибудь гимназию, где можно набраться всякой дворянской фанаберии и того вольного духа, что неизбежно приводит на каторгу, в Сибирь или еще того хуже... Петр Лебедев начал учиться в Петропавловском коммерческом училище. Учреждение солидное, куда отдавали своих детей многие богатые московские купцы. А когда надобно было продолжать образование, то выбрал для сына не казенную там гимназию, а реальное частное училище Хайновского, славившееся тем, что там отлично было поставлено изучение технических наук, которые всегда нужны толковому и широкому предпринимателю. И в училище этом не было тех строгостей, что в казенной школе, купеческие дети могли предаваться своим увлечениям сколько угодно.

А Лебедев был увлекающимся? Да, пожалуй, был. Конечно, ему всегда были противны и скучны великовозраст-

ные товарищи по училищу с их неумелыми кутежами, поездками в загородные рестораны... Но в своих увлечениях спортом, танцами он всегда шел до предела возможного! Мог танцевать всю ночь, до самого утра. Занимался греблей до того, что уже тогда, наверное, он и испортил свое сердце... А бешеные, не знавшие удержу прогулки в горы, лазанье по отвесным скалам па Кавказе и в Крыму!..

Если он ставил себе цель, то мог думать только о том, чтобы ее достигнуть...

И вот нá тебе: увела его все-таки наука! Она оказалась сильнее всех соблазнов, сильнее всех юношеских увлечений! А когда это все началось? Да, пожалуй, еще в коммерческом училище... До сих пор он помнит школьный физический кабинет и как он впервые сам извлек искру из электрофорной машины. И каким событием для него было, когда его учитель Бекнев дал ему смонтировать разобранную электрофорную машину... Он сам промывал спиртом стеклянный толстый диск, мастерил из старых офицерских лайковых перчаток подушечки, прижимавшиеся к диску... И сам разбирал и собирал лейденские банки. Соберет их, зарядит, а потом дотронется концом провода до пальца любопытствующего товарища. Раздается легкий треск, приятель отскакивает от странного и неприятного укола в палец...

И тогда решил: не будет он никаким купцом, и не будет он знаменитым наездником, и не будет первым в яхтклубе, и не будет он пытаться взобраться на величайшую, непокоренную вершину мира — Эверест... Ничего этого ему не нужно. Будет он изобретателем самых необыкновенных машин! И не просто машин, а машин электрических.

И в эту новую свою страсть он вложил не только свойственную ему способность увлекаться до конца, но и ту деловитость, ту практичность, которые отличали его и так радовали его отца, видевшего в этом самый верный залог коммерческого будущего своего сына. С шестого класса он ведет дневник своих изобретений... А что он только не изобретал! Господи!.. В шестнадцать лет изобретал уже давно изобретенное, придумывал вещи, невероятные по своей наивности, непрактичности и ненужности!.. Но разве он и тогда был лишь увлекающимся подростком?!

...Лебедев улыбается своим воспоминаниям... Да, было и это: придумывал электроловушки для мух, электромышеловки, необыкновенную электрическую сигнализацию против воров... Но ведь не только игрушками занимался. Увлекался созданием совершенно новых, экономичных динамо-машин. И не просто увлекался, а рассчитывал, делал чертежи, не только сам верил в реальность своих изобретений, но и мог в этом убедить взрослых, хорошо знающих технику людей. Незадолго до окончания реального училища изобрел униполярную, чрезвычайно выгодную и экономичную, как ему казалось, динамо-машину. Тщательно сделал все чертежи, все расчеты, составил подробное техническое описание... Показал это все их хорошему знакомому, бывавшему часто в доме,— директору известного машиностроительного завода Густава Листа. И настолько убедил его в полной возможности осуществить изобретение, что тот предложил Петру Лебедеву построить на его заводе сорокасильную машину.

Как тогда восхищенно и почтительно смотрели на него его товарищи, даже его учителя, а уж о домашних и говорить нечего!.. В училище ему разрешили манкировать уроками, знали, что он целыми днями пропадает на заводе Листа, где делается «его» машина! Для него не было тогда на свете более приятного и интересного места, чем этот закопченный завод на Софийской набережной. Он приходил туда иногда с самого утра и оставался до позднего вечера. Мастера и рабочие почтительно называли высокого и плотного реалиста «Петр Николаевич», как настоящего инженера... По его чертежам отливался в литейном цехе сорокапудовый корпус машины, и он с замиранием сердца смотрел, как льется металл в форму, и боялся: вдруг разорвет, вдруг в корпусе будут раковины?.. Нет, корпус отлили очень хороший! А потом он вместе с электриками обматывал якорь, прилаживал щетки... Лебедев приходил домой грязный и усталый до изнеможения. И никто его не упрекал, все знали, что Петя изобрел что-то очень важное, что даст много выгод ему — будущему крупному известному промышленнику!

А потом наступил тот черный день, что бывает у всякого изобретателя... У него он наступил, пожалуй, немного рано. И вот уже стоит на стенде его собственная, блещущая красной медью, свежей краской, единственная в мире униполярная динамо-машина системы П. Н. Лебеде-

ва... Мастер надевает на шкив динамо-машины приводной ремень, якорь начинает свое бешеное вращение, изобретатель не сводит красных от бессонницы глаз от амперметра... Тока нет... Потом долгие часы пересмотра контактов, зачистки щеток — тока нет... Потом новый перемонтаж якоря — тока нет...

Затем дни и ночи за пересмотром собственных расчетов, чертежей, тишина в доме, все ходят на цыпочках — у Пети несчастье... А затем вдруг полное и безнадежное понимание, что его машина и не могла работать. Пошел к директору и признался, что идея оказалась научно правильной, но технически несостоятельной, что он готов возместить фирме «Густав Лист» все причиненные убытки и, если возможно, разрешить ему уплату долга после окончания реального... Хмурый директор сказал, что после сдачи экзаменов возьмет его на свой завод техником и удержит долг из жалованья. Так и сделал. После окончания реального училища неудачливый изобретатель не поехал в Крым, не переехал на дачу, а каждое утро отправлялся на службу на завод Листа. И работал там несколько месяцев, пока заводской бухгалтер ему не сказал, что завод с ним в расчете и что он может начать получать свое жалованье на руки.

Была осень 1884 года. Не для того он перешел в реальное училище Хайновского, чтобы работать мастером на заводе своего домашнего знакомого! Впереди было Московское техническое училище — МТУ, знаменитое МТУ! Блистательно сдал вступительный экзамен, блистательно начал учиться,— ему тогда и в голову не могло прийти, что через два с половиной года уйдет из Московского технического, не окончив его... Было в Техническом для Лебедева много привлекательного. Это был институт, который выпускал инженеров самой высокой квалификации. Его воспитанники ценились очень дорого, им была открыта дорога к самой блестящей инженерной карьере. И ничего в институте пе было от обычной расейской безалаберщины, там презирали и не переносили белоручек. В МТУ Лебедев в совершенстве изучил слесарное и токарное дело, он мог изготовить любую нужную деталь, мог быть в глазах самого опытного рабочего примером превосходного токаря или слесаря. Это все было, за это Лебедев остался благо-

дарным МТУ навсегда, на всю жизнь. И там он научился не только изготовлять, но и конструировать приборы. Сконструированный им и собственными руками изготовленный спектрограф демонстрировался на выставке, устроенной во время второго Менделеевского съезда.

И все же через какое-то время Лебедев начал ощущать, что его интересы не совсем совпадают с назначением Технического училища, с тем, что им преподают. Да, конечно, здесь превосходно готовили инженеров. Но Лебедева вовсе не так уж сильно интересовала техника. Ему не столько было важно, что по проводу идет ток, сколько интересно, почему он идет. И что это такое — электрический ток? А вот это — что такое электрический ток — меньше всего интересовало его преподавателей. Кроме одного... Профессор физик В. С. Щегляев с первого же курса заинтересовался необыкновенным студентом. И сам он был профессором, резко отличавшимся от других преподавателей Технического училища. По подготовке, по интересам. Учился он в Страсбургском университете в Германии у известного профессора, создавшего большую школу физиков, Августа Кундта. Кундт был теоретиком, и его учеников отличало стремление прежде всего найти смысл физических явлений. Щегляев сам немного томился в сухой инженерии МТУ... И ему пришелся по душе пытливый студент, в котором так странно сочеталось наивное стремление изобретать со страстью ученого понять природу того, что он делает. Однажды Лебедев рассказал ему трагикомическую историю своего изобретения униполярной динамо-машины. Он тогда не примирился с тем, что — как это бывает у всякого изобретателя — машина не удалась. И его беспокоил не столько образовавшийся у него долг перед заводом, сколько причина того, почему же машина не работала. Сгоряча и не подумавши сказал он директору завода, что физическая идея его машины правильная, только технически ее невозможно осуществить... Но потом понял, что это не совсем так. Неделями он сидел за книгами, за расчетами. Возвращался с завода Листа, где отрабатывал свой долг, и садился за книги и тетради. Пока не понял, что не техника, а его собственные представления о магнетизме были неполные, неточные, неверные. Это его совершенно потрясло...

Кажется, уже на втором курсе состоялся этот разговор профессора Щегляева с ним... Он откровенно спросил у

Лебедева, зачем он учится, чтобы быть инженером, когда у него есть призвание ученого, исследователя. Ну хорошо, кончит он МТУ, а дальше? В России ни на каких заводах — даже самых больших — нет никаких исследовательских лабораторий. Исследованиями по физике занимаются в Московском и Петербургском университетах, в Петербургской академии наук... Пожалуй, самая интересная лаборатория именно здесь, в Москве, у профессора Столетова. И занимается он как раз электромагнетизмом — тем, чем интересуется Лебедев. Но без университетского образования нечего и думать о том, чтобы туда попасть. А чтобы перевестись в университет, надобно сдавать снова полный гимназический курс, в котором самым главным и самым трудным являются классические языки — латынь и древнегреческий. Не имея о них никакого представления, невозможно подготовиться для сдачи экстерном...

И тогда Щегляев сам предложил Лебедеву выход: уйти из Технического, уехать учиться физике за границу, в Германию. И не в Берлинский университет, где также требуется аттестат со знанием древних языков, а туда, где учился сам Щегляев,— в Страсбургский, и не к кому-нибудь, а к самому Августу Кундту, которого Щегляев считал самым интересным физиком в Германии. И он готов дать Лебедеву письмо Кундту, рекомендовать ему способного студента, имеющего наклонности исследователя...

Только много лет спустя, сам став профессором, постоянно думая о своих учениках, Лебедев мог оценить поступок Щегляева. Расстаться с самым интересным своим учеником, посоветовать ему уйти от него, уйти из МТУ, сделать это ради науки, ради малоизвестного ему студента — да, для этого нужно обладать и страстной любовью к науке и благородством души... Щегляеву Лебедев чувствовал себя обязанным, понимал, что это он первый открыл перед ним путь к самому любимому и интересному делу. И должно же было случиться, что потом, через много лет, став уже ученым, ему пришлось выступить — и как выступить!— против своего первого профессора, против человека, которому он был стольким обязан!..

Лебедев даже застонал от какой-то душевной, почти

физической боли, вспоминая эту историю, стоившую ему стольких сил, нервов, сомнений... Но он же не мог, не мог поступить иначе! Он не любит вспоминать эту давнюю историю. Но сейчас, когда это вновь на него нахлынуло, когда он перебирает свою жизнь, он хочет снова все повторить в уме, снова и снова проверить себя... Как же это все было?

Наверное, эта ненависть к скороспелым, категорическим выводам, к сенсационности у него появилась еще в ранней юности, после этой дурацкой истории с изобретением униполярной динамо-машины. Свой позор он ощутил позже: не тогда, когда его машина отказалась работать — в конце концов, это случается у любого изобретателя! — а когда он догадался, что его уверенность проистекала больше всего от невежества и самомнения.

Вот тогда он дал себе слово, что никогда и нигде не будет ничего опубликовывать, пока полностью не убедится в точной, проверенной опытом, достоверности. Сам строго соблюдал это правило и без малейшего снисхождения относился к тем, кто категорически и бездоказательно пытался устанавливать законы в физике. Устанавливать, вместо того чтобы выяснять, открывать их! На него часто косились его коллеги за то, что он некоторые научные сенсации даже не удостаивал научного спора. В последнее время, когда он встречался с попыткой глубокомысленного и туманного объяснения всем известного факта, он негромко — но, чтобы все слышали,— читал строчки из стихотворения современного поэта:

А за окном сосет рябой котенок суку.
Сей факт, с сияющим лицом,
Вношу как ценный вклад в науку...

И не стеснялся цитировать Сашу Черного не только в своей лаборатории или на коллоквиуме, но и на заседаниях физического общества, и на кафедре...

Совсем недавно, года два назад, петербургский физик профессор Мышкин напечатал в журнале Русского физико-химического общества огромнейшую, страниц на тридцать, статью «Пондемоторные силы светового поля». Чтобы всем было ясно, что речь идет о целой серии фундаментальнейших исследований, Мышкин в скобках пометил: «Сообщение первое». Лебедев с интересом и увлечением начал читать статью. Пондемоторные силы... Это было ему

близко, пондемоторными силами он занимался, они ему испортили много крови, пока он их не укротил, не научился отделять от других явлений. Но по мере того, как Лебедев читал статью петербургского профессора, лицо его наливалось кровью, он должен был прерывать чтение, чтобы немного успокоиться... Этот профессор, считавший себя исследователем, пространно — с колонками цифр и таблицами — сообщал о своих наблюдениях над вращением подвешенных тел под влиянием различных условий освещения комнат, где находятся приборы. Ну и прекрасно, пусть исследует, хотя этим уже занималось множество физиков.

Но Мышкин совершенно серьезно уверял, что существуют особые «пондемоторные силы светового поля». Тут уже пахло не просто наблюдением, а сенсационным открытием нового явления, открытием неизвестной ранее силы.

Лебедев тогда не выдержал. Он написал в журнал маленькую, на одну страницу, заметку, в которой нетерпеливо объяснил профессору Мышкину и всем ученым, читателям журнала, что в явлениях, описанных в статье Мышкина, абсолютно нет ничего нового, что они известны всем физикам мира со времен Кулона и Кавендиша, что еще тридцать лет назад эти явления были всесторонне исследованы Круксом, который блестящими и тонкими опытами доказал, что причина этих явлений состоит в ничтожном, с трудом замечаемом, нагревании подвешенных тел световыми и тепловыми лучами. Мышкин замолк, обещанное им продолжение в журнале больше не появлялось...

Но Мышкин — это чужой петербургский профессор, с которым его ничто не связывало и которого он проучил не без удовольствия. А вот с Щегляевым — с Щегляевым все было гораздо сложнее и тяжелее... Когда Лебедев привез в Страсбург Кундту рекомендательное письмо своего профессора, он удивился, что Кундт принял его без особого восторга и с подозрительной тщательностью следил за первыми работами. Потом, когда Лебедев стал любимым учеником Кундта, когда отношения их скорее напоминали отношения друзей, нежели учителя и ученика, Кундт ему объяснил причину своей настороженности: Щегляев допускал нечистые опыты. Он спешил делать далеко идущие выводы, не давая себе труда снова и снова тщательно все проверить, а может быть, и не желая себя проверять... Так

или иначе, а несколько раз работы Щегляева о новых закономерностях, установленных им, опытами других ученых не подтверждались. Скажем более прямо — опровергались! Ну ладно, ошибиться может любой, ученый тоже человек и имеет право на ошибку. Но ученый обязан эту ошибку немедленно признавать, когда она установлена, а не цепляться за нее, не настаивать... Щегляев нарушал это элементарное правило поведения ученого, и его учитель Кундт не мог ему этого простить. И не мог ему этого простить и Лебедев. Когда он приехал в Москву, у него с Щегляевым не возобновились отношения. Особенно после того, как и в России его бывший профессор несколько раз выступил с работами, которые мгновенно были опровергнуты повторными опытами других ученых... Но Лебедев молчал: ему трудно было заставить себя замахнуться на человека, которому считал себя многим, очень многим обязанным. Пока...

В 1900 году в журнале Русского физико-химического общества была напечатана большая статья профессора Щегляева «О разрядах конденсатора при помощи искры». Этого уже Лебедев не мог перенести... Пространно и самоуверенно Щегляев рассказывал о своих новых опытах, на их основе выводил формулы, которые устанавливали в физике новые, совершенно новые законы. Он делал это так, как будто до профессора Щегляева не существовало гениальных физиков, которые свои открытия основывали на опытах, доступных каждому гимназисту!..

Лебедев немедленно сел писать ответ на статью своего бывшего учителя. Он помнит, хорошо помнит, сколько времени просидел за листом бумаги, прежде чем написать первую фразу: «Вышедшая статья В. С. Щегляева вызвала у меня беспрерывные недоумения такого рода, что я считаю своим долгом поделиться ими...» В ответе Лебедева это была единственная дипломатическая фраза, которую он с трудом из себя выжал. А дальше шел беспощадный, чисто лебедевский разгром профессора физики, нарушившего нравственные обязанности ученого перед истиной. Лебедев писал, что неправилен опыт Щегляева, неверно его построение, легкомысленны выводы... Что из соображений автора статьи совершенно очевидно, что он не уяснил себе элементарного учения об электрических колебаниях, ибо если поверить опытам Щегляева, что «электрические колебания порождают и уничтожают электрические заря-

ды», то эти опыты опровергают все современное учение об электричестве и магнетизме... А следовательно, эти опыты или означают полный переворот в современной науке, или же это ряд не имеющих научного значения, случайных отсчетов, полученных в результате нечистого, недостаточно тщательно проведенного опыта. Элегантные формулы, выведенные на основании этих опытов, могут только привести в изумление людей, много работавших с электрическими и магнетическими явлениями...

И тут Лебедев не удержался. Он вставил в свою маленькую статью беспощадную фразу о том, что не впервые Щегляев пытается вызвать научную сенсацию своими нечисто проведенными, впоследствии опровергаемыми опытами, что он это себе позволял, еще находясь в Страсбурге.

Свой ответ Щегляеву Лебедев закончил словами: «Во всяком случае, мне думается, что мы можем продолжать считать основы современного учения об электричестве и магнетизме не поколебленными, а результат опытных исследований профессора Щегляева... результатом фатальных недоразумений, простое объяснение которым я затруднился бы указать».

Ответ Лебедева Щегляеву был написан в ноябре 1900 года и немедленно опубликован в девятом выпуске журнала. Боже мой, какой шум вокруг этого поднялся! Щегляев писал какие-то жалкие и обидчивые ответы, его товарищи по Высшему техническому на профессорских вечерах говорили, что все же Петр Николаевич Лебедев мог бы и проявить терпение к своему старому профессору, воздержаться от такого резкого и публичного ответа, глубоко непатриотического... В конце концов, речь идет о репутации русской науки... Зачем ее публично, перед всем миром, шельмовать?..

Лебедева этот шепоток за его спиной приводил к ночным сердечным приступам, к дневным взрывам бешенства. Да неужели ложь, нарушение научной истины могут служить прославлению русской науки?! Не обязан ли каждый русский ученый всегда, при всех обстоятельствах выступать в защиту правды, кто бы ни осмеливался ее нарушить! Этак патриотизм такого рода приведет к тому, что сотрется грань между учеными и теми охотнорядскими мясниками, которых полиция вербует, чтобы бить студентов!..



Да, дорого ему обошлась эта история... Но тогда, в Техническом, он не подозревал, что так драматически закончатся его отношения с Щегляевым. И он, как птица из клетки, летел навстречу неизвестному и сладкому будущему!

...Не просто было бросить неоконченное Техническое училище, бросить Москву, бросить семью, где начал прихварывать отец, бросить все и уехать переучиваться в чужой, в иностранный университет. Но к этому времени и дома стали понимать, что из него выйдет что-то совсем другое, нежели ловкий и знающий свое дело предприниматель. Мать, которая всегда ему была самая близкая советчица и помощница, мама, мыслившая не по-купечески широко, она и тут ему помогла. И даже отец согласился с тем, что не следует ему делать из сына продолжателя своего купеческого дела...

И вот он в Страсбурге, у самого профессора Августа Кундта. Первые впечатления от Кундта были совершенно новыми, необычными, потрясающими! Он не был похож ни на кого из всех профессоров, которых навидался уже Лебедев. Ну, просто в нем не было никаких примет того, что в России именовалось «профессорским» и что всегда связывалось с чем-то медлительным, величественным, почтительным. А этот рябой, небольшого роста человек с всегда всклокоченными каштановыми волосами, светлорыжей бородой, глубоко спрятанными голубыми глазами, с орлиным носом — он лишь слегка смахивал на поэта, художника, музыканта, кого угодно, но только не на профессора физики! Он был прост, приветлив, обаятелен в своей некрасивости. И он не был похож на поэта, а был им! Его музой была физика, он находил в ней и учил других находить одухотворенность, поэтичность. Эта муза требовала не только знаний, но и живости воображения, способности отвлекаться от существующего, подтвержденного и уноситься мечтами далеко, в такие области, куда без мечты невозможно забраться... Никогда и ни к одному че-

ловеку не испытал Лебедев такого тяготения, как к Августу Кундту! Он ловил себя на том, что, как институтка, готов всюду за ним ходить, лишь бы не пропустить ничего, что, иногда небрежно, на ходу говорил тот своим ученикам...

Но и Кундт понял, что этот русский студент имеет все, что он хотел бы видеть в лучших своих учениках: талант, неукротимую и самоотверженную любовь к науке, свободу воображения, полное отсутствие научной косности, рабского преклонения перед научными авторитетами... Только — такая жалость!—нет необходимого образования, одна лишь инженерная подготовка. Чтобы войти в круг новейших физических проблем, нужно перечитать горы книг! Нужно отказаться от всех юношеских прелестей немецкой университетской жизни: дружеских попоек, ночных факельных шествий, путешествий по красивым местам Западной Германии, веселых споров с друзьями за кружкой пива в старинной таверне...

Но ради той физики, с которой он встретился, Лебедев готов был отказаться от большего! Ему были по плечу все требования нового профессора, какими бы они ни были. Лебедеву двадцать один год, он здоров, как цирковой атлет, он может перевернуть горы, если это надобно для науки! И он умеет отказаться от всех соблазнов студенческой жизни, от всего, что ему так заманчиво обещала юность, здоровье, богатство... Страсбургские студенты ужасались дикой работоспособности и аскетической жизни этого красавца русского, его умению быть строго расчетливым и экономным во времени, его совсем нерусской аккуратности, методичности, пунктуальности... Лебедев не мог себе позволить потратить не на физику ни одной, буквально ни одной минуты! И это для него не было связано ни с какой жертвенностью, нет! Ему было жаль лишь одного: что так мало часов в сутках, что из этой малости, из-за этих двадцати четырех часов надо тратить дефицитные минуты на еду, на сон...

Вот только приходилось постоянно ограничивать себя. Не только в сне — даже в идеях! В физике Лебедева привлекало все, его шатало из стороны в сторону... Кундт шутя говорил, что Лебедев — какой-то генератор идей... «А может, точильный камень, из-под которого летят искры...» — лукаво прибавлял он, косясь на ученика голубым глазом.

Профессор даже сочинил целое стихотворение о русском студенте. Лебедев до сих пор помнит его:

Jdeen hat Herr Lebedew
Per Tag wohl zwanzig Stück...

«У Лебедева,— говорилось в стихотворении Кундта,— каждый день появляется по двадцать новых идей, и для директора института поистине является счастьем, что он половину этих идей растеряет, прежде чем попробует их осуществить...»

Но для Лебедева все эти идеи были захватывающе интересны, он готов был заниматься ими подряд. И смешные стихи Кундта, которые ему декламировали все товарищи по институту, нисколько не остужали пылающей головы. Да и как она могла остужаться?! Не только студенты, даже ассистенты Кундта не имели в страсбургской лаборатории таких возможностей, как он. Какой бы аппарат ему ни требовался для опыта, его немедленно приносили, не спрашивая, для чего он ему нужен. От него не требовали никаких скучных формальностей, заполнения целых анкет, которые были обязательны для всех, получающих дорогостоящие приборы. Кундт начинал свой день с очередной шутки над Лебедевым, но в университете было известно, что знаменитый профессор считает своего русского ученика талантливым физиком, а его идеи — оригинальными и самостоятельными. Лебедев ставил задачи такие смелые, на какие не решались даже опытные физики.

И никто к нему не придирался, никто не совал в его дела подозрительный нос, он был совершенно самостоятелен в комнате, которую ему выделили. Каждое утро он просыпался в нетерпеливом возбуждении: скорей, скорей в институт, скорее в эту СВОЮ, заставленную приборами комнату... Как рассказать о том ощущении счастья, которое его иногда охватывало с такой силой, что он не знал, как ему это выразить!.. Матери он писал, что в своей лабораторной комнате чувствует себя как правоверный магометанин, попавший в обещанный ему Магометом рай... И что если бы вокруг не было чувствительных приборов, то он готов был бы от радости совершенно неприлично прыгать козлом или же, вспомнив свое детство, начать ходить по лаборатории на руках...

«Я никогда не думал, что к науке можно так привя-

заться. И если у меня отнимут физику, то я исчахну в еще больших муках, чем Альфред дель Родриго по Эльвире...» Любой, прочитавший в его письме эти слова, мог счесть их за обычную студенческую шутку. Но мать хорошо знала своего сына, она вовсе не считала шуткой, когда он писал ей: «С каждым днем я влюбляюсь в физику все более и более... Скоро, мне кажется, я утрачу образ человеческий, я уже теперь перестал понимать, как можно существовать без физики...» Она никому не давала читать письма сына, она всерьез понимала всю силу охватившего Лебедева чувства и с грустью думала, что, пожалуй, не дождется она внуков...

Конечно, не все время Лебедева уходило на радостную возню с приборами. Кундт был прав, когда говорил ему, что он невежествен в теории, что ему предстоит прочесть горы книг. Он их и читал. Только не испытывал от этого никакого неудобства. Читать про то, чего он еще не знал, ему было так же приятно, как и ставить опыт. Каждая новая книга доставляла ему столько радости, что у него утрачивалось ощущение труда... Вот это была, наконец-то, та самая счастливая жизнь, о которой он, еще в двенадцать лет, мечтал в своих разговорах с другом Сашей Эйхенвальдом...

Бывало, что в своей увлеченности он сбивался на «детские грехи» — начинал изобретать уже давно изобретенное... Одно время невероятно увлекся идеей нового электротехнического измерительного прибора — простого, универсального, удобного в обращении... Несколько дней ходил воодушевленный своей идеей. Хорошо еще, что прежде чем обнародовать эту идею и начать ее осуществление, заглянул в специальную литературу. И обнаружил, что знаменитый немецкий инженер Вернер Сименс сконструировал прибор по этой самой новой лебедевской идее еще в 1866 году — в год рождения Лебедева... И «мостик Сименса» — один из самых общеизвестных измерительных приборов в электротехнике...

И при всем этом у Лебедева совершенно отсутствовало то, что всегда приписывается ученым в анекдотах и плохих романах как несомненные признаки гениальности. Он не был ни чудаковатым, ни рассеянным, никогда не записывал свои мысли и формулы на манжетах и ресторанных салфетках. В своей одержимости физикой он был столь же скрупулезен и точен, как и в школьные годы, когда вообра-

зил себя изобретателем. В первый же день своей жизни в Страсбурге отправился в лучший писчебумажный магазин города и запасся большим количеством толстых, с превосходной бумагой, отлично переплетенных тетрадей. Они ему напомнили конторские книги, которые велись в деле его отца. В эти тетради мелким и разборчивым почерком Лебедев записывал все, что узнавал из книг, из специальных журналов, все, что ему подсказывала необузданная фантазия молодого ученого. Он вычерчивал в своих дневниках схемы приборов, которые должны были экспериментально доказать правоту идей, приходивших ему в голову. Теперь он понимает, что, несмотря на все свое увлечение теоретической физикой, был по своей натуре, характеру, привычкам экспериментатором. Убеждение, что все должно проверяться опытом, и таким опытом, который доступен каждому, у него сложилось еще до Страсбурга. И чем дальше, тем он больше укреплялся в этом. Это было его будущим...

Через несколько лет, уезжая из города, где он впервые встретился с настоящей физикой, Лебедев напишет: «Самое счастливое время моей жизни было пребывание в Страсбурге, в такой идеальной физической обстановке...» Но если все вспоминать, то это были годы не только духовных радостей, но и годы трудных раздумий, драматических обстоятельств, которые настойчиво вмешивались в его жизнь.

В Москве умер отец. Перед смертью он разными эфемерными проектами порядочно расстроил свое состояние, и требовалась твердая мужская рука, чтобы принять отцовское дело, продолжать его. Это, по мнению всех родных в Москве, был его долг перед семьей, перед памятью отца, семейными традициями. Но мать... она знала своего сына лучше, чем кто бы ни было. Она знала, что он может быть счастлив только со своей наукой! И что имя Петра Лебедева в будущем прозвучит более громко, более гордо, нежели имя богатого и преуспевающего промышленника. Мать поддержала его, она напутствовала его идти своей собственной дорогой.

А через полтора года страсбургской жизни профессора Августа Кундта перевели в Берлинский университет. Не задумываясь Лебедев уехал с ним в город, который не любил, который был ему не просто неприятен, а отвратителен своей напыщенностью, суетой, церемонностью чиновников,

надменностью военных... Лебедев даже засмеялся, вспомнив, как несколько лет назад в Киеве прочитал в местной газете «Киевская мысль» стихотворение этого нового, модного и очень остроумного поэта Саши Черного про Берлин. Какие-то строчки из него до сих пор помнит:

...Потоки парикмахеров с телячьими улыбками
Щеголяли жилетами орангутангских топов,
Ватные военные, украшенные штрипками,
Вдев в поздри усы, охраняли дух основ.
Нелепые монументы из чванного железа —
Квадратные Вильгельмы на наглых лошадях,—
Умиляя берлинских торгующих Крезов,
Давили землю на серых лошадях.

Очень зло! И очень похоже! И Берлинский университет не был похож на простой и веселый Страсбургский, он казался таким же напыщенным и чиновным, какой была и сама немецкая столица. Выяснилось, что Лебедев не может сдавать в Берлинском университете докторский экзамен. К нему не допускали лиц, не знающих латинский язык. Кундту было тяжело расставаться со своим талантливым учеником. Но он ему посоветовал возвращаться в Страсбург, там сдать докторский экзамен и защищать диссертацию.

Так и получилось, что ему пришлось принимать первые ответственные решения в науке без советов, без повседневной помощи своего учителя. А решения эти были совсем, совсем не простые. Годы ученичества кончались для Лебедева. И не в простом, обыденном, календарном смысле: кончилось студенческое время... Нет, пожалуй, дело было в другом, более сложном и трудном. К концу своего пребывания в Страсбурге Лебедев понял, что́ он хочет, чем желает заниматься. Это первое время он бросался на все, и мама шутила, что его письма к ней пестрят словами: «ужасно интересно», «страшно любопытно», «хочется скорее узнать», «хорошо бы выяснить». Лебедев теперь чувствовал свою взрослость в том, что он узнал: я буду исследователем!

Он уже понимал, что им движет одно: любознательность!

Его больше не прельщали лавры и деньги изобретателей, ему были безразличны университетские звания, чины, сопряженное с этим положение в обществе. Нет, он не был святым, в нем были и честолюбие, и гордость, и желание сделать русскую физику известной всему миру. Но сильнее всего была любознательность. Проникнуть в неведомое, узнать природу непонятного явления, установить его закономерность... От работы над этим Лебедев получал такое наслаждение, что иногда ему становилось стыдно: ради его личного удовольствия семья идет на материальные жертвы, на неудобства...

Но неведомого было много, его была бездна. Во всех разделах той физики, которую он изучал. Из этого неведомого ему предстояло выбрать свою область, свою тему, такую, которая станет главным делом жизни. Именно жизни, а не темой диссертации. И Лебедев знал, что на переломе двух столетий, наиболее НЕВЕДОМЫ, наиболее важны неведомые электромагнитные явления.

Хотя меньше всего про них можно было сказать, что они новые, совершенно неизвестные. Физика занималась электромагнитными явлениями уже почти сто лет. Самые великие открытия кончающегося XIX века были связаны с электромагнетизмом. Им занимались гении — Фарадей, Максвелл, Герц...

Наука не только накопила множество наблюдений, но и установила во многом твердые и непоколебленные до сих пор законы. И все же — чем большие успехи делала наука в изучении электромагнитных волн, тем больше появлялось неизвестного. Ну просто как в детстве, когда они ехали всей семьей на дачу и он приподымался в фаэтоне, надеясь наконец увидеть новое за исчезавшей линией горизонта... Вот кони взлетают на пригорок, оттуда уже наверняка он увидит, что же за этой четкой линией... Но и с пригорка таинственная линия горизонта продолжает оставаться столь же близко-далекой, столь же неуловимой...

Так, пожалуй, и происходило с поисками того, что лежит в основе электромагнитных явлений. Над этим думали великие умы, и нельзя сказать, что не было недостатка в гениальных догадках, предположениях, даже довольно стройных теориях. Да, но теория не становится законом, пока она не доказана — доказана опытом, который может проделать каждый!

...Теперь Лебедев больше, чем тогда, двадцать с лишним лет назад, понимает, почему он выбрал тему для докторской диссертации. Уже тогда он выбрал себе путь экспериментатора. Теоретик ставит природе вопрос, экспериментатор придумывает язык для разговора с природой, он должен этот вопрос задать и получить ясный не только для него — для всех!..— ответ...

Для первой своей научной работы Лебедев выбрал проверку теории двух немецких физиков — Моссоти и Клаузиуса, работавших над изучением электромагнитных волн. Одни из первых, они в поисках разгадки электромагнитных явлений обратились к свойствам молекул. В конце века, когда о природе молекул никто еще толком ничего не знал, а многие физики просто-напросто вообще отрицали их существование, обращение Моссоти и Клаузиуса к молекулам было необычайно смело. Они выдвинули гипотезу, что чем больше молекул вещества находится в единице его объема, тем больше будет диэлектрическая проницаемость... Теория двух ученых открывала новые и заманчивые пути. Если всё так, как они думают, то, значит, не только верно представление о том, что все на свете состоит из молекул, но и правильно, что действие электрического поля на вещество объясняется электрическими свойствами молекул...

Проверку этой гипотезы Лебедев избрал темой своей диссертации. Она так и называлась: «Об измерении диэлектрических постоянных паров и о теории диэлектриков Моссоти — Клаузиуса». Надо было поставить опыт и доказать, что молекулы вещества являются резонатором для электромагнитных волн. Конечно, Кундт много помог своему ученику, когда тот советовался с ним о теме диссертации. О том, в чем состоит сущность молекулярных сил, каковы взаимоотношения молекул вещества и электромагнитных волн, Лебедев размышлял давно. Ему поэтому не надобно было ломать голову над темой диссертации, она сама выросла из его научных интересов. И занимался он своей диссертацией увлеченно. Какие же красивые опыты он придумывал для доказательств теории Моссоти — Клаузиуса!

Летом 1891 года была представлена и защищена диссертация на звание доктора философии — так в университете чуть ли не со средних веков назывался человек, занимаю-

щийся физикой. И пожалуй, это верно. Физика, материальные силы являются единственной основой правильного, единственно достойного философского миросозерцания!.. Но больше, чем блестящую защиту, Лебедев запомнил свое выступление вскоре после защиты, на коллоквиуме физической лаборатории. Собственно говоря, он рассказывал о том, что его в физике занимает, чем он хочет заняться... Больше двух часов он говорил и показывал присутствующим свои тонкие и точные опыты, он чувствовал себя так, как будто у него крылья есть за спиной, и сил достаточно для полета, и путь, куда лететь, ясен...

Вот тогда впервые он и рассказал публично профессору физики Кольраушу, его ассистентам и ученикам, что он хотел бы сделать главным делом своей жизни. То, что он говорил, уже было не только названием темы, нет, он, собственно, читал свою готовую, экспериментально доказанную научную работу: «Об отталкивающей силе лучеиспускающих тел». Через три года эта статья была напечатана на немецком языке в «Анналах физики», а еще через три года, когда он уже работал в Московском университете,— в «Трудах отделения физических наук императорского общества любителей естествознания». Статья в московском журнале появилась, когда, оставляя на сон и отдых самые малые, самые необходимые часы, он уже вовсю работал над полным, исчерпывающим доказательством светового давления на твердое вещество.

...После смерти мамы он взял у нее из столика свои письма к ней. Она сохраняла все его письма: и детские, когда он жил на даче, а она в городе; и тогда, когда он был реалистом и писал ей во время своих путешествий по Крыму и Кавказу; и письма студенческих времен; и все письма из Страсбурга. Не один раз он потом перечитывал эти, так любовно, так бережно хранимые письма. Матери — вот кому он всегда открывался во всех своих научных мечтаниях, желаниях. Не профессору Кольраушу и даже не Августу Кундту, а этой, столь далекой от физики, вдове московского купца. Но она всегда верила в талант и здравый смысл своего сына, она никогда не обрушивала на него холодную воду скептицизма. Лебедеву было легко и просто открываться ей в самом заветном, самом главном...

А тогда самым главным для него была пришедшая ему в голову мысль о том, как можно доказать самую необык-

новейшую из многих теорий, которые создал гений Максвелла. Максвелл умер за восемь лет до приезда Лебедева в Страсбург — в 1879 году. Про него невозможно было сказать, что он, как множество других гениев, умер непризнанным. Нет, к концу жизни его работы считались уже классическими, он был признанным авторитетом среди всех физиков мира. Но одна из самых гениальных теорий Максвелла некоторыми физиками рассматривалась как фантастическая выдумка гения, как гипотеза, которую никогда не удастся доказать!

Согласно теории электромагнитных волн Максвелла, природа света схожа с природой электромагнитных волн. Что магнитные волны способны воздействовать на вещества, уже было неопровержимо точно доказано Герцем в тот самый год, когда Лебедев приехал в Страсбург. Теперь уже смеяться над странными теориями Максвелла никто не решался. Они стали одной из главных основ физики.

Да, но если природа световых и магнитных волн одинакова, то свет также должен воздействовать на все тела: и твердые, и жидкие, и газообразные. Если логически продолжить теорию Максвелла, то следует, что свет, падая на тела, должен оказывать давление на их поверхность. Значит, свет должен отталкивать тела? Но как это доказать? И Лебедеву вспомнилось странное, ничем не подтвержденное, ничем не доказуемое предположение великого Кеплера о том, что хвост кометы отклоняется всегда от солнца потому, что лучи солнца отталкивают этот хвост...

Но было бы довольно легкомысленно утверждать существование светового давления, основываясь лишь на существовании непонятного и никем еще не объясненного небесного явления! Искать доказательства нужно здесь, на земле, а не на небе! Задача и состоит в том, чтобы это сделать... А что, если применить к доказательству светового давления те опыты, которые он произвел для доказательства теории Моссоти — Клаузиуса в своей диссертации?..

Когда Лебедев пришел к выводу, что среди законов Вселенной существует еще и закон отталкивания тел вследствии давления света, ему казалось, что под ним шатается и пляшет земля... Конечно, он немедленно написал маме, что, кажется, сделал очень важное открытие в теории дви-

жения светил, главным образом специально комет. Лебедев был настолько уверен в правоте своей, еще ничем не доказанной гипотезы, что сделал конспект своих выводов, чтобы показать профессору математики. Винер, глянув на конспект и выслушав взволнованные и сбивчивые доводы этого русского диссертанта, сразу же сказал ему, что он просто сошел с ума... «Впрочем,— прибавил он,— это бывает с молодыми учеными, но проходит столь же быстро, как и приходит».

Конспект он все-таки взял. На другой день Винер пришел в университет пораньше и, встретив Лебедева, с необыкновенной серьезностью сказал ему, что в его предположениях есть что-то очень большое, очень важное, а главное — всеобщее. Он поздравляет молодого ученого с открытием, которое может иметь фундаментальное значение для науки...

Было от чего закружиться голове! А все-таки он не дал себе ни одного дня самовлюбленной радости, дерзновенных мечтаний, основанных только на удачно пришедшей в голову мысли. Нет, все обстоит иначе. Как говорил на уроках физики Александр Николаевич Бекнев: «Дана задача...» Дана лишь задача. Ее надобно решить, и на это решение у него уйдут не дни, не недели, а годы. Уж это он понимал, для этого он был достаточно серьезным ученым.

С этим ему предстояло уезжать из Страсбурга, расставаться со своими лучшими годами — да, лучшими! Он приехал сюда еще самонадеянным желторотым юнцом, мечтая, как это положено всем студентам, перевернуть в науке все, открыть новые фундаментальные законы. Ему многое удалось, во многом ему повезло. Ему повезло на чудесного учителя... А больше всего ему повезло на время! Время самых больших открытий в физике! Открытий, предположений, теорий... Всё великое и неизвестное, все невероятные теории достались ему, легли перед ним — на, докажи, что верно и что неверно. Кончилось время юности, время мечтаний... Он теперь другой, он знает, чего хочет.

Одно из своих последних писем из Страсбурга к маме он перечитывал столько раз, что выучил его почти наизусть:

«...Помню я, как больше десяти лет назад Бекпев, подмигивая и прищуриваясь, объяснял мне лейденскую банку; как меня манила и тянула величественная гармония в природе; помню я, как я удалялся от всей юдоли людской, какие волнения я переживал, философствуя с Сашей Эйхенвальдом в Кунцеве; под поэтической розовой дымкой таинственности неясно обрисовывались чудные формы. Теперь эта дымка рассеялась — и я увидел строгую предвечную красоту мироздания: цель, смысл, радость, вся жизнь — в ней.

Если мне сейчас предложат выбор между богатством индийского раджи, с условием оставить науку и заниматься или не заниматься чем угодно, и между скудным пропитанием, неудобной квартирой, но превосходным институтом, то у меня и мысли не может быть о колебании...»

Он писал это не только со всей искренностью юноши, но и со всей убежденностью зрелого человека. Но мог ли он тогда, в 1891 году, накануне отъезда на родину, мог ли он тогда во всем объеме предполагать, что жизнь будет — и не один раз — ставить перед ним выбор!..



Обязан выбирать...

...Ну, как далеко он продвинулся в своих воспоминаниях? Кто же это сказал, что когда человек обращается к воспоминаниям, значит, окончилась его активная жизнь?.. Кто же это сказал? И так ли это? Разве для Герцена обращение к воспоминаниям о своей жизни, размышления о ней означали конец активной деятельности? Разве «Былое и думы» не зенит его литературной жизни? Но он, Лебедев,— не писатель, не мемуарист, его призвание в другом, он вовсе не собирается оставлять потомству книгу своих воспоминаний. Да и вообще он не говорун, не литератор!.. Свои научные труды он всегда облекал в самую лаконичную форму, какая только возможна. И страсбургская



его диссертация, и статья в «Анналах», и три его статьи об опытах с электромагнитными резонаторами написаны сжато, экономно до предела! Гм... Если все переводить в печатные листы, то от него останется совсем небольшая, просто крошечная книга научных работ... Лекции свои он не любил, никогда не стремился их издавать, писать учебники — боже сохрани!..

Вот он лежит в постели после сердечного приступа и вспоминает свою жизнь... Но это же вынужденно! Спит он плохо, ничем заниматься ему не разрешают, запрещают читать даже беллетристику. Петр Петрович все же диктатор по натуре, и в нем, хотя он уже давно стал физиком, сидит, сидит врач! Небось это он настроил всех домашних, чтобы не заходили к нему, не беспокоили, чтобы был он изолирован от всего того, что единственно его занимает, для него важно...

Ну что ж, тогда он будет продолжать заниматься тем, чем он занимается: будет вспоминать дальнейшее. Все, что произошло с ним после Страсбурга.

Для него не было вопросом — куда ехать. Он возвращался в Москву не только потому, что это был его родной город, потому что он был москвич, что в Москве оставались все те, кого он любил, с кем был связан навсегда. Все это естественно. Но когда он писал матери о «превосходном институте», он имел в виду только одно: лабораторию Александра Григорьевича Столетова в Московском университете.

Август Кундт был совершенно и начисто лишен каких бы то ни было признаков того национального самомнения, которое портило впечатление от многих талантливых людей в немецких университетах. Может быть, потому, что Страсбург был в прошлом французским городом, что в нем обучалось много иностранцев, но там Лебедев не встречал выражения «немецкая физика», от которого его так часто коробило в Берлинском университете. Немецкая физика!.. Как будто физика может быть поделена между государствами, как будто могут существовать не единые и единственные законы природы, а глупо поделенные между нациями и государствами. Если они, эти напыщенные чиновники от науки, хотели сказать о вкладе немецких ученых в физику, да, вклад этот, конечно, очень велик, немцы могут заслуженно гордиться именами Рентгена, Герца, Кирхгофа... и можно еще продолжить и продолжить этот список. Но разве Англия и Франция сделали меньший вклад в современную физическую науку? А разве в России не было раньше замечательных физиков? А сейчас?

Лебедев всегда испытывал прилив гордости, когда в Германии встречал упоминание о работах Столетова. Почему «упоминание»? Теперь без работ Столетова невозможен учебник современной физики! И Столетов не принадлежал истории физики, он продолжал активно в ней работать. Только совсем недавно, год назад, опубликованы исследования Столетова о фотоэлектрических явлениях, которым суждена великая научная жизнь!

Все, что Лебедеву приходилось слышать о Столетове, нравилось ему, удивительно совпадало с его представлением о том, каким должен быть ученый. Ему нравилось, что

Столетов, как и он сам, происходит из купеческой семьи, да еще не московских, а провинциальных, владимирских купцов. Ему нравилась талантливость этой обычной и простой русской семьи: один брат стал известным военачальником — генералом, героем Шипки, освободителем Болгарии от турецкого ига; другой — знаменитым физиком! И ему нравилась самостоятельность этого профессора Московского университета, его прямодушие, пренебрежение к чиновному начальству, упорство, с каким Столетов создал на своей кафедре современную физическую лабораторию. Вот в этой лаборатории ему и надо работать, и он готов износить, как в старой сказке, железные башмаки, чтобы стать помощником, учеником Столетова!..

Все оказалось гораздо сложнее, чем это он себе представлял. После приезда в Москву сразу же отправился к Столетову. Конечно, то, что он увидел на втором этаже старого «ректорского» дома, ничем не напоминало строгость помещений, высокое качество научного оборудования немецких университетов. Да и сам Александр Григорьевич не скрывал, что работать в Москве не просто, что от физика здесь требуется и терпение, и адов труд, и способность на жертвы — да, да, и на жертвы...

Лебедев согласен был на все! И на терпение тоже. Столетов уже знал о нем, слышал о диссертационной работе Лебедева, он очень хотел его иметь своим помощником. Но не скрыл от него, что не так уже и просто будет его принять на работу в университет.

Лебедев для Московского университета — чужак: и учился не в гимназии, а в реальном; и чуть ли не стал инженером в этом, Техническом; и окончил чужой университет, да еще не Берлинский, или Гейдельбергский, или Геттингенский, а совсем провинциальный — Страсбургский... Да и вообще: что, у нас мало своих, воспитанников Московского университета, чтобы брать в единственную лабораторию по физике чужого?!

Когда Столетов пригласил Лебедева и предложил ему место третьего лаборанта, а затем и ассистента, он не скрыл от будущего сотрудника, что ему понадобилась вся его, столетовская, настойчивость, чтобы взять на службу Лебедева... И что его новому сотруднику еще не раз придется столкнуться с нравами некоторых университетских профессоров, превратившихся в обыкновенных чиновников.

Но Лебедева ничто не пугало: он чувствовал в себе неимоверные силы, он наконец получал возможность вести самостоятельные исследования, заниматься той наукой, какая ему была дорога и близка! Он согласен был и на необходимость поддерживать отношения с той профессорской средой, которой его пугал Столетов... Да, но и там были совсем разные люди.

Физико-математический факультет был, собственно, скорее естественным факультетом. В нем довольно механически были соединены зоологи и астрономы, математики и химики... И профессора были самые непохожие друг на друга.

Среди зоологов был Михаил Александрович Мензбир — страстный поборник всего нового, интересного в науке, великолепный защитник дарвинизма, на лекции которого приходили студенты даже чужих факультетов, настолько они были ярки, поэтичны и убедительны. И был другой зоолог, Николай Юрьевич Зограф: льстивый и подобострастный к начальству; читавший лекции, как плохой провинциальный актер; подозрительно относившийся ко всему, что не содержалось в учебнике, утвержденном министерством. И разве можно было сравнивать прелестного Николая Алексеевича Умова, с его добротой, блеском ума, поэтическим воображением, с каким-нибудь Константином Алексеевичем Андреевым, хихикающим сплетником, для которого мнение начальства значило больше, нежели любые открытия в науке! Для Лебедева в университете было много интересных и привлекательных людей. И механик Николай Егорович Жуковский, черный как цыган, с косматой бородой, грузный, добрый, рассеянный... И химик Каблуков, небольшого роста, похожий на седого гнома, носящего строгий сюртук и цилиндр... И знаменитый ботаник Климентий Аркадьевич Тимирязев, с тонким и нервным лицом, большими голубыми глазами, изящный, элегантный, вспыхивающий от малейшего проявления непорядочности, ученой глупости, пресмыкательства перед начальством...

Но Лебедев осмотрелся на своем новом месте не сразу. Первое время, да и не время — годы! — он мало видел людей, общался с ними лишь в самом крайнем случае, когда уже совершенно невозможно было пренебречь правилами вежливости и университетского этикета. Ему было не до этого!

...В небольшой, плохо оборудованной физической лаборатории университета Лебедеву предстояло сделать главное дело своей жизни: ему нужно было «взвесить свет», как, странно косясь, говорили о его работе некоторые коллеги. Да, собственно, на них не следует обижаться — именно об этом и шла речь: ему надо было безукоризненно точно доказать не только существование светового давления, но и определить его силу — надо «взвесить свет»...

Самым трудным было отсутствие времени. Ему приходилось заниматься со студентами, вести доцентуру, читать лекции... Это была плата за возможность все оставшееся время сидеть в своей комнате на втором этаже и красными от бессонницы глазами смотреть снова и снова на приборы, им самим придуманные, им самим изготовленные.

Сначала надо было изготовить особые, очень чувствительные крутильные весы, которые показывали малейшее, самое ничтожное давление. Потом к этим весам подвесить тонюсенькие алюминиевые диски, которые он зачернял, чтобы они были восприимчивее к свету. Но дальше — дальше-то и наступали все трудности!.. Очень скоро он понял, что ему придется иметь дело со страшным и упорным противником — радиометрическими силами. Так называется сила, которая возникает, когда легкий, тонкий диск, воспринимающий световое давление, нагревается падающим на него светом. Обращенная к свету сторона диска становится намного теплее, чем та, что остается затененной. Естественно, что молекулы воздуха отбрасываются нагретой стороной сильнее, чем противоположной, более холодной стороной. Эти радиометрические силы, как называлось такое явление, накладывались на световое давление и во много раз его превосходили. Как же избавиться от влияния этой помехи, как выделить и измерить только чистое давление света? Месяц за месяцем и год за годом уходили у него на то, чтобы изучить действие этих проклятых радиометрических сил! Он выяснил, что они становятся слабее, убывают по мере разрежения воздуха, что надобно делать диски как можно тоньше. Стало быть, нужно было помещать изготовленные им из расплющенного алюминия тонюсенькие диски в колбу с очень сильно разреженным воздухом. Ему нужна была такая разреженность воздуха, какой до него никто не достигал!

Месяцы ушли у него на то, чтобы разработать способ откачки воздуха из прибора. В отросток стеклянного бал-

лона, где располагались крутильные весы, Лебедев помещал немного жидкой ртути. Непрерывно откачивая основную массу воздуха механическим насосом, он подогревал ртуть, и ртутные пары постепенно вытесняли остатки воздуха. Потом он замораживал ртутные пары, которые, превратясь в каплю металлической ртути, падали на дно баллона. Теперь, когда он освободился от зловещего действия радиометрических сил, он мог без препятствий измерить силу светового давления — «взвесить свет»...

Господи! Чего они удивляются, что он женился в сорок три года!.. Какая бы жена могла терпеть такого дикого, ни с чем не считающегося мужа, никогда не бывающего дома, все время пропадающего в лаборатории, способного в любой час бросить домашних и гостей, чтобы проверить еще одно усовершенствование прибора, пришедшее ему в голову!.. А он ни о чем другом тогда и не мог думать. Статьи о результатах своих опытов он писал, обдумывая каждое слово, добиваясь, чтобы ни одна запятая не выдавала его чувств, его надежд, его радости, чтобы в статье присутствовала только наука в самой чистой форме, свободная от всего постороннего, как свободны от действия радиометрических сил были результаты его наблюдений над световым давлением...

Лебедев опубликовал свои статьи в 1894, 1896, 1897 годах. В 1899 году, после опубликования его главных работ, Московский университет присудил Лебедеву докторскую степень, минуя магистерскую,— это было редкостью для университетских традиций. Его выбирают профессором... Когда в августе 1900 года на Международном конгрессе физиков в Париже Лебедев выступил с докладом о своих работах, это произвело сенсацию во всем научном мире!

Все-таки он сделал то, что до него пытались сделать многие физики мира: Целльнер, Шустер, Бергэн и Гарб, Бартоли, наконец, сам великий Крукс. Он себе не приписывал никаких особых заслуг... Бог мой, никаких! Статью об итогах всей своей работы над давлением света он назвал «Максвелло-бартолиевские силы давления лучистой энергии». Хотел самим названием статьи показать, что он, Петр Николаевич Лебедев, только экспериментатор, что не он, а другие ученые предположили, что свет может давить на вещество, а он только доказал это. ТОЛЬКО! А разве это мало? Ему — достаточно. Все его бессонные ночи, весь его

неимоверный труд, радости, надежды, разочарования — все, все уместилось на шести страницах журнала Русского физико-химического общества!..

Ему не на что жаловаться! Вчера еще почти никому не известный физик из Московского университета стал известен каждому, кто где бы то ни было занимался физикой. Слава теперь его омывала своими ласковыми волнами — его, привыкшего к одиночеству в лаборатории. Лебедева избирали почетным членом разных университетов, ему писали восторженные письма великие физики мира. Сам Вильям Крукс писал ему, что Лебедеву удалось доказать труднейшее — то, что маскируется и прячется... А Тимирязев, приехавший из Англии, сейчас же пришел в лабораторию к Лебедеву и рассказал о своей беседе с самим Томсоном — директором знаменитой кембриджской лаборатории, одной из главнейших крепостей современной физики. Всегда сдержанный и суховатый Томсон сказал московскому профессору: «Вы, может быть, знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его световое давление, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами».

Да, раньше Лебедев был просто хорошим ученым. Теперь мгновенно — как показалось многим — он превратился в первоклассного физика, имя которого становится известным во всех университетах мира. Академия наук присудила ему премию. Теперь Лебедеву не нужно было правдами и неправдами выпрашивать несколько десятков рублей на лабораторное оборудование. Ему давали на это деньги, уже было принято решение построить при университете Физический институт, в котором будет находиться его собственная лаборатория. К нему стекались самые неспокойные, самые способные ученики, и он иногда ловил на себе такой же восторженный взгляд, каким сам когда-то смотрел на Августа Кундта.

Хорошо, значит? А в это же время он запомнил другие глаза: ужаснувшиеся, захолодевшие от страха... Так на него посмотрел Саша Эйхенвальд после своего довольно долгого отсутствия в Москве. И его осторожные расспросы: что с ним? Как его здоровье? Показывался ли врачам? Что они говорят?.. Конечно, Саше было чего испугаться! Это он понимал... За какие-нибудь четыре-пять лет красавец и здоровяк Лебедев из стройного молодого человека без единого седого волоса превратился в полного, болезненного,

полуседого, уставшего человека. И тогда же он испытал первый приступ этой ужасной боли где-то в самой середине груди, отдающейся в лопатке, в левой руке... Грудная жаба. Так необычайно рано? — удивлялись врачи...

А разве в возрасте дело? Все в один голос говорили, что, конечно, Лебедев истязал себя работой! Что невозможно так жить, не давая себе ни минуты отдыха, проводя ночи в лаборатории, выкраивая для сна четыре часа в сутки... Да, конечно, он много работал, но разве можно заболеть от работы? Она же ему доставляла не муки, а радость! Ему было радостно работать и тогда, когда его мучили эти радиометрические силы, и когда опыт не удавался, и когда день за днем, ночь за ночью надобно повторять все один и тот же, все один и тот же опыт...

Нет, не только работа его измучила! Не наука мучает человека! Его измучила постоянная необходимость выбора. В науке тоже все время приходится выбирать между истиной действительной и мнимой... Собственно, в этом и заключается работа ученого. Но оказывается, этот же водораздел между истиной и неистиной проходит между людьми... И здесь выбор более мучителен, более сложен и труден!..

Сначала эта мучительная история с Голицыным... С Борисом Борисовичем Голицыным он познакомился и подружился в Страсбурге. Тогда это было сенсацией — появление в Страсбургском университете в качестве простого студента одного из самых родовитых русских князей. Да, и не обычного студента. Голицын был на четыре года старше Лебедева, он успел уже окончить знаменитое Морское училище в Петербурге и с отличием окончить Морскую академию, получить офицерский чин... И вот, будучи на пути к самой высокой и блестящей карьере, на которую мог рассчитывать этот талантливый, умный и красивый князь, он вдруг — ради одной лишь бескорыстной любви к науке! — бросает все и пытается поступить на физический факультет Петербургского университета. А поступить он туда не смог по той же причине, что и Лебедев: не имел гимназического образования со знанием древних языков. И, так же как Лебедев, устремился в Страсбургский университет к профессору Августу Кундту.

Казалось бы, в Голицыне было все, что могло мешать

какой бы то ни было близости между ним и Лебедевым: разница в возрасте, знатность происхождения, близость с великими князьями, с которыми он учился в Морском корпусе... Что было у него общего с купеческим сыном Лебедевым, насмешливо и скептически относившимся к малейшему проявлению сановности и того, что он брезгливо называл «аристократизмом»?.. А в Страсбурге они быстро подружились, и дружбу эту, казалось, не могло сломать ничто. Лебедева с Голицыным свела прежде всего бескорыстная и огромная любовь к физике. Физика была для Голицына важнее всего, важнее всех традиций знаменитого старинннейшего княжеского рода. А кроме того, он был прост, умен, весел... Их дружба продолжалась и окрепла в Москве, где Голицын стал приват-доцентом в университете. Для Лебедева дружба с Голицыным и его женой была почти единственной отдушиной в первые годы пребывания в Москве. С женой Голицына эта дружба продолжается и до сих пор, иногда он ловил себя на мысли, что пишет в Петербург Голицыной письма почти такие же откровенные, какие писал когда-то матери. Жене Голицына... А самому Голицыну пишет теперь редко, и есть в них холодок, которого не было раньше. Почему?

Политика? Но политика — это как раз то, что никогда не присутствовало в жизни Лебедева. Среди его школьных друзей были и такие, что восторженно делились впечатлениями от полузапретных книг Писарева и Добролюбова, Чернышевского и таинственного Искандера — Герцена. Лебедева никогда не увлекали ни эти книги, ни разговоры, с ними связанные. Интересному физическому опыту он предпочитал все вольнолюбивые книги. И потом, учась в Техническом, и после, переехав в Страсбург, он почти никогда не задумывался о политике. Да, конечно, государственный строй в России является далеко не самым передовым, не самым лучшим—особенно для развития науки,— но постепенно все устроится, европеизируется, исчезнут из государственной и общественной жизни России проявления дикости, невежества... А бороться с этим насильственными мерами — безумие, которое приводит лишь к гибели многих и многих способных, даже талантливых людей. Ну что ж, что Россия — монархия? И в Англии монархия, а это не помешало появлению в ней Фарадея, Максвелла, Томсона, Дарвина. И в Германии монархия. А разве это мешало Рентгену и Герцу, разве это мешает Кундту?..

Один только раз в Страсбурге он испытал странное и отвратительное чувство... Была в Страсбургском университете одна профессорская семья, где Лебедева принимали с особой радостью и гостеприимством, что и не было удивительным, потому что профессор был женат на русской. Лебедев знал, что девичья фамилия жены профессора — Черевина, а брат ее не кто-нибудь, а сам генерал Черевин, начальник императорской охраны и личный друг государя императора Александра Третьего... Однажды, придя к обеду, он оказался за столом с русским — это был брат хозяйки. Штатский костюм непривычно и мешковато сидел на этом плотном и уже с утра, очевидно, пьяном человеке — веселом и разговорчивом. Через пятнадцать минут после начала обеда Черевин был пьян как змий. Рассказав своему незнакомому собеседнику несколько солдатских анекдотов, которые не решались рассказывать даже реалисты в уборной, он перешел к восхищенным рассказам о своем царственном друге. Особенно его умиляло, что царь мог выпить огромнейшее количество водки и коньяку и крепко после этого держаться на ногах.

— ...Вот это называется по-царски пить! От водки становился только веселее да ласковее. Ляжет, бывало, на спину на пол, лежит на ковре и болтает ногами и руками. И кто мимо идет из мужчин, в особенности детей, норовит поймать за ногу и повалить... Только по этому признаку и догадывались, что он навеселе...

А как заболел почками, эти дураки — доктора — ему пить запретили! А разве может повредить водка русскому человеку?! Русский человек от водки только здоровее да умнее становится... Недаром говорится в нашей русской пословице: «Пьян да умен — семь угодий в нем». Да-с... Ну, государыню, конечно, эти докторишки из немчуры настроили, она с государя глаз не сводит, запретила к столу подавать что-либо, кроме этих рейнвейнов. А ни государь, ни я — мы этот квас в рот не брали! Вот так государыня следит, а глядь, к вечеру его величество уже опять изволит барахтаться на спинке, и лапками болтает, и визжит от удовольствия...

А мы с его величеством умудрились, ох умудрились! Заказали, понимаете, сапоги с такими особыми голенищами, чтобы входила в голенище и была совершенно незамет-

на плоская фляжка с коньяком... Царица сидит возле нас, мы с государем сидим смирно, играемся как паиньки... Только государыня отойдет куда или заговорит с кем-нибудь, как мы переглянемся — раз, два, три! — вытащили свои фляжки, пососали, спрятали и опять как ни в чем не бывало... Ужасно эта смешная забава нравилась государю! Ну просто вроде игры! И называлась у нас эта игра: «Голь на выдумки хитра». Бывало, оглянется, нет ли рядом царицы, и ко мне: «Хитра голь, Черевин?» — «Хитра, ваше величество!» Раз, два, три! Вынули фляжки и сосем себе... Ха-ха-ха!.. Вот это царь! Вот это голова!..

Дома, после этого обеда, Лебедев долго не мог прийти в себя. И этот тупой пьяница, способный дружить только с такими, как болван Черевин, самодержавно правит великой страной, Россией?! Его никто не ограничивает, не связывает, он может делать все, что угодно!.. А советники у него такие, как Черевин, как Победоносцев, как Дмитрий Толстой... Науку они презирают — нет, не просто презирают, а боятся ее: и вправду, наука несовместима с невежеством, самодурством, неграмотностью... Боже! Как унизительно быть русским, зависеть от диких, невежественных людей!

Потом это неприятное знакомство забылось, а дружба с Голицыным крепла... И вот в Москве началась эта история, здесь возникли эти странные отношения между Голицыным и Столетовым...

С самого начала работы Голицына в университете не складывались как-то отношения между руководителем кафедры физики и приват-доцентом кафедры... Неужели все дело было в том, что Столетов — по убеждению многих, «красный»— терпеть не может сановников, симпатизирует бунтовщикам студентам, а Голицын — князь? Нет, Столетов, при всех своих демократических убеждениях, был человеком, для которого наука, научная истина самое главное, он был человеком справедливым, каким может и должен быть настоящий ученый!

Дело было в разности научных точек зрения. И пожалуй, в разности подхода к тому, что следует считать только гипотезой и что следует считать научно доказанной теорией. Когда Столетов, совместно с Алексеем Петровичем Соколовым, забраковал магистерскую диссертацию Голицына о лучистой энергии, это вызвало взрыв самых противоречи-

вых чувств в московской профессуре. Конечно, диссертация Бориса Борисовича содержала много утверждений, никем и ничем не доказанных, это правда! При всем своем огромном уважении к Столетову, Лебедеву была чужда его чрезмерная строгость. А разве максвелловская теория давления света не считалась некоторыми физиками глупостью, курьезом, недостойным настоящего ученого?!

Как бы то ни было, а в этой длинной и отвратительно пахнущей склоке, которая разыгралась в связи со столкновением двух ученых — старого и молодого,— Столетов полностью проявил свое научное и человеческое благородство. Он, когда Голицын не согласился с его сомнениями, решил посоветоваться с крупнейшими в мире специалистами по тем разделам физики, которым была посвящена диссертация Голицына. Он написал двум ученым, чья научная репутация была авторитетнейшей для всех,— он написал общепризнанному главе теоретической физики президенту Лондонского королевского общества лорду Кельвину, написал в Мюнхен известнейшему физику Людвигу Больцману. Оба они согласились в этом споре со Столетовым. Кельвин писал, что «содержание статьи князя Голицына имеет весьма отдаленное отношение ко второму закону термодинамики, если оно вообще имеет к нему какое-либо отношение». А ответ Больцмана был еще более категоричен. Мюнхенский ученый писал: «Я прошу Вас открыто показывать настоящее письмо, кому Вы только пожелаете, чтобы всякий видел мою готовность выступить... поскольку хватит моего авторитета. Я тоже убежден, что Вы вынесли решение о работе князя Голицына во всеоружии Вашего знания и Вашей совести. Эта работа и на самом деле содержит неточности и даже ошибки, хотя я бы и не вынес по их поводу столь строгого приговора».

Казалось бы, ученый спор! Что может быть лучше, чем спор об истине! И он, Лебедев, тогда, очутившись в малоприятной роли посредника, делал все возможное, чтобы из этого спора убрать все личное, наносное, перевести его на рельсы спора о научной истине... Но где там! Немедленно произошла — как в магнитном поле — поляризация московских ученых. И происходила она, вовсе не исходя из научных взглядов... Наиболее прогрессивная часть профессуры категорически поддержала Столетова. Правда, Лебедев, при всей своей огромной симпатии к Клименту Аркадьевичу Тимирязеву, не считал, что этот выдающийся

ботаник должен решать теоретический спор между двумя физиками.

Ну, а Бориса Борисовича Голицына окружила всякая нечисть, которая в физике разбирается, как свинья в апельсинах, и влезла в драку только потому, что Голицын — князь, друг «высочайших особ»... И в этой драке новоявленные друзья Голицына применяли самые мерзкие методы. Заключение Столетова на диссертацию Голицына должно было обсуждаться под председательством знаменитого математика профессора Бугаева.

И вдруг председательство берет на себя сам попечитель Московского учебного округа граф Каппист... А что этот граф может понять во втором законе термодинамики? Да он и не слышал про такое!..

...Лебедев и сейчас считает, что, если бы не вмешательство всей этой титулованной и нетитулованной сволочи в чисто научные вопросы, ему бы удалось уговорить двух прекрасных ученых и хороших людей понять друг друга. Столетов должен был бы согласиться с тем, что Голицын вправе заглядывать далеко вперед, как это делал Максвелл, а Голицын должен убрать из диссертации те фактические неточности, которые в ней содержались и на которые указывал Столетов. Но слишком уж накалилась атмосфера... Голицын тогда впервые, пожалуй, проявил княжескую гордость. Наотрез отказался что бы то ни было исправить в диссертации, забрал ее, отказался от службы в Московском университете и уехал в Петербург. Там он стал адъюнктом Академии наук, а вскоре заведующим физическим кабинетом академии. Необыкновенно быстрая научная карьера молодого, тридцатидвухлетнего, физика могла только радовать его друга. И она радовала Лебедева, пока... Да, пока не началась эта отвратительная история со Столетовым...

В Академии наук должны были состояться выборы академика по разряду физики. На эту вакансию был выдвинут единственный кандидат, и ни у кого не было никаких сомнений, что кандидат этот самый достойный — Александр Григорьевич Столетов: ученый, открывший фотоэлектрический эффект, общепризнанный глава русской физической школы. Никто больше него не мог претендовать на это почетное звание. И всех как громом поразило, когда стало известно, что по требованию президента академии великого князя Константина Константиновича кандидатура Столето-

ва была снята, а академиком назначен князь Голицын — физик, еще не защитивший даже диссертации!.. Значит, достаточно пожелать второстепенному, маленькому человеку, не имеющему даже представления о науке, но зато великому князю, достаточно было ему приказать — и заслуженного, выдающегося ученого лишают права быть академиком!..

— А при чем здесь наука?— восклицал, не стесняясь, Климентий Аркадьевич Тимирязев.— При чем здесь наука?! Голицын — князь, а президент — великий князь. Они рассматривают всю Россию, и в том числе Академию наук, как нечто принадлежащее лишь князьям. Простым и великим!.. При чем тут наука?!

...Ну хорошо! Великий князь Константин — не ученый, он и понятия не имеет о Столетове. Но Голицын, Голицын! Он-то, он настоящий ученый, настоящий физик, он-то ведь знает место Столетова в русской науке! Как же он мог не отказаться от позорного, бесчестного предложения великокняжеского невежды, как он мог затоптать в грязь свое достоинство ученого? Неужели он считает его ниже достоинства своего титула? Если это так, значит, вся их дружба была ошибкой, значит, все между ними было ненастоящим!..

А неистовый Тимирязев, не признающий никакой половинчатости, требовал от всех своих коллег, чтобы они сделали выбор: Голицын или Столетов... От страстей, разгоревшихся вокруг этой истории,— от этого, черт возьми, от этого, а не от работы началась проклятая боль в сердце!

И не было почти ни одного года, когда бы он мог спокойно заниматься своей наукой, когда бы ему не приходилось проводить бессонные ночи не за приборами, а потому, что дрожал от бессильного бешенства, от боли, которой отвечало сердце на каждую обиду, мерзость, свинство!

На его глазах умирал Столетов — умирал заплеванный ничтожествами, которые недостойны были завязывать ему шнурки на ботинках! Осенью 1894 года умер друг Черевина — русский император Александр Третий. Умер, как и следовало ожидать, не то от болезни почек, не то от цирроза печени — словом, от тех забав, которым предавался августейший пьяница. В Московском университете знаменитому историку, профессору Василию Осиповичу Ключевскому, было поручено произнести похвальное слово умер-

шему царю. Как и полагалось, лекция Ключевского кончалась выражением — от лица всего Московского университета — верноподданических чувств. И в этом месте из разных концов огромной аудитории, наполненной студентами, раздались пронзительные свистки... Полиция после этого схватила сорок семь студентов, их исключили из университета и выслали из Москвы. Это было актом откровенного произвола: среди этих студентов были люди, которых во время лекции Ключевского и не было в университете...

Столетов вместе с другими профессорами ходил к университетскому начальству, к попечителю, стараясь смягчить участь молодых людей. Конечно, это ничем не кончилось. Тогда сорок два профессора подали петицию московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу. И хотя даже этот малонравственный тип обещал сделать «все возможное», попечитель, граф Каппист, за подачу петиции объявил всем сорока двум профессорам выговор... А Александр Григорьевич Столетов был, конечно, объявлен «зачинщиком», и против него началась очередная кампания травли.

В «профессорской», где в перерывах между лекциями отдыхали профессора, Лебедеву пришлось услышать, как, окруженный своими единомышленниками, профессор права граф Комаровский передавал свою очередную беседу с министром просвещения в Петербурге. Потирая руки, Комаровский говорил: «Ну, господа, теперь мы можем быть вполне спокойны, никаких студенческих беспорядков больше не будет. Министр мне сказал, что при первой же попытке со стороны студентов вот этот молодчик,— Комаровский кивнул в сторону недалеко от него стоявшего Столетова,— вылетит вон из университета...»

...С ужасом смотрел Лебедев, как гибнет замечательный ученый, благороднейший человек, гибнет под ударами, которые наносили ему люди, далекие от науки и элементарной нравственности. Своим ближайшим друзьям Столетов говорил, что он уже больше не в силах бороться с этими дрязгами, травлей... Он, который всю жизнь был связан с университетом, решил уйти в отставку. Но не успел...

Накануне смерти Столетова Лебедев пришел к нему домой. Его учитель был настолько слаб, что уже не в силах был протянуть руку... И все же он стал расспрашивать Ле-

бедева о его работах в газовых разрядах, он оживился, глаза его заблестели, он взял руку Лебедева и, зная, как трудно все, что делал Лебедев, уговаривал его ни в коем случае не бросать начатое исследование. «Они очень интересны, очень важны...» — еле слышно говорил Столетов... На другой день, 15 мая 1896 года, Александр Григорьевич Столетов умер... Пятьдесят семь лет... Еще шестидесяти не было! А выглядел как изможденный, измученный жизнью старик!.. Вот что сделали со Столетовым! А теперь делают и с ним... И разве наука это делает?..



Скажи мне, кудесник...

...Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною...

Пока Лебедев внимательно, в тысячный, наверное, раз, рассматривал узор лепнины на потолке, в голове его навязчиво крутился мотив этой лихой юнкерской песни, которую он столько раз слышал. Что сбудется в жизни со мною?..

Ну, что сбудется?.. Разве он боится смерти? Все дело в том, чтобы успеть!.. Надобно еще поработать, не все еще сделано, что можно, что он способен еще сделать... Если бы не это проклятое первое десятилетие нового века! Как оно ему досталось! Все кругом говорят, что обострение его болезни вызвано неимоверно трудной работой над тем, чтобы измерить давление света на газы. Да, конечно, это была адская работа, размер которой он не представлял себе, когда ее начинал. После того как он опубликовал свои работы о световом давлении на молекулы твердого вещества, многие ученые считали, что продвинуться дальше, доказать, что свет способен оказывать давление на газы, будет невозможно. Ведь давление света на газы в сотни раз меньше, нежели давление на твердое вещество! А на это

твердое вещество свет давит — как доказал он сам — с силой не больше половины миллиграмма на квадратный метр...

И все равно он взялся за это!.. Не послушал никаких уговоров, не посчитался с тем, что такие крупнейшие физики, как Зоммерфельд и Аррениус, вообще отрицали всякую возможность измерить давление света на газы. Правда, идея прибора, способного доказать давление света на газы, созрела у него еще тогда, когда он занимался изучением действия волн на резонаторы. Но идея идеей, а изготовить такой прибор, сделать, чтобы он работал... У него на это ушло около десяти лет! И он за это время понаделал не меньше двух десятков приборов. Иногда сутками не отрывался от работы, доходил до обмороков... Когда-то он так любил театр, музыку, концерты в Большом зале Консерватории... Неужели это все было? Он забыл обо всем, помнил и думал только об этих проклятых приборах!

Несколько раз бросал работу, приходил к мысли, что он пробует невозможное, что прав Аррениус, что не надо убивать себя, доказывая недоказуемое... К такому отчаянию он, правда, приходил тогда, когда уже не мог подняться с постели, когда сердце начинало болеть, как открытая рана, а по ночам не мог спать и лежал один в своей большой казенной квартире, с нетерпением дожидаясь рассвета...

Как тогда, в эти тяжелые для него дни, помогало ему деликатное, неназойливое внимание Столетова!.. Старик понимал, что, когда исследователя постигает неудача, не следует лезть к нему в душу, властно вмешиваться, давать советы, которые больше смахивают на диктаторские указания. Всегда суровый, даже немного сухой и официальный, Александр Григорьевич с Лебедевым становился милым, улыбчивым... Присылал со служителем коротенькие милые записочки: «Что это Вы исчезли? Не опять ли сокрушены инфлуэнцой или «световым давлением»?»

Когда однажды у Лебедева в лаборатории случился приступ сильного головокружения и ему пришлось с помощью студентов уйти домой, Столетов вслед сейчас же прислал сочувственную и несвойственную ему шутливую записку: «С прискорбием вижу, что «световое давление» начинает сказываться теми коварными симптомами, каких

я всегда от него ожидал. Постарайтесь довести голову до совершенной пустоты — может, тогда, вопреки Вашим ожиданиям, вовсе перестанет вертеться».

И, как своему собственному успеху, радовался, когда Лебедев ему говорил, что, кажется, есть просвет, что новый прибор должен оказаться более чувствительным...

Однажды в начале лета врачи уговорили Лебедева — ну, положим, не уговорили, а, скорее, заставили — поехать отдыхать в Швейцарию. Он нарочно поехал через Германию, чтобы заехать в Гейдельберг. Кроме того, что он любил этот маленький знаменитый университетский городок, там жил единственный врач, которому он верил — профессор Эрби. Это Эрби ему сказал впервые правду о его болезни, сказал, что болезнь эта такая, с которой можно справиться, если... Да, множество если... Некоторые из них Лебедев пробовал. Оказывается, Эрби прав: с болезнью можно справляться, если... если так не работать, если много отдыхать, если не волноваться, если глотать аккуратно прописанные пилюли и микстуры. На последнее он согласен! Ну, а остальное?..

И на этот раз старик Эрби похвалил его, сказал, что отдых и лечение па швейцарском курорте — единственно, что может помочь ему справиться с приступом болезни, что следует хотя бы на год забыть о работе. А Лебедев так устал от своих последних неудач, от этих нахально врущих приборов, что во всем соглашался с Эрби, утвердительно кивал головой, дал себе клятву год не приближаться к этим проклятым приборам!..

Хорошо в начале лета в Гейдельберге! Уже начались каникулы, разъехались студенты и профессора, городок пуст, чист и молчалив. В гостинице по-домашнему уютно; по опустелым улицам бегают краснощекие дети. Можно перед Швейцарией пожить несколько дней в этом городе, где вся жизнь связана с наукой. Лебедев решил заехать к своему хорошему знакомому. Вольф — астроном, живет и работает в обсерватории на горе Кенгштуль в окрестностях города. Вольф был ему рад. Он, конечно, знал, что Лебедев работает над изучением светового давления на газы — об этом уже сообщали научные журналы,— и с жаром его расспрашивал о том, как у него идут дела. Он признался своему гостю, что интерес его вовсе не бескорыстен: для

астрономов установление давления света на газы имеет не меньшее — даже, пожалуй, большее значение, чем для физиков!

Вольф был приятный Лебедеву человек, настоящий ученый, и смешно было скрывать от него, что уже год за годом у Лебедева ничего не получается, что он измучен этими неудачами, что, вероятно, правы те физики, которые считают эту задачу невыполнимой, что глупое упорство заставляло его тратить на это свои последние силы... Нет, хватит, хватит с него! Вольф тогда набросился на него, как в студенческие времена. Он бегал по комнате и, призывая бога в свидетели, клялся, что в мире есть единственный экспериментатор, способный на это,— Лебедев! И что если этот экспериментатор отступится, то проблема будет отложена на годы, на десятки лет! И что он, Лебедев, обязан перед богом и людьми... Лебедев отшучивался как мог и уверял Вольфа, что надо же что-нибудь оставлять молодым физикам, грешно забирать у них трудноразрешимые проблемы...

Пока извозчик медленно спускал свою лошадь с круто вьющейся вниз дороги, Лебедев мысленно находил всё новые и новые аргументы против почти юношеской напористости Вольфа. И постепенно сбился на запретное... На то, о чем не разрешал себе думать, что решил напрочь выкинуть из головы. Опять он начал думать об этом приборе...

В чем вся беда? Через кварцевое окошко луч света входит в камеру, где находится газ, который служит объектом эксперимента. Пучок света, направленный в камеру, должен быть строго параллельным. Однако практически достигнуть этого невозможно. А если через газ проходит пучок света, который — пусть в самой малой степени — сходится или расходится, то газ нагревается неравномерно, это знает любой мальчишка, который занимается выжиганием с помощью луны... А разность температур вызывает течение газа настолько сильное, что выделить действие газа, вызванное световым давлением, представляется уже совершенно немыслимым!..

Что только он не делал, чтобы избежать этого! Какими только ухищрениями не старался делать пучок света как можно более точно параллельным! А сколько он мучился с тем, чтобы сделать весы более чувствительными?.. А может быть, он все время шел по неверному пути? Может

быть, ему следовало браться не за механику, не за оптику — то, в чем он считал себя абсолютно знающим. Может быть, в это дело стоило вмешаться и химику — подумать о составе газов?.. Он все время добивался возможно большей чистоты этих газов. А если действовать совсем иначе?..

...Он уже не старался отвлечься от этих размышлений, напротив, только об этом он и мог думать, только это его успокаивало, только это, только это!.. С трудом он дождался наступления вечера. Посланный им из отеля слуга принес ему с вокзала билет... Утренний поезд увез Лебедева туда, откуда он только несколько дней назад приехал.

В Москве его встретила испуганная жена, растерявшиеся лабораторные служители, которые за несколько дней его отсутствия успели убрать и запереть лабораторию... Лето было очень жаркое, асфальт на Петровке плавился, вечером дышать было совершенно нечем. А Лебедев утратил представление о том, когда кончается день и начинается ночь... Да, все дело в этом — газ надобно «загрязнить», а не делать тщательно чистым! И «загрязнить» его следует небольшим количеством водорода. Водород обладает изо всех газов самой большой теплопроводностью. Поэтому разность температур, вызванная неоднородностью светового пучка, будет очень быстро выравниваться, а течения газа, возникающие из-за разности температур,— исчезать... Как это ему раньше не приходило в голову? Из-за чего он потерял столько времени!

Как быстро, как здорово, как удачно у него теперь шли опыты! К осени его прибор с «грязным» газом работал отчетливо, как часы. Лебедев, не веря еще в свое счастье, повторял на нем опыт за опытом. Уже начались занятия в университете, весь факультет гудел от слухов, что Петру Николаевичу удалось-таки доказать недоказуемое!.. В декабре 1909 года открылся очередной съезд Московского общества естествоиспытателей. Было известно, что на нем Лебедев будет не только рассказывать о своих работах, но и демонстрировать свои опыты над измерением давления света на газы. Большая аудитория была набита людьми так, что даже самые ловкие и проворные студенты не могли найти себе места. В настороженной тишине Лебедев, надевший свой парадный сюртук, от волнения бледный более обычного, привычно манипулировал нагромождением

стеклянных колб и механических приборов. Он проделал опыт один раз, записал его результат мелом на доске, стоявшей за его спиной. Потом он перевел дух и сразу же начал его повторять... Он снова повернулся к доске, и, когда кончил записывать, все увидели, что результаты одинаковы, что исключены в этом опыте все случайности...

В начале следующего, 1910 года появилась статья Лебедева: «Опытное исследование давления света на газы». В ней было, включая чертежи приборов, девять страниц. По одной странице на каждый год работы...

Ну, вот он и конец этой, так тяжко ему доставшейся работы... «Снимайте, снимайте жатву со своей нивы!» — сказал ему завистливый и недобрый Лахтин. Да, он знает, теперь его ждут почести, слава и, наверное, то, о чем мечтает каждый ученый всюду, во всем мире! — избрание членом Лондонского королевского общества... Но почему же он тогда не испытывал ни приступа радости и воодушевления, ни морального удовлетворения?.. Все унесли эти годы! Не годы труда, нет: труд не дает муки,— все унесли годы окружающей мерзости...

Ему вспомнился апрель этого и тяжкого и радостного года. Он тогда решил бросить — на год, а может, и навсегда — свои пока неудавшиеся опыты с газом. Каждое утро ему надобно было делать усилие, чтобы заставить себя встать и начинать день. Был конец апреля, и для университета, для Москвы, для всей культурной и мыслящей России этот день, 26 апреля, был большим праздником—открывался памятник Гоголю. С утра было сыро, холодно, моросил мелкий, холодный, совсем не весенний дождь. Легко одетые гимназисты и гимназистки с цветами в руках дрожали от холода, дамы кутались в теплые пелерины... Вокруг памятника, покрытого белым покрывалом, на всем Пречистенском бульваре, на Арбатской площади стояли огромные толпы людей. Блестели парчовые ризы духовенства, служившего торжественный молебен, синий дымок из кадила стлался к земле... Лебедев стоял вблизи памятника, около эстрады, и слушал пылкую речь красноречивого А. Е. Грузинского — председателя Общества любителей российской словесности. Даже не слушал, что он говорил, думал о чем-то своем, о незадавшемся...

Потом с памятника упало покрывало, и шепот удивления, возмущения, восторга пронесся по площади. Лебедев давно уже слышал о странной идее этого молодого, но, говорят, очень талантливого скульптора — Андреева; Саша даже показывал ему фотографию гипсовой модели памятника и уверял, что это одно из самых замечательных произведений русского искусства. Теперь статую Гоголя можно было рассмотреть вблизи, во всех ее подробностях.

Согнувшись под наброшенной, блестевшей от дождя пелериной, Гоголь с каким-то грустным удивлением внимательно рассматривал стоящих перед ним людей: военных в блестящих мундирах, духовенство в парадных одеждах, бородатых людей в сюртуках, певчих во фраках, студентов в зеленых тужурках, учащихся школ в серых своих блузах... Как будто из своего прекрасного далека, из теплого и веселого Рима вернулся он наконец на родину, к своим — и не узнает ни ее, ни своих. И нет от этого возвращения домой ни радости, ни надежды...

Наверное, не одному Петру Николаевичу Лебедеву таким почудился Гоголь, усевшийся в конце Пречистенского бульвара... Вечером на торжественном заседании совета Московского университета популярный среди студентов профессор князь Евгений Трубецкой процитировал слова Гоголя:

— «...И дышит нам от России не радужным, родным приемом братьев, но какой-то холодною, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один, ко всему равнодушный почтовый смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей»...»

Трубецкой отложил в сторону книгу, из которой прочитал гоголевские страшные слова, и продолжал:

— Когда читаешь эти слова, кажется, точно они написаны вчера, до того полны современного значения. По-прежнему тоскливо чувство неисполненного долга перед родной землей, бессильно движение вперед и безнадежно холоден ответ смотрителя: «Нет лошадей»... Опять мы видим Россию во власти темных сил. Разоблачения последнего времени обнажили ужасы не меньше тех, что были в сороковых годах... «Мертвые души» не пережиты нами. В новых формах нашей жизни таится старая гоголевская сущность...

Да, вот чем кончились его, Лебедева, надежды, вот как

кончились прекраснодушные мечты о том, что «все образуется», что Россия европеизируется, что наступит время, и тупой пьяница с мордой городового не станет самоуправничать в России...

И вот как он выглядит, этот русский парламентаризм, доставшийся такой ценою...

Когда на другой день после открытия памятника Гоголю он дома раскрыл свежий номер «Сатирикона», посвященный юбилею великого сатирика, то не мог не улыбнуться невероятному совпадению того, что говорил вчера знаменитый университетский оратор, тому, что писал в юмористическом журнале поэт. Саша Черный рисовал картину того, какими бы увидел Гоголь своих героев, если бы он встал из гроба и появился в России 1909 года:

...Ты, встав сейчас из гроба,
Ни одного из них, наверно б, не узнал:
Павлуша Чичиков — сановная особа
И в интендантстве патриотом стал —
На мертвых душ портянки поставляет
(Живым они, пожалуй, ни к чему),
Манилов в Третьей думе заседает
И в председатели был избран... по уму.
Петрушка сдуру сделался поэтом
И что-то мажет в «Золотом руне»,
Ноздрев пошел в охранное — и в этом
Нашел свое призвание вполне.
Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте
И сам сапожников по праздникам сечет,
Чуб стал союзником и об еврейском гвалте
С большою эрудицией поет.
Жан Хлестаков работает в «России»,
Затем в «Осведомительном бюро»,
Где чувствует себя совсем в родной стихии:
Разжился, раздобрел,— вот борзое перо!

Здорово! Впрочем, невозможно представить себе слова, которые Гоголь нашел бы для того, чтобы изобразить теперешнюю Россию...

Сколько было надежд, восторгов!.. Первая дума. Их московский профессор, Муромцев,— председатель Государственной думы!.. Потом эту Думу разгоняют, выгоняют «избранников народа», как увольняют напившегося дворника... Потом повторение этого же со Второй думой... Затем

страну в свои недрогнувшие руки берет этот губернатор — Столыпин. И от русского парламента остаются лишь рожки да ножки... Подобранное большинство ковриком ложится под ноги нового всероссийского диктатора. Холодное лицо Петра Аркадьевича Столыпина, с холеной бородой, черным галстуком на высоком воротнике, теперь постоянно мелькает перед глазами в газетах и журналах. «Столыпинский галстук»... Так, кажется, в Думе Родичев назвал главное орудие столыпинской политики—петлю виселицы... Каждый день, каждый день в газете списки повешенных...

...Кажется, он сбивается на политику!.. Вот если бы Гопиус проник в его теперешние мысли!.. Но его, Лебедева, действительно не политика интересует. И не то что не интересует, он просто не верит в ее позитивное начало. Но он не открещивается от нее, как богомолка от черта, он ее просто избегает, а она настигает его, настигает, не дает ни работать, ни жить...

Ведь, казалось бы, как для него хорошо начался новый век! Закончил свои работы по доказательству светового давления, из малоизвестного русского ученого вдруг стал экспериментатором с мировым именем... Эти письма, что он получал! Известный физик Ф. Пашен писал ему тогда из Ганновера: «Я считаю Ваш результат одним из важнейших достижений физики за последние годы и не знаю, чем восхищаться больше — Вашим экспериментальным искусством или выводами Максвелла и Бартоли. Я оцениваю трудности Ваших опытов тем более, что я сам несколько времени назад задался целью доказать световое давление и проделывал подобные же опыты, которые, однако, не дали положительного результата, потому что я не сумел исключить радиометрических действий. Ваш искусный прием, заключающийся в том, чтобы бросать свет на металлические диски, является ключом к разрешению вопроса...»

Испытывал ли он тщеславное удовлетворение от этих нахлынувших на него почестей, лестных признаний? Ей-богу, нет! Когда он получил от самого Вильяма Крукса лестное письмо с признанием огромного значения лебедевского опыта, то больше содержания его поразил внешний вид письма знаменитого английского физика: на специаль-

но изготовленной почтовой бумаге и конверте монограммы W и C, обвитые вокруг креста. На кресте латинская надпись: «Vli crux, ibi lux», сверху слон, тело которого разделено на четыре геральдических поля, на полях орденские кресты... Господи! Чем же ребяческим, глупотщеславным тешится великий физик!.. Теперь понятно, как может Крукс увлекаться и искренне верить в спиритизм, в это идиотское столоверчение, вызывание духов!..

Он не испытывал ни приступа слепой гордости и никакой особой радости. В университете было плохо: начинались студенческие волнения, грызня в профессуре... В стране — выстрелы террористов, суды, виселицы... Приступы боли в сердце повторялись все чаще, ему тогда казалось, что на этом и кончается все, что он успел сделать. И даже некому было об этом сказать... Матери уже не было в живых, Саша был далеко, с Голицыным порвалась старая дружба... Еще с его женой поддерживались прежние дружеские связи, и ей тогда, году в девятьсот втором, он писал: «В моей личной жизни так мало радостей, что расстаться с этой жизнью мне не жалко — мне жалко, что со мной погибает полезная людям очень хорошая машина для изучения природы: свои планы я должен унести с собой, так как я никому не могу завещать ни моего опыта, ни экспериментального таланта. Я знаю, что через двадцать лет эти планы будут осуществлены другими, но что стоит науке двадцать лет опоздания!..»

Он был тогда искренен перед нею. Он действительно думал, что жизнь его доконала, что он гибнет физически, а вместе с ним погибают его замыслы... Все же тогда он справился с болезнью, у него хватило сил еще на годы больших трудов, он еще кое-что успел... Но разве ему было лучше, радостнее? В России творился кошмар, от этого нельзя было спрятаться ни в какую науку! Эта бесчестная, глупая война, окончившаяся так позорно! Если бы хоть половину того, что было всажено в эти броненосцы, которые пошли с людьми на дно, если бы хоть ничтожную часть денег, ушедших на никому не нужную и мерзкую войну, пустили бы на школы, на университеты, на лаборатории, на науку, как бы по-настоящему расцвела Россия!.. И этот царек, маленькое глупое создание, ничтожество, которому Россия досталась — как купцу лабаз! — в наслед-

ство от отца... 9-е января... Расстрел безоружных людей у самого дворца человека, в которого они так по-детски верили... Полиция, которая начала врываться в университет, аресты способнейших учеников, раскол в профессуре...

Напрасно он пытался от этого уйти в свою науку, напрасно он пытался спрятаться от жизни в свою физику. Ничего не получалось из этого! Он писал Голицыной, которая в это тяжкое время была почти единственным его поверенным: «О себе скажу, что я в полной прострации: я ничего не могу думать, ничего делать — вся моя деятельность насадителя науки в дорогом отечестве представляется мне какой-то безвкусной канителью, я чувствую, что я как ученый погибаю безвозвратно: окружающая действительность — одуряющий кошмар, отчаянье».

А ему еще предстояло пережить многое: гром пушек на Пресне и Кудринской площади, разбитые снарядами дома, притихшую Москву, по которой топают сапоги гвардейцев Семеновского полка, цокают копыта казачьих разъездов... И это через каких-нибудь полтора месяца после царского манифеста, после пресловутой «конституции»... Как в нее все эти дурни поверили! На другой день после манифеста 17 октября поцелуи, слезы, восторги, тосты в ресторанах: «Ты победил, Галилеянин!», «Воскресла Русь!», «Свобода, равенство и братство!» — и еще как-то и еще что-то...

И вся профессура, все почти без исключения бросились в политику. Такие субчики, как граф Комаровский и ему подобные,— в октябристы, под крылышко московского городского головы Гучкова! Ну, партия, конечно, богатая, содержится московскими богатыми промышленниками и купцами... «Партия семнадцатого октября» — их, конечно, устраивает и этот царь, и эта русская разновидность парламентаризма. Богатеть сейчас можно, вот сколько настроили себе домов эти господа!.. А большинство профессоров — те кинулись к кадетам, в конституционно-демократическую партию... Может быть, потому, что в политике не разбирается, но он не в состоянии понять, в чем же разница между этими двумя партиями?.. Ну, в кадеты пошли более порядочные, более умные, что ли: Муромцев, Трубецкой, Мануйлов, Вернадский...

На выборах в Думу за кадетов голосовало чуть ли не в два раза больше, чем за октябристов. Но, ей-ей, так не-

значительна разница между теми, кого устраивает нынешнее издание этого старого, уже с опровергнутыми теориями и формулами, учебника, и теми, кто хотел бы его сохранить, кое-что там изменив, подправив... Все равно как если бы физики стали цепляться за старую теорию эфира, стараясь ее лишь как-то подправить...

Ну, а за профессорами пошли по тем же дорожкам и их приват-доценты, ассистенты, лаборанты... И везде, в каждой лаборатории, в каждой аудитории,— всюду споры о политике! С кем ни заговоришь, даже с Витольдом Карловичем Цераским,— все о политике, все о политике! Как же ему нравится университетский астроном Павел Карлович Штернберг! Вот от кого никогда не услышишь ни одного слова о политике!.. И каждый раз, когда кто-нибудь из университетских коллег хочет втащить Штернберга в политический спор, он отклоняет эти попытки спокойно и решительно. Да, его интересует только его астрономия, только его наука. И таким должен быть настоящий ученый!

...Он вспоминает, как больше пяти лет назад, в конце октября того самого пятого года, пошел он на премьеру в Художественный театр. Тогда он еще ходил в театр... Правда, в университете и делать было нечего, никто не работал, никому до науки не было дела. А спектакль ждали с нетерпением... Новая пьеса знаменитого Максима Горького «Дети солнца». Про интеллигенцию, про ученого... Смотрел на сцену, как всегда, немного иронически, ничего не ожидая, с интересом думая, как же знаменитый актер Качалов станет изображать ученого... А потом весь скепсис у него из головы вылетел! И он не сводил глаз с этого обаятельного и грустного, кажущегося всем смешным, человека — чудаковатого, рассеянного, ничего под самым своим носом не видящего, занятого только одним, думающего только об одном — о своей науке!..

Почему люди считают Протасова эгоистом, не интересующимся людьми, чудаком, каким-то городским сумасшедшим?

Лебедев через несколько дней после спектакля зашел в книжный магазин, купил свежую книгу «Шиповника», где была напечатана пьеса, и несколько раз ее перечитал. И убедился, что не в замечательном актере дело, что обая-

ние Протасова в том человеческом, что в него вложил Горький.

До сих пор помнит он целые куски из монологов Протасова: «Все живет, всюду — жизнь. И всюду — тайны. Вращаться в мире чудесных, глубоких загадок бытия, тратить энергию своего мозга на разрешение их — вот истинно человеческая жизнь, вот где неисчерпаемый источник счастья и животворной радости! Только в области разума человек свободен, только тогда он — человек, когда разумен, и, если он разумен, он честен и добр! Добро создано разумом, без сознания — нет добра!»

Вот настоящая программа жизни ученого! Его, Лебедева, программа.

И как можно обвинять ученого в том, что ему безразлично человечество, если он и его наука только для человечества и существуют!..

...Когда-то, в давние времена, Саша Эйхенвальд познакомил Лебедева с Марией Федоровной Желябужской. Богатая женщина, жена статского генерала, она стала известна под своим театральным псевдонимом — Андреева, на первых ролях была в Художественном. Красивая, волевая, очень талантливая женщина.

Потом Лебедев узнал, что Андреева бросила своего генерала, богатство, стала женой Максима Горького. Лебедев не был знаком с человеком, который написал «Дети солнца». Но ему хотелось, чтобы тот узнал, что думает ученый о герое пьесы. Он вспомнил про свое знакомство с Марией Федоровной и написал ей горячее письмо, в котором восхищался тем, как тонко и точно автор пьесы передал чувства, мысли настоящего ученого. Он сгоряча написал актрисе, что взял бы монолог Протасова введением в свою книгу... Он тогда еще наивно думал, что напишет книгу о физике...

Пусть говорят о Протасове что угодно, пусть говорят то же самое и о нем, но он, Лебедев, будет заниматься только тем, во что он верит — только наукой! Он будет заниматься своей наукой, он будет продолжать создавать московскую школу физиков, которые еще дадут миру много замечательного!

Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?..

А чего он так боится этого будущего? Как только ни прижимала его жизнь, какие только препятствия ни ставила — вылезал, выходил из тупика, принимался снова за работу! Было время, когда считал себя, как ученого, конченным... И что? И после этого не раз испытывал волшебство догадки, радость от красоты доказанного... Ну что он разнюнился?! Ему только сорок пять лет, у него прекрасная лаборатория, талантливые и преданные ученики, только сейчас он и может по-настоящему развернуть работу! Все еще будет, господин кудесник! Сбудется!

Глава III



Рассказы про себя

Продолжение



Моховая

...Вот уже и лучше стало!.. И, собственно говоря, можно бы слезть с осточертевшей постели и пойти в лабораторию. Лебедева иногда приводило в ярость, что самые близкие, хорошо знающие его люди так и не могут понять, когда ему хорошо и когда плохо... Никогда ему не было плохо в лаборатории! Напротив, когда начинало покалывать сердце, ныть левая рука, когда начинало обволакивать омерзительное и давящее чувство беспомощности, то для него лучшим лекарством была лаборатория. Там, среди своих учеников, среди своих приборов, забывал о болезни, уходила боль, проходила тоска, он оживлялся, как будто окружающая его молодость вливала в него новые силы. Почти никто не мог поверить, это не в постели, а в лаборатории становится ему лучше!..

Теперь, когда у него в помощниках врач, то и вовсе его затиранили! А какой Петр Петрович врач? О-то-ларин-го-лог! И понимает в ухе, горле и носе, а вовсе не в делах сердечных!.. Но вот умеет держаться по-докторски, все домашние слушаются с полной верой в его медицинские знания!.. Как-то невольно подчиняешься его врачебной уверенности, его спокойному и настойчивому голосу. Может, действительно лучше несколько дней полежать, поду-

мать о будущих работах?.. Хотя, кажется, он больше думает о прошлом, нежели о будущем. Впрочем, и это нужно!

...Звонок в дверь! Наверное, Гопиус. Лебедев просил, чтобы он пришел и рассказал о лабораторных делах. Был как-то необъяснимо симпатичен ему этот человек, всегда встрепанный, ироничный, всегда разговаривавший так, как будто не верит он ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай... А во что верит — молчит... Совершенно другой человек, чем Лазарев, а в чем-то очень важном его дополняющий.

Гопиус не вошел, а ввалился боком. Под мышкой целая куча свежих газет.

— Здравствуйте, Петр Николаевич! Вы уж совсем обуниверситетились! Как порядочный воспитанник Московского университета не можете очухаться после татьяниного дня? Все, наверное, думают: ну и отметил же профессор Лебедев татьянин!.. Нализался, как студент!..

— Садитесь, садитесь, Евгений Александрович! В нашей лаборатории есть один, который за всех нас, грешных, может выпить! Я только потому и воздерживаюсь. А что это вы с такой грудой газет? Зачем вам столько? Мне так одной хватает.

— Вы небось «Русские ведомости» читаете?

— Нет, представьте себе —«Русское слово».

— Чего ж так, Петр Николаевич? «Русские ведомости»— самая что ни на есть профессорская газета. И кадетская — что, кажется, одно и то же...

— Я человек не партийный, предпочитаю читать фельетоны Дорошевича в «Русском слове». А у вас, я вижу, даже «Голос Москвы» есть?

— А как же! Любимая газета профессора графа Комаровского. Вы не думайте: есть профессора, которые и в октябристах ходят!

— Слушайте, черносотенный «Кремль», кажется, выходит под редакцией заслуженного профессора Иловайского... Так что, профессорам за него тоже отвечать? Все же: зачем вам столько газет?

— Ради любознательности, Петр Николаевич. Ибо любимый вами Гёте сказал: «И самый тонкий волос отбрасывает тень»...

— Он же сказал, что «как много людей воображает,

будто они понимают все, что узнают»... Впрочем, не будем бросаться друг в друга цитатами поэта, которого на нашей кафедре, кажется, только мы с вами и любим. Скажите, что в лаборатории?

Лебедев и Гопиус углубились в разбор опытов, проделанных студентами. Лебедева всегда восхищало, что у Гопиуса внешняя небрежность соединялась с очень твердой, даже жесткой организованностью во всем, что касалось лабораторных дел. Всегда у него все записано, все отмечено, от его, казалось бы рассеянного, взгляда не ускользает ни одна мелочь. И недаром этот добродушный, постоянно посмеивающийся над всем человек слывет среди студентов самым строгим и неподкупным экзаменатором, которого невозможно смягчить ни шуткой, ни слезой.

— Ну смотрите, как хорошо идут дела в лаборатории, Евгений Александрович! Как здорово продвинулись опыты давления волн в воде у Капцова! И опыт Альберга очень интересен... А работа Кравеца по поглощению световых волн в красителях — так просто готовая уже самостоятельная работа! Хоть вы и известный пессимист, но сознайтесь, с неплохим багажом начинаем мы год!.. Не то что в прошлом... Я как вспомню весь прошлый год, так у меня почесуха начинается, ей-богу!.. Год целый, собственно, был потерян для университета. Думаю, что сейчас мы и начали лучше, и год пройдет хорошо.

— Так пессимист вы, Петр Николаевич, чем и возбуждаете неудовольствие начальства, каковое считает, что все у нас идет хорошо да иначе и не может быть под ихним благодетельным начальствованием. А оптимист — это я. Потому что не просто ожидаю, что все это их мнимое благополучие полетит скоро в тартарары, но и полагаю, что чем скорее это произойдет, тем лучше. И что бы ни происходило, все к лучшему... как нас учат ваши немецкие философы.

— У нас с вами разные любимые немецкие философы, Евгений Александрович. У меня — Кант, у вас — Маркс... Нет-нет, я все же верю, что даже такую тупицу и холуя, как Кассо, прошлый год чему-то да научил! И не пойдут они на то, чтобы повторились прошлогодние кошмары, чтобы в российских университетах сорвался почти целый учебный год!

— Дай бог нашему теляти... Очень хотелось бы верить,

что они способны чему-нибудь научиться, да не верю... Вы на обеде в честь Николая Егоровича Жуковского будете?

— Да, если встану, то обязательно. Ну передавайте привет всем студиозиусам — и настоящим, и бывшим. Скоро приду гонять их...

Лебедев прислушался, как в передней Гопиус отшучивался от Валиных вопросов, как хлопнула за ним дверь... Гм... Он — пессимист, а Гопиус — оптимист... Но если существует в мире какая-нибудь логика, то она должна исключать то, что случилось в прошлом году! Хотя и он не принадлежит к числу людей, хоть сколько-нибудь верящих в разумность поступков министра, попечителя, всех начальников крупного и мелкого сорта... Нет, не должно повториться прошлогоднее!

...А прошлый год тоже начался благополучно, в атмосфере всеобщих надежд на прогресс науки, на расцветание университета! И прошлогодний татьянин день прошел с торжеством объединения студентов и профессоров, с еще большим подъемом, нежели в этом году... А потом — потом все полетело!.. Большинство профессоров обвиняло в этом студентов. А так ли это?

Лебедев никогда не был студентом университета, никогда не жил в «Ляпинке» — огромном и шумном студенческом общежитии в доме купца Ляпина на Большой Дмитровке. Общежитие было бесплатным для нуждающихся, а он, будучи студентом, жил так же обеспеченно, ни в чем не нуждаясь, как и тогда, когда был реалистом. Но у него жили друзья в «Ляпинке», и он бывал в этом большом трехэтажном доме, поделенном тоненькими перегородками на маленькие комнатушки, где с трудом устанавливались четыре железные койки. Там же, внизу, столовая Общества для пособия нуждающимся студентам. В столовой можно пообедать за двадцать копеек... Особо нуждающимся столовая отпускала в день шестьсот бесплатных обедов. У богатого купеческого сына Петра Лебедева были и такие друзья, что пользовались в «Ляпинке» бесплатными обедами... В общежитии всегда было безалаберно и весело, особенно в этом веселом гаме отличались художники — студенты Строгановского училища. Лебедев всегда удивлялся тому,

как могут в этом галдеже читать, заниматься, а главное, думать о научных проблемах студенты-естественники... Но он любил эту шумную студенческую братию, эти землячества, эти тайные и явные студенческие объединения, этих молодых людей с их самыми разными интересами, связями, надеждами... Он сохранил эту любовь и став профессором университета, и студенты ему платили за эту любовь — любовью. Конечно, разве для них имеет значение то, что он сделал в физике? Да ничего подобного! Просто они знают, что он не сволочь, никогда ради хорошего отношения начальства не продаст их, не предаст, что он независим в своих взглядах, симпатиях и антипатиях.

И напрасно его коллеги так громогласно говорят о том, что студенты неблагодарны и плохо относятся к своим учителям. А почему они должны их обожать? Один профессорский суд чего стоит! Когда в августе 1902 года вышел правительственный указ об учреждении профессорских судов, большинство считало, что это очень либерально. Все-таки решать дела о нарушении студентами порядка в учебных заведениях будут не жандармы и околоточные надзиратели, а лучшие представители интеллигенции — профессура. Профессорскому суду предоставлялось право уволить студента из университета на время, или без указания срока, или даже без права поступления в другое учебное заведение. А Лебедев всегда считал, что интеллигентам не следует брать на себя право и обязанность выгонять из университета студентов с волчьими билетами. Карателей да судей хватит в России и без профессуры! Ну, суд этот влачил довольно жалкое существование, а потом революционная волна и вовсе смыла его. А когда все улеглось, Кассо в девятьсот седьмом предписал восстановить эти дисциплинарные профессорские суды. И что же? Уже в августе этого же года профессорский суд под председательством графа Комаровского выгонял из университета студентов за революционные убеждения!

Говорят, что профессорский суд разбирает не только дела о нарушении порядка, что он еще обсуждает столкновения студентов друг с другом и с должностными лицами, что он вправе вмешиваться, когда речь идет о предосудительных поступках против чести, о безнравственном поведении; что разбираться дела будут при закрытых дверях с обязательным участием и обвиняемых и обвинителей; что есть

возможность выбирать в число пяти судей и пяти кандидатов в судьи самых порядочных и либеральных профессоров... Все это, как уверен Лебедев, чистая гиль! Ну хорошо, выбираем порядочных. Вот в последний состав суда выбрали профессоров Покровского, Каблукова, Шервинского, еще кого-то там... Ну действительно, люди эти высокопорядочные. В кандидаты даже Саша Эйхенвальд попал... Но что пользы, когда состав суда все равно утверждается попечителем, а его решения — ректором. Для чего нам, профессорам, нужно быть в одной компании с начальниками?! Разве могут студенты забыть, что с ними делали? Из университета за первые два года нового века исключили больше тысячи студентов. Министр народного просвещения генерал Ванновский в один день — кажется, это было в феврале девятьсот второго года? — исключил из Московского университета четыреста студентов за участие в студенческих сходках... А потом еще удивлялись и возмущались, когда его революционеры из револьвера хлопнули?..

Из-за чего начались в прошлом году студенческие волнения? В марте в Государственной думе эта черносотенная скотина, паяц Пуришкевич, непристойно обругал московских студентов, сказал о них с трибуны Российского парламента так, как приличный человек не скажет в выпившей компании... Тогда, 10 марта, больше трех с половиной тысяч студентов собрались в Большой аудитории нового корпуса на общеуниверситетскую сходку. Что они, в конце концов, требовали: чтобы Пуришкевич извинился перед ними, чтобы университетское начальство протестовало против беспардонной клеветы. А их за это начали лишать стипендий, арестовывать. Студенты перестали ходить на занятия, началась волынка, которая тянулась почти до самых каникул...

А осенью? Новый семестр прошел еще хуже. Сначала было еще более или менее спокойно. Потом, кажется в первых числах сентября, служитель нашел в седьмой аудитории юридического корпуса под скамейками амфитеатра какой-то чугунный предмет. Боже мой, что только началось! Набежала полиция, аудиторию опечатали, вокруг не только корпуса — вокруг всего университета появились жандармы, эти болваны в штатском с собачьим выражением на плоских мордах. Саперы, армейские инженеры!.. А и всего-то нашли пятифунтовую самодельную бомбу, начиненную «македонской смесью» — бертолетовой солью с

сахаром: игрушка, которую изготовляли студенты в пятом году. Она больше пугала, чем взрывала... Взломали, идиоты, всю аудиторию, нашли еще около тысячи патронов к трехлинейной винтовке, еще что-то, завернутое в старые, шестого года, газеты. Ну, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что все это старье было спрятано после пятого года, спрятано и забыто. Так нет, начали повальные обыски в университете, обшарили все аудитории, поломали все скамейки, залезли на чердаки... А специалисты из охранки, конечно, натравили жандармов на физиков и химиков — кто, как не они, способны изготовлять такие сложные снаряды, как эта македонская бомба!.. И началось!.. Почему никому из ректората не пришло в голову, как тяжело, как унизительно для студентов это хозяйничание полицейских в университете, эти повальные обыски, эти срывы занятий из-за полицейских облав!.. Его, профессора Лебедева, слава богу, не обыскивали, но и он не выдержал — сцепился с какой-то жандармской скотиной, когда тот полез в лабораторию во время занятий. Он тогда так вспылил, закатил такую сцену, что тот пробкой вылетел из лаборатории. Правда, после этого Лебедев две недели лежал с сердечным приступом...

Можно ли удивляться, что взвинченные, издерганные студенты так нервно, так взволнованно откликались на то, что происходило в России! В газетах появились сообщения об избиениях политических заключенных в Вологодской тюрьме, на каторге в Новом Зерентуе... Студенты ответили на это сходками, протестами, резолюциями. Ну что в этом зазорного — протестовать против непорядочности, против подлого отношения к беззащитным людям?.. В ответ начали опять исключать из университета, пустили в ход этот идиотский профессорский суд!

А только успокоились, началось невыразимое, страшное, бесстыдное... Конец октября взволновал всю Россию, весь мир. Ушел из своего дома, из Ясной Поляны, великий человек, великий писатель. Ушел, чтобы жить и умереть по своим убеждениям... Сначала все газеты, все мысли людей были заняты одним: куда ушел Лев Толстой? Где скрывается он от своей графской семьи, от ненавистной ему обстановки?.. Потом эта внезапная болезнь, эта станция Астапово, где в доме станционного начальника умирает величайший русский писатель...

И в это самое время ректор собирает профессорский совет и зачитывает им «совершенно конфиденциальное» письмо:

«Ввиду того, что студенты высших учебных заведений могут реагировать на болезнь графа Толстого и исход таковой созывом сходок, имею честь просить, Ваше превосходительство, принять все зависящие от Вас меры к недопущению резолюций с порицанием Святейшего Синода и правительства.

Прошу принять уверения в совершеннейшем моем почтении и искренней преданности.

Московский градоначальник, генерал-майор Андрианов».

Когда ректор прочитал эту подлую записку, у всех профессоров было впечатление, будто им наплевали в лицо!.. Умирает самый великий человек столетия, равного которому нет ни в России, ни во всем мире... А этим господам, ничтожествам, только одна забота: как бы не сказали худого слова о синоде, отлучившем Толстого от церкви, о правительстве, конфискующем произведения великого старца. И когда случилось то, что градоначальник назвал «исход таковой», когда весь мир погрузился в траур по Толстому, можно ли было удивляться скорби студентов, их естественному желанию собраться, выбрать делегацию на похороны, выразить свои чувства... Должно же было хватить ума отнестись к этому спокойно! В день, когда появилось сообщение о смерти Толстого, студенты обратились к ректору с просьбой разрешить сходку памяти Толстого. Даже трусливый Мануйлов не посмел отказать! А профессорский совет постановил десятого октября отменить занятия в знак траура. Конечно, все сколько-нибудь порядочные профессора выполнили это постановление, не явились на занятия, кроме двух-трех подлецов черносотенцев из юридического и медицинского. А студенты подлость назвали подлостью... Во дворе толпа студентов пела «Вечную память», а другие врывались в аудитории, где перед несколькими белоподкладочниками читали свои лекции эти прохвосты с профессорскими званиями... И вот уже появляются на углу Никитской и Шереметьевского городовые, конные стражники, жандармы... На другой день и того хуже... В юридическом корпусе собралось более двух тысяч студентов, принимают резолюцию против вчерашних избиений и арестов студентов, а в это время эскадрон

жандармов берет приступом университет — как на войне... А дальше — дальше все хуже и хуже... Забастовки студентов в знак протеста, аресты, исключения; студентов, как стадо, загоняют в Манеж, их избивают, курсисток, женщин, бьют нагайками!..

На этом семестр и окончился, дальше уже ничего, кроме ужаса, не было. Волнения прокатились по всем русским университетам, по всем высшим учебным заведениям. Какие-то болваны решили мобилизовать студентов-черносотенцев, этих совершенных выродков, натравить их на других студентов... В Одессе студенты-черносотенцы стреляли в своих сокурсников, убили одного, нескольких ранили... Как в этих условиях могли студенты спокойно заниматься наукой?! На кафедре физики политикой почти не занимались, были заняты одной лишь наукой. И Лебедев строго относился к тому, кто пытался делить увлечение наукой с увлечением чем-то другим. Но здесь он не мог сделать никому ни одного замечания: речь шла не о политике, черт возьми,— о порядочности!..

Мануйлов тогда собирал профессорский совет чуть ли не каждый день и зачитывал то длинные письма от попечителя, то множество предписаний от начальства: от министра, от градоначальника, от губернатора... Проректор Минаков читал эти идиотские документы часами. Сидя в своем кресле в дальнем углу зала заседаний, Лебедев раскачивался от поднимающейся боли в груди и будто сквозь тяжелый сон слышал, как настойчиво бубнит Минаков тягучие, писарские, недостойные интеллигентного человека, фразы:

«...вследствии пропаганды и раздражения умов...»

«...учились дурно и показывали большое презрение к занятиям...»

«...по возникшему вопросу нахожу совершенно справедливым на точном основании параграфа...»

«...по содержанию изложенного в представлении Вашего превосходительства, имею честь уведомить...»

«...во исполнение Высочайшего повеления...»

«...из сего, Ваше превосходительство, усмотрите...»

Главное, что возмущало тогда Лебедева, это желание всех этих начальников — больших и малых — взять в свою компанию профессоров, людей интеллигентных, не имеющих никакого отношения к делу этих господ: арестам, исключениям, репрессиям самого разного рода. Да неуже-

ли мало на Руси карателей: жандармов, полицейских, стражников, прокуроров и товарищей прокуроров, градоначальников, исправников, охранников всех мастей,— чтобы еще обязательно заставлять заниматься этим делом людей науки!.. Они обязательно хотят, чтобы не было в России ни одного незапачканного, ни одного порядочного человека!

...Это ничтожество попечитель, действительный статский советник Александр Маркелович Жданов, им, как провинившимся школьникам, вычитывал:

— «...Вы, господа, являетесь государственными служащими и должны помнить свои обязанности перед императорским правительством, коему имеете честь служить...»

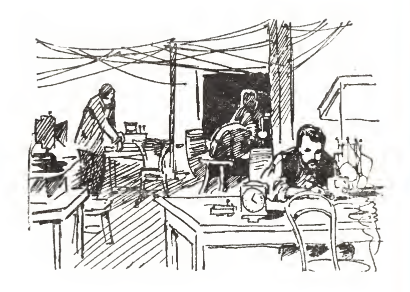
А он бы рад служить не в императорском университете, а в другом — не императорском! Господи! Это же надо уметь — сделать ему противным великий, основанный Ломоносовым, университет, сделать противными эту улицу, этот маленький городской квартал, где собралось для него столько значительного, родного... А теперь Моховая, Никитская, Воздвиженка, Шереметьевский — это всё места, где торчит полиция, где избивают студентов, где не дают, где совершенно не дают заниматься наукой тем, кто этого хочет, кто к этому способен!..

Как хорошо, что, кроме Моховой, есть в Москве и другие места... что есть Волхонка...



Волхонка

...В университете шутили: «И вас тянет на запад?» Да, если идти по Моховой прямо на запад, то очень скоро, за Румянцевским музеем, за Знаменкой, начиналась узкая и шумная Волхонка. Поток экипажей со Всехсвятской, ломовых дрог с Болотной через Большой Каменный мост шел на Волхонку. На этой коротенькой улице жили художники, их работы продавались тут же в маленьких ма-



газинах, где торговали старыми книгами и разными старыми вещами, совсем как в романе Диккенса «Лавка древностей»... После Антипьевского переулка Волхонка становилась спокойной, даже величественной. Справа стояла гранитно-мраморная громада нового Музея изящных искусств имени императора Александра Третьего. Слева, за извилистым переулком, который шел к набережной, к семейной церкви Малюты Скуратова, раскинулась огромная площадь с одной из самых больших достопримечательностей Москвы—храмом Христа Спасителя. Его могучий позолоченный купол, видимый на сорок верст в округе, опирался на высокие белокаменные стены с барельефами, нишами, в которых стояли статуи. Это был настоящий образ богатой и широкой старой русской столицы...

Так вот, там, за музеем Александра Третьего, и начинались корпуса другого московского университета. Не императорского, а народного... Да, он так и назывался: «Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского». Пусть не думают, что только в Америке частные лица могут раскошеливаться!.. Богатый, очень богатый генерал Шанявский все свое состояние, несколько

миллионов, оставил на то, чтобы в Москве существовал народный университет, где люди могли бы получать образование, не имея ни гимназической подготовки, ни денег для того, чтобы оплачивать занятия. В этот университет принимали всех, без различия национальности, сословия, образования, пола...

К четвертому году своего существования в нем обучалось около двух с половиной тысяч человек. Больше половины из них были женщины. Те, которых не принимали не только в императорский университет, но и на Высшие женские курсы, где нужно было иметь гимназическое образование и платить за право обучения. В университете Шанявского было два отделения: академическое — там слушателей готовили к тому, чтобы они могли потом получить высшее образование, и научно-популярное, где читались общедоступные лекции по всем наукам для каждого, кто пожелает стать слушателем народного университета.

Большая часть преподавателей и лекторов университета Шанявского работала бесплатно. Лишь некоторая часть, занимавшаяся со слушателями на академическом отделении, получала довольно скромное жалованье. Профессора и приват-доценты Московского университета, которых «тянуло на запад», в корпуса народного университета на Волхонке, преподавали там бесплатно. Мало сказать — бесплатно! Для Лебедева, как и для других его коллег, работа в университете была радостью, отдыхом от профессорского совета, профессорского суда, от полиции и жандармов, явных и тайных, от бывших ученых, ставших «превосходительствами» и питавших теперь безграничную ненависть и к настоящей науке и к настоящим ученым... Туда, на Волхонку, пришли с Моховой самые способные, самые лучшие... И Реформатский, и Чаплыгин, и Кольцов, и Лазарев, и Кулагин... И Саша Эйхенвальд, конечно. Здесь, на Волхонке, в старом голицынском доме, где еще сохранилась домовая церковь, скрипучие полы наборного паркета, беломраморная лестница, Лебедеву было очень хорошо, уютно, намного уютнее, чем даже в его родном Физическом институте на Моховой. Конечно, тут не было его прекрасной лаборатории, ни его учеников, каждый из которых был уже почти сложившимся ученым. Но было другое — люди, потрясавшие его своим благоговейным, почти священным отношением к науке. Это были

мелкие служащие, приказчики, рабочие от Циндели, Гужона, Листа, учительницы, медицинские сестры, акушерки... Занятия начинались вечером, после долгого и утомительного рабочего дня. Не все успевали после работы переодеться, поесть... И те два часа, что длилась лекция Лебедева, они не спускали с него настороженных глаз. Его студенты и лаборанты приносили из Физического института приборы для опытов, они были на лекциях ассистентами, некоторые из них на академическом отделении занимались со слушателями, готовя их к экзаменам. Экзамены в народном университете были еще строже, чем в императорском: надо было предвидеть и то недоброжелательство, с каким отнесутся при приеме в высшее учебное заведение бывшего слушателя университета Шанявского...

Конечно, не просто, ах, не просто было существовать университету на Волхонке! Руководил им Попечительский совет, избранный профессорами и преподавателями. Все годы председателем этого совета был Владимир Карлович Рот, уж, кажется, ничем не вызывавший подозрения у начальства: действительный статский, ни к какой политике никогда не имел отношения. Но в этом году министр Кассо отказался его утвердить. По уставу университета Шанявского за министерством оставался контроль над университетом, министр утверждал Попечительский совет и состав профессоров. Ни одной копейки это министерство народного просвещения (это же надо так назвать — народного!) не давало на содержание народного университета, зато оно вмешивалось в программу занятий, чиновники министерств и просто доброхоты-доносчики не вылезали из аудиторий голицынского дома... Теперь всеми делами университета Шанявского приходится заправлять заместителю председателя Попечительского совета — Эйхенвальду.

Вот кто постоянно вызывал у него восхищение! Его тихая, спокойная настойчивость была, кажется, эффективнее, нежели известная всем напористость и работоспособность Лебедева. Исследователь по призванию, Эйхенвальд начал учиться в Московском университете у Столетова, но через два года ушел из университета и уехал учиться в Петербург, в Институт инженеров сообщения. Он не имел права упрекать своего друга. У Лебедева отец — богатый

человек, у Эйхенвальда — отец фотограф. И — большая семья. Саша быстро добился того, чего хотел: стал инженером — известным, высокооплачиваемым. А через семь лет бросает все и едет в Страсбург по следу своего друга. И там начинает заниматься теоретической физикой, через год становится ассистентом профессора Брауна, а еще через год защищает докторскую диссертацию. Все кипело в руках этого спокойного и уравновешенного человека!

Когда Саша в девяносто седьмом вернулся из Страсбурга в Москву, Лебедев — кроме работы в университете — преподавал физику в только что открытом Инженерном училище. Он уступил Саше свою должность, и Эйхенвальд в новом институте создал — спокойно и без тех мук, которые испытал Лебедев в университете,— самый лучший, великолепно оборудованный физический кабинет, студенческую лабораторию. Он был прирожденным организатором! В девятьсот первом пошел работать на Высшие женские курсы, и — боже мой! — как же все там завертелось!.. И там он создал прекрасный физический кабинет, и там он нашел великолепных помощников, там он — да, да, именно он!— построил физико-химический корпус, какого Лебедев не видел даже в немецких университетах!.. И вот, будучи профессором двух институтов, как только после пятого года стало легче дышаться в Московском университете, идет туда работать. Не профессором даже, просто приват-доцентом!

...Никогда они про это не говорили, но, наверное, в эти очень для Лебедева трудные годы хотел Саша быть поближе к нему... Как-то, после женитьбы на Вале, Саша в шутку сказал, что, в отличие от Герцена и Огарева, их дружба и семейные обстоятельства сплелись несколько другим образом... Да, пожалуй, их дружба так же тесна и неразрывна, как и дружба этих замечательных писателей, но все же она другая... Спокойная, молчаливая, не только без риторики и пламенных возгласов, но и без совершенно излишних слов. Оба считаются в московской профессуре краснобаями и острословами, а когда они бывают вместе, то больше молчат, чем разговаривают,— им не нужно объясняться, чтобы знать, о чем думает каждый из них. Со стороны их беседы, вероятно, выглядели очень странно: кто-нибудь из них прерывал молчание, продолжая мысль своего молчащего собеседника... Они всегда знали все друг

о друге. И Саша был для Лебедева предметом восхищения, гордости, уверенности в будущем. Там, где Лебедев вспыхивает, становится запальчивым, желчным и гневным, Эйхенвальд спокойно, не повышая голоса, убедит собеседника, съездит куда надобно, достанет денег, все сделает тихо, не торопясь...

...Вот и сейчас, став во главе университета Шанявского, он спокойно ведет дело так, что народный университет становится все большей и большей силой в ученом мире Москвы. Саша умеет успокоить попечителя, умеет убедить московских богатых купцов, что благороднее и заметнее дать деньги на строительство нового здания народного университета, нежели на новый, осыпанный жемчугом, образ в храме Христа Спасителя.

Уговорил городскую управу выделить землю для строительства здания, и сейчас в Миусах строятся новые, отличные корпуса, куда переедет из старого дома на Волхонке народный университет. И все это не оставляя научной работы, которую делает так же спокойно, так же последовательно, как он делает все. На Моховой некоторые на кафедре дуются на него, считая, что Эйхенвальд является бо́льшим патриотом Волхонки, нежели Моховой. Ну, это они за то, что и леденцовские деньги он умеет иногда пустить на «чужой», на народный университет... Был в Москве богатый купец Леденцов. Среди московских купцов его ранга он выделялся одним: необычайным интересом к деятельности ученых и изобретателей. При жизни часто и щедро давал деньги на оборудование в университете и Техническом училище, а незадолго до смерти решил все свое состояние оставить на создание фонда помощи ученым. Он приглашал к себе многих профессоров, советовался с ними, как это лучше сделать. Эйхенвальд был одним из тех, кто имел на старого и умного купца наибольшее влияние. После смерти Леденцова при университете и Техническом училище было образовано общество имени Леденцова. В него входили профессора, общественные деятели и те из московских купцов, кого привлек пример их земляка. Общество распоряжалось немалым фондом благотворительных денег, и не одна научная лаборатория в Москве сумела начать свою работу благодаря помощи леденцовского общества.

Часто в леденцовском обществе начинаются споры. Некоторые его члены оспаривают право тратить деньги об-

щества на помощь не ученым, а этаким просветительным организациям... Основатель фонда хотел-де оказать помощь настоящим и большим ученым, могущим сделать существенный вклад в русскую науку, а университет Шанявского — это разве имеет отношение к науке? Может быть, тогда отношение к науке имеют и эти — как их? — эти рабочие классы, что около Пречистенки?!



Нижне-Лесной переулок

...Он еще дальше идет на запад, чем Волхонка. Недалеко от Пречистенских ворот, сразу же после цветковского дома, где хозяин устроил картинную галерею, начинается узкий и грязный Нижне-Лесной переулок. Он идет параллельно Остоженке, но очень мало схож с этой богатой дворянско-купеческой улицей. Наверное, когда-то здесь были лесные склады. И теперь еще на всегда грязный тротуар переулка выходят ворота сараев, где продают дрова, маленьких полукустарных фабрик, постоялых дворов, двери дешевых чайных. Правда, это довольно процветающие чайные, хозяева их не жалеют, что открыли свое дело в глуховатом переулке.

И днем, а особенно вечером переулок полон людьми, которые идут в приземистый новый дом в середине переулка, рядом со старыми банями. В этом доме, недавно построенном на пожертвованные деньги, находятся «Пречистенские классы для рабочих». Бог знает, как это удалось нескольким энтузиастам в трудном девяносто седьмом году открыть эти классы! Начальство на это согласилось только потому, что рассудило: пусть рабочие лучше изучают грамоту ну и там какие-то другие простые вещи, нежели занимаются революцией... И вот уже почти полтора десятка лет живет, да не просто живет, а яростно работает это ни на что не похожее, самое что ни на есть странное учебное заведение...

Сейчас в нем больше тысячи учащихся, они учатся на трех отделениях: низшем, среднем и высшем, в зависимости от своей грамотности. Работают классы с утра и до поздней ночи. Днем учатся люди, работавшие в ночной смене, вечером — те, кто только что пошабашил вечернюю: ведь почти все ученики — это или рабочие, или ремесленники. Лебедев не часто, но читает лекции в Пречистенских классах, и знает, как нелегко тем, кто учится там, и тем, кто учит.

Люди приходят прямо с работы. Хорошо, если у них есть несколько минут и несколько копеек, чтобы забежать в чайную, выпить стакан чаю, насчет что-нибудь проглотить. А другие и вовсе сидят на уроках голодные. И холодные. Сейчас в новом здании провели центральное отопление. А раньше топили печки, и только тогда, когда удавалось раздобыть деньги на дрова. Лебедеву несколько раз приходилось читать лекции в шубе, и пар у него шел изо рта, как на улице в морозный январский день... Но он был в меховой шубе. А перед ним сидели, совершенно неподвижно, боясь пропустить слово, мужчины и женщины, одетые в пальтишки, подбитые ветром... Сидят в холодном классе, назад, верно, пойдут пешком—от Пречистенских ворот на Пресню, в Замоскворечье, к Краснохолмскому мосту. Пойдут пешком, потому что на трамвае одна станция стоит пять копеек, а к ним езды не одна и не две станции! Как они это выносят? Наверное, только потому, что молоды — им лет по восемнадцать — двадцать, ну не больше двадцати пяти. Ученикам классов для рабочих тяжело, да и преподавателям нелегко... Все там преподают бесплатно. Лекции читают светила московской профессуры: Сеченов, Коновалов, Реформатский, Чаплыгин, Крапивин... Ни один из профессоров не отказывался идти в этот грязный переулок рассказывать о своей науке людям, которые ничего не знают, но которые страстно хотят знать. Правда, и предлагали читать лекции только порядочным людям. Лейсту, Соболевскому, Иловайскому никто никогда и не предложил бы...

Но профессор приедет сюда на извозчике, прочитает свою лекцию и через час-полтора на извозчике уедет. А учительницы?.. Они приходят сюда учить рабочих после трудного учительского дня, почти такие же усталые и голодные, как и их ученики. Они часами сидят в классах, куда набилось столько людей, сколько только может

влезть. Окна закрыты, чтобы не выпустить на улицу скудное тепло, и бывало, что некоторые учительницы от духоты падали в обморок...

И вот таким-то самоотверженным, ну просто святым людям не хочет помочь какой-нибудь «многоуважаемый шкаф», который уже и давно-то перестал быть ученым! Только у Саши Эйхенвальда хватает терпения спокойно, без раздражения убедить деятелей из леденцовского общества выделить небольшие деньги на учебные пособия, на самые необходимые физические приборы для Пречистенских классов. У него, у Лебедева, на это не хватило бы ни сил, ни нервов. Несколько раз бывал на заседаниях общества, вспыхивал как спичка, наговаривал почтеннейшим господам дерзостей, потом несколько дней лежал с этой своей болью в груди, со своей неразлучной жабой...

Лебедев не часто читает лекции в Нижне-Лесном переулке. Он вообще-то не мастак читать общедоступные лекции, он не умеет обходиться без научной терминологии, без формул, иногда он улавливал на лицах слушателей физическое — и напрасное! — усилие понять, что он говорит. И от этого вовсе смущался, делался еще более напряженным, совершенно утрачивал какой-то необходимый контакт со своей аудиторией. Лебедеву было совершенно незнакомо чувство зависти.

И уж совсем было смешно ему завидовать своему Саше Эйхенвальду!

Но он завидовал его удивительной способности держаться на кафедре так же спокойно, уверенно, просто и весело, как у себя за обеденным столом.

Он всегда вовремя улавливает, когда его аудитория начинает уставать, и дает ей возможность отдохнуть, оторвавшись от предмета лекции для того, чтобы рассказать веселую байку, притчу, увлекательную историю. Он умеет говорить по-разному с разной аудиторией, вживаться в другую жизнь — то, что Лебедеву всегда было особенно трудно.

И к Пречистенским рабочим классам он привлек Лебедева совершенно неожиданным аргументом.

— Понимаешь, Петя, — сказал он,— они без Лебедева могут обойтись. Про то, что профессор Лебедев измерил световое давление, они узнают не теперь, намного позже, и позже поймут, что это значит. Лекции ты тоже популярно читать не умеешь. Но тебе-то, тебе полезно будет

хоть немного, хоть на время отрываться от Моховой. Из-за своего характера, своей болезни ты замкнут в очень маленьком мирке. И ты от него устал, он тебе надоел, он тебя раздражает. Попробуй увидеть другое. Походи со мной в Нижне-Лесной переулок. Это ведь что-то совсем новое, совсем другое. Новые люди, новые интересы, совсем новый мир!.. Помнишь, ты, приехав из Страсбурга, говорил, что так бы тебе хотелось увидеть в науке, в образовании бескорыстие, отсутствие честолюбия, зависти... Так там, в Нижне-Лесном переулке, всего этого намного больше, чем на Моховой. Люди там учатся, движимые только желанием расширить свой мир, узнать про то, что касается не только их самих, но и всего человечества... А учат их люди только во исполнение своего нравственного долга. Знаешь, как я занят, сколько у меня разных дел, а я отдыхаю душой там... Попробуй походить туда со мной...

И действительно, это был совсем другой и особый мир. Там не только учились, там еще — попутно — шла напряженная, особая духовная жизнь. Несколько раз Лебедев был на концертах, которые там устраивались. Конечно, не без помощи того же Эйхенвальда. Он же сам был музыкантом, мать его была известной арфисткой, профессором Московской консерватории, играла в оркестре Большого театра, где пели две ее дочери. Брат Саши — дирижер оркестра.

Словом, одна лишь семья Эйхенвальдов могла составить программу целого концерта. Но Лебедева в этих концертах привлекало не столько участие знаменитых певцов и музыкантов, сколько выступления самих учеников Пречистенских классов.

Консерваторцы создали в классах настоящую хоровую капеллу. Руководил ею ученик композитора Сергея Танеева — Булычев.

Бог знает, как могли ученики проработать десять часов на фабрике, потом пробыть два-три часа на занятиях, а потом еще и оставаться на спевках... Но когда бы Лебедев ни приезжал в классы, он всегда в каком-нибудь свободном от занятий классе заставал спевку. За неплотно закрытыми дверьми звенел камертон Булычева, слышно было, как он что-то поясняет; гудели басы, осторожно пробуя силу голоса, звенели альты, потом становилось тихо, и из комнаты, где занималась капелла, сдержанно и сильно звучала мелодия народной песни...

...Да, наверное, не только спевками занимаются в Пречистенском переулке?.. Однажды, после лекции, он садился у классов на ждавшего его извозчика. Вдруг его окликнул захлебывающийся голос:

— Господин профессор! Господин профессор!

Поддерживая одной рукой шашку, к нему спешил какой-то полицейский чин.

— Пристав второй арбатской части Абоносимов! — представился Лебедеву запыхавшийся полицейский.— Вот этот ученик классов Поплавников говорит, что он у вас, господин Лебедев, получил эти учебники. Да?

Рядом с приставом стоял мрачноватый парень с несколькими книгами под мышкой. Из-под картуза на Лебедева глядели спокойные и уверенные глаза.

«Фу, какая противная история!.. Что в этих книгах? Прокламации какие или еще что похуже?.. Да не выдавать же этого паренька! И как смотрит уверенно... Он же знает, что я не могу помогать полицейскому...» Все это тогда мгновенно промелькнуло в мыслях Лебедева. Поудобнее усаживаясь в пролетке, он медленно сказал:

— Я давал учебники по физике господину Поплавникову. У вас больше нет ко мне вопросов?.. Трогай!..

Мда... Он тогда возвращался домой слегка ошарашенный. Вот как можно и в политику попасть... А почему он соврал этому... Абоносову, что ли?.. Почему он обязан врать, говорить неправду ради ему неизвестных и чуждых дел, которыми занимается этот парень с умными глазами и его уже и вовсе ему неизвестные товарищи?..

Он на следующий день задал этот вопрос Эйхенвальду. Тот пожал плечами:

— Парень играл наверняка... Он тебя не знает, может, один-два раза был на твоих лекциях. Но у него есть уверенность, что ученый, который ездит в Пречистенские классы читать лекции, скорее будет с ним, чем с полицейским. И видишь — не ошибся... А к политике я — ты знаешь — отношусь точно так же, как и ты. Но мы с тобой ученые, люди с положением, образованием, не нуждающиеся... А у него ничего нет, он не имеет никаких обязательств перед этим обществом...

— А перед мною — незнакомым ему человеком?

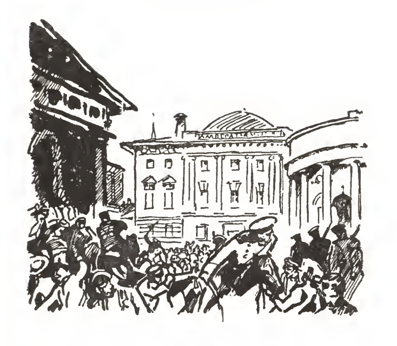
— А у него, вероятно, и учебники какие-нибудь были.

Кроме прочего... Так что он тебя и не очень мог подвести. Но они ведь находятся в состоянии войны, действуют по-военному. А у войны есть свои законы — противные, конечно, но законы... Проклятие которых в том, что им вынуждено подчиняться и гражданское, совершенно не воюющее население...

— А этот болван пристав, неужели он поверил этому рабочему?

— Как говорит твой Гёте: «Разве знает воробей, что на душе у аиста?»

Глава IV



Время выбора



Начали заниматься!

Сквозь неплотно прикрытую штору в окно пробивался яркий, почти летний, солнечный свет. Трудно было поверить, что сегодня середина января, пятнадцатое, что на улице должны трещать крещенские морозы и в морозном тумане красным пятном светится негреющее, мрачное — будто уже в последней стадии угасания — солнце... Как весною! И так же чувствуешь себя бодрым, свежим, как будто молодость, уже почти забытая молодость, к тебе вернулась!..

Веря и не веря этому, Лебедев перекатился по кровати, потом затих, прислушиваясь к тому, к своему внутреннему. Он ждал: придет боль или же нет?.. Нет! Никакой боли не было! И вообще все прекрасно. Петр Петрович, как всегда, прав. Он несомненно не только отличный физик, но и превосходный врач... И напрасно он считал, что тот понимает только свои «ухо, горло, нос». Нет, очень хорошо разбирается во всех болезнях, а его, Лебедева, болезнь знает лучше, чем опытный клиницист... Да, это даже не приступ был, а просто какое-то нервное расстройство из-за того, что поспорил с этим сухарем Лейстом... Нашел еще кого убеждать! И было бы на кого тратить силы!..

Да, он совершенно здоров, давно уже он не чувствовал

себя так хорошо, таким бодрым! И можно сегодняшний день провести по-человечески. К двенадцати пойдет в лабораторию, посмотрит все же неклепаевский прибор, проверит, что там Гопиус делает со студиозами... А после завтрака, до лаборатории, возьмет и просто проедется по Москве. Должен же он подышать московским воздухом, черт возьми! А потом? Надо еще повидаться с этим петербуржцем, с Владимиром Львовичем Молодинским... Заеду к нему в гостиницу, узнаю, как там у них в университете?.. А вечером? Вечером совет университета. Приглашение уже вчера служитель принес. Что это ректор начал чуть ли не каждую неделю собирать совет? Конечно, можно и не пойти... Все знают, что после татьяниного Лебедев заболел, и к нему претензий не будет. А почему все же ему надо уклоняться от неприятностей, которых все ждут на этом совете? Чем он лучше своих коллег, вынужденных сидеть и слушать всякие гадости? А что будут гадости, сомневаться нечего... Еще ни одного заседания совета не было, после которого не оставалось бы отвратительного чувства. «Ну, наелись вчера мыла?» — спрашивает иногда Гопиус после очередного заседания. И точно, остается омерзительное чувство, будто тебя накормили казанским мылом: беловато-сальным, с синими прожилками... Ничего! Он, Лебедев, сегодня чувствует себя в силах перенести и этот совет.

И все делалось так, как он с утра задумал, как ему хотелось. И завтрак был вкусный, и за столом было весело: все шутили и дружно смеялись, как это всегда бывало, когда Лебедеву было хорошо, когда он был здоров, удавался опыт, когда его студент высказывал на семинаре или коллоквиуме что-нибудь интересное, удачное... Он позвонил по телефону Саше и условился встретиться с ним вечером на совете, и позвонил Петру Петровичу — наговорил ему столько любезностей, что обрадованно удивленный Лазарев сказал: при таком настроении врачам у него делать нечего... Лебедев предупредил Пепелаза, что в лабораторию придет часам этак к двенадцати.

Служитель Панин пришел сказать, что извозчик уже ждет. Извозчик был знакомый: нанимал его помесячно. Лошадка — не то чтобы уж резвая, но притворялась почти рысаком. Лебедев даже засмеялся от удовольствия, когда вышел из подъезда. Мороз был небольшой, градусов на десять по Цельсию, небо — синее, ветра нет, снег чистый,

блестит на солнце мириадами искр всех цветов спектра... На вопрос извозчика, куда ехать, задумался на мгновение... Хорошо бы поехать в Кунцево, в огромный и прекрасный Солдатенковский парк. Кунцево — дорогое и памятное ему место. Сколько он там бродил с Сашей Эйхенвальдом, обсуждая планы устройства мира на основе совершенно новых научных открытий — таких дерзких, что все изобретения капитана Немо казались детскими играми... Но до Кунцева далеко, а ему нужно в лабораторию. В Петровский парк!

Дорожки в Петровском парке были расчищены. Он проехал мимо огромного ресторана «Яр». Ресторан был тих, отдыхал после ночной нагрузки. Дворники разметали мостовую, скалывали лед с тротуара. Лебедев проехал до большого круга в центре парка. По кругу неторопливо трусили несколько лихачей и пароконных саней с ранними пассажирами: не то выветриваются после кутежа, не то назначили здесь свидание... Его ванька так жалко выглядел среди этих богатых выездов, что Лебедев, пожалев своего извозчика, приказал ему ехать обратно, в университет...

В лаборатории пронесся гул, когда он, скинув шубу в профессорской раздевалке, спустился в подвал. Видно, студентам было известно, что профессор болен, и его появление было для них сюрпризом. Приятным сюрпризом, с удовольствием заметил Лебедев.

Ах, как бесконечно интересно ходить по лаборатории, смотреть, как возятся ученые у приборов!.. Конечно, ученые!.. Это для дураков чиновников они студенты, школяры, которых можно загонять в Манеж, переписывать, грозить каталажкой, унижать... А они — ученые!.. Люди, чьим призванием является разговор с природой! К ним следует относиться с таким же величайшим почтением, с каким относились несколько веков назад к тем, кто, по всеобщему убеждению, мог непосредственно разговаривать с богом... Да-с! Они еще не умеют вести этот диалог с природой, но они этому научатся в его лаборатории, это теперь является его главной задачей!

Остановился у большого воздушного насоса, который уже несколько недель налаживали студенты во главе с механиком Акуловым. Насос должен был создавать вакуум

в большой камере. Пока что, несмотря на все хитрости Акулова, нужного вакуума не получалось.

— А зачем вы, Алексей Иванович, поливаете шкив? И чем?

— Водой со спиртом, Петр Николаевич. Чтобы усилить сцепление шкива с ремнем. А то прокручивается...

— Гм... А вы замечаете, что жидкость попадает на кран насоса?

— Ну и что?

— А то, Алексей Иванович, что спирт быстро высохнет и сальник воздушного крана перестанет быть герметичным.

— Черт!..

— Может быть, и не так, а все же надо проверить. Вдруг в этом и окажется вся заковыка. Кстати, коллеги: обращаю ваше внимание на необходимость для ученого влезать во все, буквально во все мельчайшие технические детали изготовляемого прибора. Презираю тех, кто к эксперименту относится по-генеральски, по-офицерски. Дескать, унтер или кто там выстроит воинскую часть, а я потом выйду и благосклонно дам приказ начинать учение... Ученый-экспериментатор обязан влезать во все мелочи. Покойный Александр Григорьевич Столетов однажды мне рассказывал, что пять дней бился с одним опытом — ничего не получалось. Потом выяснилось, что в одном проводе контакт был плохо закреплен, ток прорывался, когда на крыше дворники сбрасывали снег... А все потому, что понадеялся на ассистента и сам не проверил контакты. С тех пор Александр Григорьевич не жалел своего профессорского времени, чтобы самолично, обязательно самолично, проверить все контакты в приборе. Вот так.

Два практиканта тряпицей с мелом доводили медные части своего прибора до умопомрачительного блеска. Лебедев, немного набычившись, стоял, наблюдая усердную работу студентов.

— Красиво, красиво!.. Можно прямо на выставку в Политехнический музей... А только прибор ведь не для выставки или музея предназначен. От него пока требуется одно: чтобы он безукоризненно работал. Еще неизвестно, будет ли он годен к опыту, а вы уже его доводите до предела элегантности и красоты... Нет-нет, пожалуйста!

Я вовсе не противник этого, когда прибор заслуживает и предназначен для публичной демонстрации. Тогда на самую внешность прибора переносится и уважение к существу опыта. Это, пожалуй, так... Но в работе?.. По мне, хоть веревочкой подвяжи, лишь бы был безотказным...

А вы, господа, не забудьте, что, к сожалению, большинство приборов мы, физики, строим не столько для выяснения истины, сколько для того, чтобы обнаружить заблуждение. А это, кстати, сказывается на самой идее прибора, его конструкции... Гёте говорил, что всегда легче обнаружить заблуждение, чем найти истину. Потому что заблуждение лежит на поверхности, а истина таится в глубине...

Гений!.. Гений сомневается в догматах, в признанных и узаконенных теориях, а вовсе не в своей собственной идее. В ней он совершенно уверен. Иначе и быть не может, иначе он должен был бы чувствовать себя в глубине души жуликом, что ли... Максвелл, когда пришел к своей теории света, в знаменитом учебнике физики без обиняков писал, что сконцентрированный электрический свет, вероятно, будет производить еще большее давление, нежели солнечный. И нет ничего невероятного в том, что тонкий и сильный луч света, падая на тонкую металлическую пластинку, легко подвешенную в пустоте, будет оказывать на эту пластинку вполне заметное прибором механическое действие... Это он в 1873 году написал, когда технически просто было невозможно произвести тот опыт, который он сам предложил!.. Что вы думаете, до меня никто не пробовал проделывать предложенный Максвеллом опыт? Десятки ученых пробовали! А когда не получалось, то начинали кричать, что максвелловская идея светового давления — собачий бред и такого же происхождения, как спиритизм у Оливера Лоджа... Да-с. Но Максвелл ввел предложенный им опыт в учебник физики!.. А ни Лодж, ни Крукс свое столоверчение и разговоры с духами в учебники физики небось не вносили... Не вносили!.. Только через четверть века удалось сделать опыт, доказывающий правоту Максвелла. Вот где сила научного предвиденья! И не надо ее путать со всякими выдумками для журнала «Мир приключений»...

Рассказ Лебедева был прерван шумом наверху, в вестибюле. Там хлопали двери, гудело множество голосов, и весь этот тревожный гам был вдруг перекрыт высоким,

надрывным криком: «Не смеете! Не смеете!..» Сверху по лестнице скатился бледный студент.

— Что там?— повернулся к нему Лебедев.

— Полиция... Вдруг в институт ворвалась полиция и потребовала, чтобы все предъявили свои студенческие билеты... Никто не желает. А полиция начала всех переписывать. И... и никто, конечно, не желает себя называть.

Все оживление, вся начавшаяся с утра сладость и радость жизни — все начало исчезать... Лебедев медленно стал подниматься по лестнице. За ним потянулись другие. Лебедев понимал всю серьезность полицейской акции, которая у них, у полиции, называется «перепись задержанных». В лучшем случае переписанных отправляли на профессорский суд, который мог ограничиться взысканиями. Они не так уж серьезно отразятся на судьбе студентов. Но чаще списки отправлялись к градоначальнику. И с его заключениями шли к попечителю или к министру. И все кончалось тем, что из университета выгоняли человека только за то, что он отказался предъявлять полицейскому свой билет или же сгоряча сказал какому-нибудь янычару, что он про него думает...

В большом вестибюле Физического института десятка полтора полицейских окружили и теснили в угол группу студентов. Пристав нервно постукивал карандашом по записной книжке и тщетно обращался к студентам:

— Господа! Категорически предлагаю предъявить студенческие билеты или назвать свои фамилии и местожительство...

Студенты, выкрикивавшие что-то обидное для полицейских, замолкли, увидев Лебедева. Пристав решительно повернулся к нему:

— Э... господин...

— Я профессор Лебедев. Что здесь происходит? Почему чины полиции мешают университетским занятиям?..

— Господин профессор! Студенты отказываются выполнять законные требования полиции о предъявлении студенческих билетов, чем нарушают приказ его превосходительства господина градоначальника. Мало того, они еще и не желают назвать себя!..

— Господин...

— Пристав Тверской части фон Вендрих.

— Господин фон Вендрих! Почему это вдруг полицейские чины пошли вслед за студентами?



— Они шли на противозаконную сходку...

— Они шли, господин фон Вендрих, ко мне на занятия!

— Но тут я вижу и из других факультетов... И из медицинского...

— Я глубоко почитаю ваши познания, господин фон Вендрих, позволяющие вам отличать медика от физика... Но осмелюсь сказать, что я, профессор физики Лебедев, а не вы, пристав Тверской части фон Вендрих, решаю, кому быть на моем семинаре, а кому нет...

— Но позвольте!..

— Не позволю, господин фон Вендрих! Не позволю! Я, я пригласил на свой семинар студентов из других естественных факультетов и не собираюсь просить на это разрешения ни у вас, господин фон Вендрих, ни у кого-либо другого из чинов полиции! Это возмутительно, что вы преследуете студентов только за то, что они выполняют требования профессуры... Я немедленно обращусь к ректору

и уведомлю о случившемся самого губернатора — Владимира Федоровича Джунковского.

— Да, но...— пристав несколько смутился от уверенного тона Лебедева,— но они же, студенты то есть, они отказывают себя называть...

— Они вам сказали, что идут на занятия?

— Да...

— Так почему полиция должна хватать студентов, занимающихся своим студенческим делом, хватать, переписывать, требовать документы?! Это вы, господин фон Вендрих, поступаете незаконно, не допуская учебных занятий студентов!.. И вы еще собираетесь с них взыскивать за то, что они не сразу желают выполнять унизительное и незаконное — да-да, я еще раз подчеркиваю — незаконное требование полиции!.. Господин фон Вендрих! Мне показалось, что я имею дело с интеллигентным человеком...

— Хорошо-с. Прошу господ студентов отправиться по аудиториям.

...Обратно в подвал Лебедев уже не вернулся. Все хорошее, что было с утра, медленно, как воздух из дырявой велосипедной камеры, выходило из него. Тихо подымался он к себе, на второй этаж. Что же делать с этим? Пойти к ректору?.. Алексей Аполлонович Мануйлов был избран ректором в самое неспокойное время — в октябре пятого года, и с тех пор, непрерывно виляя и исхитряясь, вел по опасному фарватеру тяжелый и непрочный корабль Московского университета. Мануйлов был профессором политической экономии и статистики, по убеждениям кадет, по характеру редкий трус и начальство вполне устраивал. Он дико боится левых, не допускает никаких студенческих сходок, безмерно старается быть приемлемым для всех... Чего к нему идти? Он всплеснет руками, воскликнет, что эти дураки студенты губят университет, что плетью обуха не перешибешь... Потом оглянется на дверь и тихо, этаким доверительным шепотом начнет передавать содержание какого-нибудь приказа, который он получил из министерства. И при этом делает идиотско-таинственную рожу, когда все равно вечером он этот приказ будет зачитывать на профессорском совете! Нет, идти к ректору бесполезно. И, кажется, бессмысленно вообще все, что делается!

Все! На сегодня его профессорская деятельность кончилась, если не считать присутствия на заседании совета.

Кажется, к этому скоро и сведется вся работа профессоров старейшего русского университета... Что он еще хотел сделать сегодня? Да, встретиться с Молодинским...

Лебедев решил дойти до гостиницы пешком. Авось выветрится из души это омерзительное чувство гадливости и беспомощности... Можно, конечно, дойти до угла Тверской, сесть на 25-й трамвай и проехать мимо Охотного, Лоскутной гостиницы, Исторического музея, через всю Красную площадь... Нет, лучше пешком!

Университетскими воротами вышел на Большую Никитскую, перешел узкую Моховую и зашел в магазин «Книжное дело». Магазин был старым, интеллигентным, университетским. Здесь знали хорошо всех профессоров, здесь ему оставляли книги, могущие быть для него интересными, через этот магазин он выписывал специальную литературу из Германии и Англии. Лебедев посмотрел



новый каталог, поговорил со старым, приятным приказчиком о новой беллетристике.

— А из поэзии есть что-нибудь новое, Иван Матвеевич?

Приказчик нагнулся и достал из-под прилавка книгу. Он был серьезен, только в глазах где-то глубоко пряталась улыбка.

— Вот, Петр Николаевич, на днях получили несколько экземпляров. Пока не распродали, держим для любителей-с...

Лебедев взял роскошно изданную, в тисненом переплете и с мраморным обрезом книгу: «Император Александр III в русской поэзии». Сборник стихотворений составил В. М. Бузни. Цена 1 рубль 50 копеек.

О господи!.. Лебедев вспомнил рассказ Черевина о любимых забавах этого глупого, необразованного хама, ставшего императором лишь потому, что помер его старший брат... И оказывается, какие-то личности его в стихах прославляли. И считают себя причастными к великой русской литературе, хотя ничем не отличаются от тех субъектов, которые с этаким независимым выражением на глупых мордах все время ходят взад-вперед по тротуару вдоль университета и меняются каждые шесть часов...

Лебедев вернул книгу.

— Благодарствую, Иван Матвеевич. Не подходит мне, дороговато...

— Да-с, дороговато-с. И другие господа профессора не берут. А господа студенты и подавно. Чтобы не смущать их, держим под прилавком...

Лебедев вышел из книжной лавки, оглянулся и пошел по дороге, знакомой ему с самого далекого детства. Напротив нового, покрытого завитушками здания гостиницы «Националь» стояла тяжелая, сундукообразная часовня Александра Невского. Некрасивый, несоразмерный конус часовни увенчивался огромным крестом.

Надо же такое построить! Какие прелестные церкви остались от допетровских времен. И какой кошмар настроили во второй половине прошлого века. Так обезобразить Москву!.. На Красной площади было, как всегда, шумно и грязно. У Иверской толпились нищие, возле Верхних торговых рядов лоточники расхваливали горячие пирожки, укрытые толстой, стеганой просалившейся ветошью.

Лебедев спустился к Василию Блаженному, прошел мимо него и вошел в узкий Васильевский переулок. Гостиница «Мининское подворье» была немного обветшалой, почтенной, настоящей старокупеческой. Чего петербургского приват-доцента занесло сюда, а не в модерн «Метрополя» или «Националя»? Впрочем, и сам Молодинский, с уже наметившимся брюшком, окладистой мягкой бородкой, спокойными, слегка ленивыми движениями, больше напоминал московского купца последней модификации, нежели сухого и нервного петербуржца.

В большом, светлом номере было тепло, уютно, пахло пылью и церковным маслом, перед большим киотом в углу мерцала лампадка. Половой быстро застелил стол ломкой от крахмала скатертью, принес маленький самовар, поставил посуду, бутылку вина, горячие калачи, масло... Понимает петербуржец!.. Только в Москве и можно так в гостинице чаю попить! И не в «Метрополе», а в «Мининском подворье»...

Молодинский передал привет от Бориса Борисовича Голицына, рассказал о его новом увлечении сейсмологией, строительстве им сейсмической станции... Но разговор быстро и неизбежно соскользнул все на то же... Лебедев встал из-за стола и зашагал по комнате.

— Ну хорошо... Мы здесь в опальном и подозрительном городе... Декабрь пятого нам, москвичам, не скоро простят и никогда не забудут. И от нас хотя до бога близко, но до царя очень далеко... А у вас же под боком все: Дума, Государственный совет, правительство, министерство... Речь же идет о том, чтобы понять самые простейшие, самые элементарные вещи! Нетерпимо, чтобы современная университетская жизнь укладывалась в нормы, которые уже и сто лет назад были невозможными! Презираемыми! Петербургская профессура более почитаема министерством, с ней больше считаются, почему вы не можете втолковать это петербургским чиновникам из министерства?!

— Господи! Что вы такое говорите, Петр Николаевич! Какие это петербургские чиновники? Наш пресловутый министр, почтеннейший господин Кассо, откуда? Он же профессор гражданского права Московского, а не Петербургского университета!.. А кто у нас в министерстве директор департамента просвещения? Бывший ректор Московского университета господин Тихомиров... А надо ли вам, Петр Николаевич, объяснять, что это за личность?

— Да уж, Владимир Львович, можно и не объяснять. Хорошо знаем, шесть самых трудных лет мучились с ним. Скотина удивительная! Доносчик, сам с полицейскими ходил сходки разгонять... Дослужился! А скажу вам, Кассо и Тихомиров недаром ненавидят наш именно университет. Они не могут забыть, как их презирали Столетов, Умов, Тимирязев, как их третировали Ключевский, Цветаев... С москвичами у них особые счеты. Они, как большая лейденская банка, давно накапливали ненависть к нашему университету. И ненависть эта когда-нибудь разрядится в особо подлой форме... Я об этом много раз думал, почти уверен в этом. Тихомиров разве сам ушел из университета? Как только в августе пятого года предоставили профессорским советам университетов право выбирать ректоров, Тихомирова немедленно и с треском выкинули! Да еще помощником ректора выбрали его врага — Михаила Александровича Мензбира. Тихомиров-то — лютый противник дарвинизма... Возится со своими шелкопрядными червями и проспал всю современную науку. Представляете, как ему доставалось от Мензбира и Тимирязева!.. Климентию Аркадьевичу нельзя попадаться на зубок! В полемике ударов не считает, и пощады от него ждать нельзя... Ох, все это нам, москвичам, припомнится!..

— Да, вам, конечно, не сладко. Да ведь и нам нечему радоваться. Борису Борисовичу много удается не потому, что министерство и академия ценят его новые и оригинальные теории. Помогает фамилия, знатные знакомые, августейшее покровительство... Вашего Столетова не выбрали академиком... Так и нашего Менделеева забаллотировали...

— Вот, Владимир Львович!.. Встретились два физика, из двух столичных университетов... Много мы о науке разговаривали? Поговорили мы с вами о том, что делается в Страсбурге, в Кембридже, в Манчестере? Нет! Только о министре, о директоре департамента, о чиновниках, только о том, что нельзя, невозможно заниматься наукой! Проклятие какое-то!

Домой Лебедев возвращался на извозчике. Вместе с утренней бодростью, радостью и надеждою ушло и солнце, ясная погода, синее небо... Дул противный, надсадный ветер, он бросал в лицо горсти сухого и колючего снега. Ле-

бедев кутался в шубу и думал о том, как хорошо начался этот день и как он плохо кончается... Да и еще не окончился. Еще впереди совет, на котором он не услышит ничего хорошего, за это можно поручиться...

На заседание Лебедев пошел вместе с Эйхенвальдом. Тот непривычно для него ворчливо корил себя за то, что идет на заседание. И вообще-то он не профессор, а только исполняющий его обязанности, и все эти административные дела ему нож острый, и идет он лишь для того, чтобы щипать Лебедева, когда того начнет трясти дрожь ненависти.

— Ладно, помалкивай...— огрызнулся Лебедев.— Я вижу, что ты от Московского университета желаешь только удовольствия получать. А это тебе не твои девичьи игры на Большой Царицынской... Мы с тобой сегодня выпьем чашу... Хлебанем, так сказать...

Действительно, уже начало заседания предвещало нечто более чем ординарное. Мануйлов был бледен, его обычная деловая живость исчезла, на этот раз на него давило что-то очень серьезное...

— Господа!— сказал ректор, оглядывая профессоров, рассевшихся полукругом в зале заседаний.— Господа!..

— Я пришел к вам, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие...— прошептал Эйхенвальд, наклоняясь к Лебедеву.

— Тихо! Догадываюсь, что пренеприятнейшее...

— Я должен,— продолжал Мануйлов,— я должен огласить приказ министра народного просвещения от одиннадцатого января сего года:

«Во исполнение постановления совета министров от 3 января сего года, за номером 765, приказываю:

1. Запретить любые студенческие собрания, по какому бы поводу оные не собирались.

2. Предложить учебному начальству не допускать незаконных студенческих собраний, а в случае возникновения оных, немедленно приглашать полицию, дабы такие противозаконные собрания разгонялись.

3. Предоставлять полицейским чинам право принимать необходимые меры для исполнения постановления совета министров, учебному начальству всячески содействовать полицейским властям в пресечении беспорядков.

4. Студентов, нарушивших данный приказ, немедленно исключать из университета, а при наиболее тяжких нару-

шениях дисциплины — без права поступления в любое другое высшее учебное заведение.

5. Учебному начальству установить строжайший надзор за студентами, не допускать студентов в помещение университета без предъявления студенческого билета, не просроченного, имеющего быть действительным, согласно инструкциям о студенческом билете...»

Члены совета, после того как Мануйлов закончил читать приказ, молчали так долго, что это глухое молчание было пронзительнее крика... Мануйлов сидел за столом и перебирал бумаги трясущимися руками.

— Александр Аполлонович! — Тимирязев поднялся с места, пожал плечами, провел рукой по седым, редеющим волосам. — Я не могу понять ни смысла, ни буквы зачитанного вами приказа и весьма вам буду благодарен за разъяснение. Господа́м профессорам надлежит исполнять полицейские функции. Означает ли это, что господа полицейские будут выполнять профессорские? Приказ господина министра настолько смешивает воедино обязанности учебных и полицейских властей, что я, право, затрудняюсь провести сколько-нибудь ясную границу между обязанностями тех и других... Я допускаю, что полицейский может захотеть стать профессором и соответственно себя будет вести. Но захотят ли профессора стать полицейскими?..

— Климентий Аркадьевич!.. (Лебедев даже на какое-то мгновение пожалел ректора — настолько Мануйлов был жалок и растерян.) Я отлично знаю, Климентий Аркадьевич, всю силу вашего сарказма. Только не думаю, что вам следует обращать свой полемический пыл именно по моему адресу. Я нахожусь в состоянии такого же недоумения, как и вы. Я, господа, являюсь выбранным вами главою нашего университета и имею право на внимание ваше и на поддержку. Вполне согласен, что оглашенный мною приказ министра народного просвещения делает обязанности ректората совершенно невозможными. Практически он означает, что ректорат перестает быть хозяином в университете, он должен делить эту власть с полицией. В этих условиях невозможна нормальная университетская жизнь. Я собираюсь ответить господину Кассо, что в условиях, создаваемых его приказом, я не в состоянии нести ответственности за положение дел и не могу продолжать исполнять возложенные на меня обязанности. Мои коллеги — Михаил Александрович и Петр Андреевич — вполне со

мною согласны и присоединяются ко мне. Я прошу вас, господа, поддержать меня, дабы министр знал, что ректорат выражает мнение всей университетской профессуры. Если никто не желает больше высказаться, то заседание совета можно считать закрытым...



Университет или участок?

— Звонил Евгений Александрович,— сказала утром Валентина Александровна.— Он просил, чтобы ты не шел в лабораторию, а подождал его прихода. Наверное, что-то неприятное после вчерашнего вашего совета... И голос у него был такой... Даже не шутил, как обычно.

Гопиус вскоре пришел. Действительно, с него как бы слетела его обычная смешливость, напускная небрежность. И двигался он не столь косолапо, как всегда... Отказался от чая, сел на стул и провел рукой по небрежно выбритому лицу.

— Что-нибудь плохое в лаборатории, Евгений Александрович?

— Если бы... Плохо в университете. В Москве. В России.

— А все же?..

— Значит так... Мудрое начальство, дабы не допустить присутствия в храме науки лиц посторонних и подозрительных, а также отделить овец (еще не исключенных студентов) от козлищ (уже исключенных), в мудрости своей повелело: поставить у всех врат вышеуказанного храма стражей с мечами на боку. Пускать алкающих знаний не исключенных студиозусов только с врат в Моховой, где и отбирать у них студенческий ихний билет. А выпускать их, апосля принятия ими порции науки, только через врата на Никитской, где и вручать им ихние студенческие билеты...Стало быть, Петр Николаевич, весь университет набит полицейскими. Командует ими, кажется, чуть ли не сам помощник градоначальника. У входа в уни-

верситет стоят толпы студентов, кои оживленно обсуждают состояние умственных способностей всех начальников — от градоначальника генерала Андрианова и выше... Только что до бога не дошли: об остальных уже высказались... Мануйлов бегает по университету весь белый и заламывает руки — уговаривает... Не надо вам ходить, Петр Николаевич! Занятий все равно не будет. Студенты невероятно возбуждены, ну какие там опыты могут у них в голове быть? Вы не выдержите, начнете нервничать, вступите в объяснения с каким-нибудь халдеем... И — сорветесь. Зачем это? Ведь только-только пришли в себя после приступа... Мы с Петром Петровичем и Аркадием Климентьевичем порешили припасть к вашим стопам и почтительно просить не ходить сегодня в этот кабак.

— Да ну вас, с вашим юродством, Евгений Александрович! Моих студентов, выходит, полиция будет гнать в шею, мои ассистенты станут с фараонами спорить, а их профессор будет кофей попивать и читать газетку-с?..

— Петя!— Голос Валентины Александровны был умоляющ.— Я прошу тебя: послушайся Евгения Александровича. Семинар все равно не состоится. Ты ведь знаешь, как Евгений Александрович строг ко всяким пропускам занятий. А если уж он говорит... И ты все равно собирался быть очень недолго в лаборатории. Сегодня же у Владимира Ивановича академический обед. Ты забыл?

Лебедев уже никак не мог вспомнить, кто прозвал ежемесячные обеды у Танеева «академическими». Меньше всего эти обеды напоминали то чинное, спокойное, почти величественное, что обычно связывают со словом «академическое»... Владимир Иванович Танеев был одной из самых больших достопримечательностей Москвы. По всем своим родственным связям, богатству, повадкам он был тем, что называется «большим барином». А в действительности Танеев был в глазах начальства одним из самых «красных» среди московской интеллигенции. Друг Маркса, человек, громогласно объявляющий себя социалистом, адвокат, бесплатно бравшийся за защиту политических, Владимир Иванович Танеев сохранил от своего барского происхождения прежде всего старомосковское хлебосольство, Каждый месяц, в строго соблюдаемый день, он

организовывал обеды с участием московских профессоров, писателей, артистов.

Инициатором этих обедов был самый близкий и любимый друг Танеева — Климентий Аркадьевич Тимирязев. Конечно, ему же, а не Танееву, не очень-то разбиравшемуся в пестром хороводе московской профессуры, и принадлежал выбор участников обедов. И Лебедев знал, что там сегодня будут только те, кто ему всегда приятны, что там будет свободный и непринужденный разговор, меньше всего похожий на обычные разговоры на профессорских обедах.

«Академические обеды» Владимир Иванович Танеев обычно устраивал в ресторане «Эрмитаж» в первое воскресенье каждого месяца. Лишь иногда, очень редко, эти обеды — с более узким кругом участников — переносились к нему на дом. В приглашениях, которые Владимир Иванович загодя разослал, и было сказано, что на этот раз «академический обед» состоится не в «Эрмитаже», а у него, в Малом Власьевском.

Лебедев и Эйхенвальд не спеша шли пешком по знакомым с детства местам: по Волхонке, через Пречистенские ворота, по богатой и нарядной Пречистенке. В старой, с детства запомнившейся, аптеке солнце высвечивало большие цветные шары; бородатые городовые стояли на углу особенно знатных переулков. Впрочем, знати теперь в Пречистенских переулках поубавилось. Еще блестел свежей краской недавно отремонтированный великолепный дом Селезневой на углу Хрущевского переулка. Там сейчас помещался Дворянский институт. За решеткой ограды был виден огромный густой сад, с дорожками, расчищенными от снега, с фонариками катка в глубине. А почти напротив особняк Станицкой стоял обветшалый, нежилой. С колонн парадного фасада осыпалась штукатурка, окна закрыты некрашеными щитами, камень из фундамента выпал...

Профессора свернули в Мертвый переулок.

— Знаешь, Саша, как я боялся ходить в этот переулок! Мне все казалось, что здесь повсюду должны быть мертвецы, что он поэтому так и называется... Даже тебе стыдился признаваться в этом страхе. И представь себе силу детских впечатлений: до сих пор питаю к этому милому и прелестному переулку какую-то скрытую неприязнь. Даже не хотел бы жить в нем... Вот дичь-то!..

— Нет, мне он никогда мертвым не казался. Помнишь,

тут был такой старый деревянный дом, во дворе жила девочка, в которую мы были с тобой тайно влюблены. Она шла в гимназию, а мы немного за ней поодаль... Так и не узнали мы, кто она и как ее зовут... Мне в этом переулке не нравится только то, что в нем сломали старые дома и понастроили эти особняки — они слишком богаты, чтобы быть красивыми.

— А что, у вас, людей искусства, богатое и красивое — понятия взаимоисключающие?

— Я, Петя, занимаюсь, как тебе известно, физикой, а не искусством. Но, кажется, Витрувий сказал, что тот, кто не умеет строить красиво, строит богато... Впрочем, ты сам с подозрительностью относишься к красивым физическим приборам.

— Красота физического прибора не в его внешнем блеске, а в физической идее, в нем заложенной. Красоту ему придает мысль, изящное решение задачи...

— Да ведь так обстоит дело и с архитектурным сооружением. И с картиной художника. И со стихотворением поэта. И с симфонией композитора. Ты, Петя, хотя и не признаешь никакого родства между наукой и искусством, но все же убедишься когда-нибудь, что это совсем не так. Есть какие-то общие законы, их связующие...

Справа остались новые богатые особняки Миндовского, Корзинкиной, Якунчиковой с огромными зеркальными — цельного стекла — окнами, с мрамором и вычурными перилами лестниц. Дальше стоял большой новый многоэтажный дом.

— Конечно, Петр, в таком доме наверняка удобнее жить, нежели в старом деревянном особняке со скрипучим паркетом, осевшими косяками, дымящими кафельными печами. А мне все же жалко эти старые дома... Ты бы хотел жить в таком новом большом доме?

— Я хотел бы жить до конца дней в моей старой и неудобной профессорской казенной квартире. Надеюсь, что так и будет. Мой настоящий дом — моя лаборатория. И для меня удобство квартиры зависит только от расстояния, которое мне нужно пройти от нее до лаборатории...

Они миновали церковь Успения на Могильцах и свернули в маленькие уютные переулки. Снег в них не расчищали, ездили по ним редко, и поэтому они были непривычно свежими, белыми, чистыми. А вот и Малый Власьевский переулок, вот и знакомый старый, деревянный,

отделанный под камень одноэтажный дом с мезонином. Как и положено в старом московском доме, крыльцо было во дворе, у ворот нетерпеливо перебирал ногами рысак, запряженный в маленькие изящные сани с синими электрическими фонариками на концах оглобель.

— О! Знаменитый выезд Вернадского здесь! Значит, Владимир Иванович уже рассказывает о последних новостях...

В комнатах танеевского особняка было тепло, пахло пылью, старыми слабыми духами, старыми книгами, что стояли кругом в шкафах, лежали на широких подоконниках или же просто стопками были сложены на полу обширного кабинета хозяина. На огромном кожаном диване, что шел полукругом вдоль стены, уже сидели участники традиционного обеда. Встретив гостей, хозяин ушел хлопотать о деталях обеда, к которому он относился не менее серьезно, чем к другим своим занятиям. Лебедев и Эйхенвальд обходили кабинет, здороваясь со всеми хорошо им знакомыми людьми. В углу знаменитого «танеевского» дивана сидели отец и сын Тимирязевы. Ассистент Лебедева Аркадий Климентьевич Тимирязев был странно схож и несхож со своим отцом. В нем не было ничего от нервного изящества и элегантности старого Тимирязева. Плотный, медлительный в движениях, неторопливо закругляющий каждую фразу. И только лицо с отцовской бородкой, глаза и рот неопровержимо доказывали его родство со знаменитым и буйным московским профессором.

Тимирязев, вздергивая голову, поминутно откидывая со лба непокорную прядь, яростно нападал на Вернадского:

— Нет-нет, Владимир Иванович, это мы — люди вне политики— можем только ужасаться, негодовать, высказывать свое возмущение... А вы — вы политик! Вы состоите в руководстве вашей этой кон-сти-ту-ци-он-но, так сказать, демократической партии! И притом вы государственный деятель — член Государственного совета, в вашей любимой Англии были бы пэром, лордом... И раз вы верите в конституцию и демократию, то повлияйте, повлияйте на ваше, извините за выражение, конституционное правительство!.. Тем более, что в руках вашей партии самые влиятельные русские газеты! В конце концов, речь же идет не об ответственном министерстве, а о возможности в России учиться, получать настоящее образование, двигать вперед науку...

Вернадский неторопливо отбивался от наскоков Тимирязева:

— Ну далась вам, Климентий Аркадьевич, наша партия. Вас кадеты приводят в неистовство, как красная тряпка — быка... Вы же отлично знаете, что у нас в России все ненастоящее: и партии ненастоящие, и парламент ненастоящий, и Верхняя палата — наш Государственный совет — это тоже ненастоящее. В Государственном совете я представляю русские университеты. Стоит Тихомирову и Кассо выгнать меня из университета, как я вылетаю из Государственного совета! Так дорого стоит мое пэрство? Ломаный грош!

— Но вы же и академик!

— Ну, бог с вами, Климентий Аркадьевич, нашли тоже влиятельное учреждение! Пыльные старцы во главе с великим князем... На меня смотрят со страхом. Они ведь совершенно искренне считают, что моя идея о зависимости кристаллической формы от физико-химического строения вещества вытекает из того, что я «левый», чуть ли не «красный», что я и науку желаю всю поэтому переиначить...

— Ха! «Левый»! «Красный»! Это кадеты-то!

— Так естественно... Академиков, состоящих в социал-демократической партии, еще, как вам известно, нет. Для них всё, что левее кадетов, уже анархизм, полный хаос, собачий бред, сапоги всмятку... Призвать этих господ к серьезному воздействию на правительство в защиту русской науки невозможно! Невозможно!

— Почему это у нас в России все обязательно должно быть императорским? Университет — императорский, академия — императорская...

— Российская...

— Ах, да ну все равно, все равно казенная! Почему бы нам не создать вольные, черт возьми, научные общества? Вольную академию! Где наши свободные российские научные общества? Даже Российское общество любителей естествознания и то императорское...

— Ну зачем так, Климентий Аркадьевич?..— тихо вступил в разговор Лебедев.— Есть у нас, в одной только Москве, Российское общество спиритуалистов, Русское спиритуалистическое общество для исследований в области психизма, спиритуализма и еще чего-то там... И есть московское отделение Российского теософического общества.

И московский кружок спиритуалистов-догматиков,— смотрите, и там есть какие-то разногласия!.. И есть уже и вовсе для меня загадочный и, наверное, очень научный кружок ментолистов. Теперь понял, какой же я невежда: даже не знаю, что это такое!..

— Откуда у вас, Петр Николаевич, такие глубокие познания из жизни спиритов? Обратите внимание, господа: только физики и математики включают интимные разговоры с духами в круг своих научных занятий. Нам, геологам, химикам, это и в голову не придет... Николай Дмитриевич, Иван Алексеевич, вы со мной согласны?

Зелинский — высокий, прямоносый — тихо улыбнулся, тронув рукой свою красивую, мягкую остроконечную бородку. Каблуков захохотал, его огромная голова на крохотном тельце тряслась от несдерживаемого удовольствия.

Лебедев смотрел на Вернадского серьезно, без признака улыбки.

— Так ваша геологическая наука, Владимир Иванович, еще не вышла из стадии, когда она только занимается классификацией того, что лежит на поверхности. А физику интересно заглянуть за горизонт любого интересного и необъяснимого явления. Вот если физик одновременно и талантлив и неумен, он обязательно любую свою глупость будет наряжать в научный, в физический наряд. Говорят, что уже появились проповедники, которые объясняют священное писание с позиций современной геологии: оказывается, каждый день сотворения мира надо считать геологической эрой, и так далее... Видите, в физику попы еще не лезут, а в геологию вашу устремились. Гёте по этому поводу сказал, что каков кто сам, таков и бог его... А секреты своих глубоких знаний я вам открою. Надо часто болеть, и чтобы перед тобой на стуле лежал справочник «Вся Москва». Очень, очень полезное чтение! Например, узнал, Владимир Иванович, что ваш коллега по Российской академии господин Соболевский является председателем Союза русских людей. А в Москве у него есть крупные политические конкуренты: и Всероссийский союз русского народа, и Московский союз русского народа, и Общество русских патриотов.

— Да, гнусное и отвратительное явление! — вмешался снова в разговор Тимирязев.— Ученый, человек, призванный воспитывать юношество, сам, добровольно становится на одну доску с протоиереем Восторговым! Тьфу!.. Ну, а

все-таки? Мы как-то отвлеклись от главного, что нас ждет. Что будет дальше делать Мануйлов? Что будет с нашим университетом? Вы полагаете, что Кассо можно запугать угрозой отставки ректора?

— Господа, господа! Прошу к столу! — зычно закричал Танеев, появившись в дверях.—Жаркое — дело серьезное, это вам не парламент, оно ждать не может, его надо есть вовремя... Продолжите дебаты за столом.

Эйхенвальд аккуратно вытер салфеткой свои шелковые усы и сказал, обращаясь к Тимирязеву:

— Действительно, было бы жаль портить такое жаркое приправой из разговоров о Кассо. Но теперь, когда оно съедено, могу вам, Климентий Аркадьевич, сказать: в храбрость почтенного Александра Аполлоновича я, как и вы, не верю. В отставку он не подаст. Кассо на него прикрикнет — Мануйлов сразу же подымет лапки кверху... Автономия русских университетов — такая же фикция, как и наша российская конституция. Мы выбираем ректорат, но утверждается он министром. Мы выбираем деканаты, но утверждаются они попечителем учебного округа. Все наши постановления могут быть в любой момент отменены не только губернатором, но и обыкновенным полицейским приставом. Правительство рассуждает так: кто платит за музыку, тот и заказывает танцы... Для начальства мы все такие же государственные служащие, как и приставы, столоначальники, чиновники консистории или любого присутственного места. И, согласитесь, в этом есть логика. Наш дорогой хозяин — человек, не зависящий ни от кого. Он имеет состояние, имя, положение в обществе. А что вы хотите от почтеннейшего Леонида Кузьмича Лахтина, о котором мы сегодня много и неуважительно говорили... Ему еще нет пятидесяти, а он уже превосходительство, орденки какие-то у него висят, вместе с действительным статским получил потомственное дворянство... И он, и его математика куплены правительством на корню... Нет, необходимо, чтобы русская наука могла жить и развиваться не только в рамках государственных, но и в других — более широких, более свободных...

Был ранний январский вечер, когда Лебедев и Эйхенвальд возвращались домой. Впереди них шел фонарщик, он останавливался у каждого фонарного столба, палкой поворачивал рычажок, дуговой фонарь вспыхивал фиолетовой вспышкой, затем медленно загорался. В неживом,

ослепительном свете медленно кружились большие, сцепившиеся снежинки.

— Не хотел с тобой, Саша, при всех спорить,— прервал молчание Лебедев.— Когда я отвечал Клименту Аркадьевичу, то имел в виду объединения ученых в общества не политические, а научные. Мне больно оттого, что собирается цвет русской науки и говорят, говорят только об одном — о политике! Я редко встречаюсь с Николаем Дмитриевичем Зелинским, и мне было бы так интересно поговорить с ним о его последних работах, касающихся химических свойств платины и палладия, это и нам, физикам, интересно... Я убежден, что будущее физики — в ее соединении с химией, с биологией. Мне так хотелось об этом поговорить с Иваном Алексеевичем Каблуковым... Ну вот, встретился с ними в милом доме, в обществе людей, преданных науке... О чем говорили? О Кассо!! Да будь он трижды проклят! Ну конечно, тот, кто платит за музыку, тот и танцы заказывает... А лучше мне будет, если разжиревшие Тюфаевы, Рябушинские, Корзинкины будут содержать меня и мою науку? Много ли у нас Шанявских да Леденцовых? Мамонтов хотел вырастить русское искусство, независимое от пошлых чиновников, а чем кончил? Попал в долговую тюрьму! Давайте предоставим политикам заниматься политикой. А мы, ученые, будем заниматься наукой! Ты лучше других знаешь, как мне противны, омерзительны полицейские крючки в университете, как я презираю компанию графа Комаровского... Но вот не где-нибудь, а в Московском императорском университете создан и существует Физический институт, каких не много есть в лучших университетах мира. И в этом институте есть созданная мною лаборатория. И свой вклад в науку она делает только потому, что я, мои помощники и ученики — мы все занимаемся наукой. И давайте будем ею заниматься и впредь! Как это говорится в восточной пословице? «Собаки лают, а караван идет вперед...»

— Ну, ну, Петя... И как это в тебе сочетаются купеческая деловитость и практицизм с наивнейшим идеализмом! Ты, как Архимед, просишь солдата не трогать свои чертежи... А ему на тебя и твои чертежи плевать!.. Чем дальше, тем меньше у тебя, да и у меня, да и у любого ученого будет возможность заниматься чистой наукой. Нас будут все больше, все активнее заставлять служить. Понимаешь, служить. Мало того — прислуживать.

— Да ты просто стал разговаривать, как мой Гопиус.

— А он не дурак, твой Гопиус!.. Поумнее многих других. И уж во всяком случае безусловно порядочный!

— Не спорю. Я глубоко почитаю Евгения Александровича, рад, что он у меня работает. Но все же идеалом научного работника для меня будет не мой помощник, а помощник Цераского — Павел Карлович Штернберг! Вот кто совершенно не интересуется политикой, а только чистой наукой, вот кто никогда и ни в чем от нее не отступит!.. Ну, вот мы и дома. Будь здоров, Сашенька. Может, зайдешь? Валя обрадуется.

— Нет, у меня еще не выполнена программа на шестнадцатое января. Вечером у меня соберется музыкальный народ, немного помузицируем. Если бы не боялся нарушить твой режим, вытащил бы и тебя с Валей... Возьму сейчас извозчика и поеду на свою Сущевскую. Спокойной ночи!

Нет, это были не занятия! Студенты приходили на семинар бледные, озлобленные, не очнувшиеся от только что перенесенного унижения. У входов и выходов в университете стояли городовые, проверяя студенческие билеты. В вестибюлях старого и нового зданий мелькали синие мундиры и серебряные аксельбанты жандармов. Конная жандармерия неторопливо объезжала по кругу: Моховая, Большая Никитская, Тверская, Шереметьевский переулок, Тверская, Моховая. Сытые молодчики, вовсе не в гороховых, а самых разных цветов, но одинакового покроя пальто, стояли на всех углах и провожали каждого прохожего взглядом внимательных, собачьих глаз. У входа в Манеж, напротив университета, дворники под руководством городовых разметали снег, вносили скамейки: готовились к приему гостей...

Лебедевские обходы утратили свой живой, веселый и такой радостный характер. Петр Николаевич обходил каморки в подвале хмуро, редко останавливаясь перед приборами, и не вел своих обычных речей, оснащенных цитатами из Гёте. К чему это все, когда он видит, что его ученики меньше всего думают о непонятных физических явлениях... Все их мысли заняты другим, они вполголоса разговаривают друг с другом, и Лебедев знает, что не о физике идет у них разговор.

Можно, конечно, вспылить, обрушить на студента всю силу известного, лебедевского шторма, шквала, урагана, тайфуна... Заявить, что сюда приходят заниматься наукой, а не политикой, что митингами, сходками и прочим следует заниматься в часы, свободные от лабораторных занятий... Но Лебедев знал, что даже самый большой лебедевский шквал не сломит упорства, нарастающего в студентах. А самое главное — самое главное было что-то внутреннее, не позволяющее ему это сделать...

«Что это? — думал иногда Лебедев, угрюмо подымаясь по лестнице из подвала лаборатории.— Что это — страх за свою популярность у студентов? Нежелание с ними ссориться? Но он ведь по отношению к студентам был так же всегда прям, непримирим, как и к университетскому начальству. Он никогда не потакал никаким и ничьим настроениям, чуждым интересам науки... Да, наука, конечно,— это великое и святое, ради нее стоит поступиться всей суетой и мелочностью политики... А человеческим достоинством? По сути, об этом идет речь!.. Не республики же требуют студенты, не чего-нибудь еще, а соблюдения правительством же введенной автономии, уважительного и достойного к ним отношения...»

Однажды в коридоре он столкнулся с профессором Лейстом. Тот несся по коридору с такой скоростью, что его длинная борода ходила из стороны в сторону. Увидев Лебедева, он остановился, схватил его за пуговицу сюртука. От волнения он говорил с еще более явственным акцентом, чем обычно:

— Вот! Вот, уважаемый Петр Николаевич! Вы еще имели спорить со мной... Дать студенту свободу возражать... Сначала они станут возражать профессору, потом... потом... Вот, почитайте, что они имеют писать, ваши любимые студенты...

Он вытащил из кармана сюртука какую-то бумажку и сунул ее Лебедеву. Лебедев неторопливо расправил тонкую мятую бумагу. Сбитым типографским шрифтом на ней довольно небрежно было напечатано:

«Товарищи! Мы переживаем критический момент. Обнаглевшее царское правительство в диком разгуле бешеной мести совершило и совершает грубое насилие над студенчеством. Организуя черносотенные банды академистов — шпионов, провокаторов, расстреливающих наших товарищей, открывающих отделения участков в стенах универси-

тета, оно уже превратило храм науки в полицейский участок.

Довольно! Мы не можем молчать! Забастовка!

Пусть наш протест сверкающей молнией рассечет свинцовые тучи мрачной реакции, повисшей над многострадальной нашей родиной! Пусть из края в край несется наш боевой клич:

Долой монархию!

Свободу политическим ссыльным и заключенным!

Да здравствует неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний, союзов!

Да здравствует свободная школа в демократическом государстве!

Социал-демократическая группа студентов Московского университета».

Лебедев усмехнулся... Господи! Какие же они зеленые юнцы, и почему в молодости так любят эти вычурные и многозначительные слова: «дикий разгул», «бешеная месть», «сверкающая молния», «свинцовые тучи»... Он сложил листовку и протянул ее Лейсту:

— Пожалуйте-с. А чего, Эрнст Егорович, вы так этим взволнованы?

— То есть не понимаю вас, Петр Николаевич! Социальные демократы открыто призывают к забастовке! И мало того,— Лейст нагнулся к Лебедеву, голос его перешел на шепот,— призывают к свержению. Против монархии, против государя императора!..

— Ну, если бы они против метеорологии,— невесело пошутил Лебедев,— тогда да, это вас касалось бы... А для защиты монархии у нас есть, слава богу, достаточно учреждений. Зачем профессору метеорологии волноваться?.. А куда вы ее несете?

— Ректору! Самому ректору! Пусть полюбуется, до чего доходит эта русская распущенность!

— Есть, Эрнст Егорович, русская пословица: в чужой монастырь со своим уставом не суйся... Не нравится вам русская распущенность, вот бы и сменили ее на прусский порядок. Конечно, в Берлинском университете такой распущенностью и не пахнет... И знаете, ваше превосходительство, у нас в России как-то неодобрительно относятся к тому, чтобы подобранные листовки относить начальству...

И великий русский государь Петр сказал: доносчику первый кнут...

— Вы есть немыслимое говорите, господин Лебедев! Вы есть профессор императорского университета!.. Вы...

Лебедев не стал дальше слушать. Он шел по гудящему коридору и думал, что надо бы бросить все это, поехать в Наугейм, не дожидаясь летнего сезона, полечиться и отдохнуть от полицейских, от Мануйлова, от Лейста... На повороте, у полукруглого широкого окна, знакомая растрепанная фигура размахивала руками перед спокойным бородатым человеком.

— Добрый день, Павел Карлович! Я не подозревал, Евгений Александрович, что вы иногда выходите из своего подполья на второй этаж университета. И даже удостаиваете своим разговором такую инертную, ленивую и аполитичную личность, как астроном Штернберг... Правда удивительно для Гопиуса, Павел Карлович?

— Ну, у магнита, как нас учат физики, всегда два полюса,— любезно улыбаясь, ответил Штернберг.— Но, несмотря на разность полюсов, мы с Евгением Александровичем придерживаемся одинаковых взглядов на ход учебного процесса, на некоторое совмещение разных наук на одном и том же направлении...

— Да-да, Павел Карлович, я вполне разделяю ваше убеждение, и если вы когда-нибудь придете на наш коллоквиум, то убедитесь, что астроному есть место там, где даже кристаллограф и зоолог присутствуют с интересом...

— Не премину воспользоваться вашим любезным приглашением, Петр Николаевич.

— Если только, Павел Карлович, наш университет будет существовать,— вставил Гопиус.— А то ведь мы все планируем семинары, коллоквиумы, а господин генерал-майор Андрианов, может быть, уже приказал отпустить пуд сургуча для опечатывания университетских дверей...

— Ах, Евгений Александрович,— с досадой сказал Лебедев,— все вы со своими кассандровскими разговорчиками... Брали бы пример с Павла Карловича, с его спокойствия, преданности науке, полному исключению из науки всего того, что ей мешает... Ну, чего вы смеетесь? Ничего для вас святого нет!..

— Нет-нет, Петр Николаевич! Уверяю вас, что Павел Карлович является идеалом ученого и вполне достойным примером для вашего скромного слуги...

— Ну, извините меня, господа. Я пойду, тем более что с моей стороны нескромно слушать оценки, которые я вовсе не заслуживаю...

Штернберг быстро ушел. Гопиус лукаво посмотрел ему вслед и повернулся к Лебедеву:

— Согласитесь, Петр Николаевич, что к Павлу Карловичу можно отнести слова Гёте: кто не слишком мнит о себе, тот лучше, чем он сам думает... Со всей серьезностью, на какую только способен, хочу сказать вам, что очень почитаю Штернберга, очень к нему хорошо отношусь...

— Ну, рад слышать. Вы знаете, что я к нему неравнодушен. Завидую той легкости, с какой он исключает из своей жизни, из своей работы всякое влияние политики, злобы сегодняшнего дня. Мне это не удается. О вас, Евгений Александрович, я уже и не говорю... Ну что, пойдем в подвал?

— Пойдем домой, Петр Николаевич. Ну чего мы будем гонять студентов, у которых сейчас в голове все, кроме науки? Можно, конечно, заняться несколькими нашими рабами физики. Но зачем ставить их в неудобное положение перед своими товарищами?.. Как сказано в священном писании: отойдем от зла и сотворим благо...

— Ну, отойдем...

И вот так день за днем, день за днем... Утром приходил Максим из лаборатории и докладывал, что Евгений Александрович на месте, а господ студентов совсем что, почитай, и нету... А в мастерской только Алексей Иванович что-то ковыряется на своем станке, а господ студентов сегодня с утра в мастерской не видать... А Аркадий Климентьевич, господин Тимирязев, на полчасика только зашел в лабораторию, а потом изволил уехать, потому за ним заехал их папенька, его превосходительство Климентий Аркадьевич... А господа студенты все больше в новое здание идут, к юристам. И там у них одни, прости господи, сходки и разные разговоры... И что это с людьми делается, непонятно просто, и чего будет, один бог знает...

От длинного рассказа Максима у Лебедева начинал ныть затылок. Потом звонил из своей квартиры Петр Петрович Лазарев и полчаса спокойно, словно ничего не случилось, ничего не происходит, рассказывал о своей работе,

о своих догадках по поводу того самого явления, о котором Петр Николаевич сказал... Наряду с ежедневным утренним телефонным разговором с Эйхенвальдом это были самые приятные полчаса за день. Но разговор с Сашей не был связан с наукой, он входил в состав дня так же естественно, как сон, завтрак, обед. Без этого немногословного ежедневного разговора день был бы неправильным, извращенным, чужим...

Иногда Эйхенвальд вытаскивал Лебедева на какое-нибудь ученое заседание в Харитоньевский переулок, в Дом Политехнического общества. Присутствовали там главным образом профессора из Технического училища, деятели инженерного общества. В них не чувствовалась такая растерянность, как у профессоров университета. Все это люди солидные, состоятельные. Они были инженеры, известные инженеры, которым всегда были готовы платить за работу бешеные деньги самые крупные заводчики России. В их отношении к Лебедеву и другим университетским профессорам, кроме почтения, сквозил и оттенок жалости: бедные, бедные! Кому вы служите? За что вы служите?.. Эйхенвальд для них был свой, и Лебедеву было лестно, тепло оттого, что его друг так свободно, так легко отказался от сытости, независимости. Отказался ради на-у-ки!..

Однажды Эйхенвальд отвез Лебедева в новый московский Дом учителя. Большое пятиэтажное здание на Малой Ордынке было построено типографщиком Сытиным. Когда, как-то в разговоре, Лебедев восхищенно отозвался о благородном поступке издателя «Русского слова», лабораторный мефистофель, Евгений Александрович Гопиус, совершенно серьезно сказал, что все огромные доходы Сытина прямо зависят от работы учителей; никто больше Сытина не заинтересован во всеобщей грамотности, благодаря которой его небольшие дешевые книги сейчас можно найти в самой далекой деревне, не говоря уже о городе. Сытин просто вернул учителям ничтожную часть того дохода, который они ему принесли.

Сейчас, осматривая прекрасные физические кабинеты дома, Лебедев вспомнил реплику Гопиуса и удивился, как это в таком душевном и добром человеке может существовать такое циническое отношение к благородству знаменитого издателя. Ну зачем же обязательно искать в таком поступке лишь одни меркантильные соображения?! Другие

же купцы и фабриканты не строят такие дома для учителей?

В большом красивом зале собрались преподаватели физики московских реальных и высших начальных училищ. На сцене стояли лебедевские приборы, привезенные из университетской лаборатории, висели отлично изготовленные схемы тех старых лебедевских опытов. Александр Александрович Эйхенвальд, которого, видно, здесь хорошо знали, представил собравшимся Лебедева и сказал несколько слов о значении лебедевских работ в современной физике. Лебедев слушал Эйхенвальда и, как всегда, восхищался сдержанному благородству и такту, с каким тот говорил о нем, своем друге, его глубокой вере в могущество науки, в ее будущее...

И Лебедеву было приятно выступать в этой новой для него аудитории. Он разрумянился, его речь утратила свою обычную холодность, чеканность формулировок. Он заговорил о том, какое значение имеет труд учителя физики для формирования научного мировоззрения, о том, что именно они, учителя, закладывают в душу ребенка или подростка ту любовь к научной истине, без которой не может быть подлинного ученого. И он вспомнил Бекнева — своего первого учителя физики, вспомнил скромный физический кабинет реального училища, где он впервые приподнял, как ему казалось, край того покрова, под которым находились самые великие загадки природы...

И на этот раз сдержанного Лебедева тронули горячие аплодисменты зала и милые учительницы, обступившие его после лекции и проявившие совершенно неожиданную эрудицию и смелость физического мышления. Гм... Наверное, воспитанницы Саши Эйхенвальда, с его Высших женских курсов...

Да, это был очень приятный вечер в эти невеселые дни. Еще ему была приятна несвойственная для него работа, за которую он неожиданно для себя взялся. Начал писать статью о Ломоносове. Обычно Лебедев насмешливо хмыкал, когда ему предлагали написать что-то не связанное с его непосредственной работой. А о своей работе писал, по словам остряка Гопиуса, как положено писать члену Лондонского королевского общества: чтобы была изложена самая суть без всяких излишних риторических красот. Но на этот раз Лебедеву неожиданно захотелось написать о гениальном русском ученом, основателе



Московского университета. Не только гениальные, предвосхитившие позднейшую науку, теории Ломоносова были близки Лебедеву. Ему оказалась близка и сама драматическая жизнь великого помора: его борьба за развитие образования в России, создание школы русских физиков; его столкновения с чиновниками, сановниками; его одиночество среди карьеристов, прожектеров, академиков, жаждущих еще одного орденка, еще одного чина...

Вот так и шли дни. Последние дни университетской жизни Петра Николаевича Лебедева.

Двадцать восьмого января в физической аудитории была назначена лекция. К удивлению Лебедева, аудитория была почти полна. Оказывается, еще есть в университете студенты, интересующиеся физикой!.. Лебедев успел только произнести первые слова лекции, когда в аудиторию вбежало несколько студентов.

Один из них вскочил на пюпитр задней скамьи амфитеатра и отчаянно закричал:

— Товарищи!

Студенты вскочили с мест и обернулись назад.

— Товарищи! На двенадцать часов в Большой аудитории юридического корпуса назначается общестуденческая сходка! Мы требуем, чтобы полиция не мешала нам заниматься, не хозяйничала в университете. Все землячества постановили прекратить занятия и собраться на общестуденческую сходку... Мы просим извинения у профессора Лебедева, но участие в протесте — дело чести каждого студента...

Лебедев закрыл тетрадь, сошел с кафедры и сказал Максиму, чтобы тот убрал и унес в лабораторию прибор. Через узкую дверь аудитории студенты выдавливались в шумный коридор.

— Полиция!!! — закричал кто-то в аудитории.

Внизу в вестибюле слышалась возня, звяканье шпор и шашек, угрожающие крики полицейских. К Лебедеву подбежали его ученики Кравец и Неклепаев.

— Петр Николаевич! Мы вас проводим... Лучше вам идти прямо домой, не надо вам объясняться с полицией...

В вестибюле Физического института полицейские заняли все выходы и переписывали студентов. Омерзительно пахло полицейским запахом: смесью пота, карболки, мокрой шерсти, дешевого табака... На дворе Лебедев глубоко вдохнул чистый холодный воздух. Но и двор был черен от полицейских шинелей. Цепи городовых расступились перед богатой шубой, перед бобровой шапкой профессора, перед его бешеным от ярости лицом...

Дома Валя посмотрела на него и бросилась капать в стакан какие-то идиотские успокоительные капли... Помогут тут капли...

Пришел Лазарев и своим обычным спокойным голосом рассказывал последние университетские новости. В юридическом корпусе собралось более восьмисот студентов, забаррикадировали двери, митингуют и не пускают полицию. Жандармы и городовые хватают студентов, идущих на сходку, арестовывают их и уводят в Манеж... Уже объявлено, что тринадцать студентов, не дававших профессору Соколову читать лекцию, приказом градоначальника генерала Андрианова подвергнуты аресту на три месяца...

— На три месяца? Без суда?!

— Да, пока на три месяца. Без суда. На основании чрезвычайных правил. Переписанных, очевидно, будут

исключать из университета. Боюсь, Петр Николаевич, что наша лаборатория, наш семинар будут очень затронуты этими репрессиями.

— А Мануйлов? А ректорат? А вся профессура? Что же мы все будем делать?

Как бы отвечая на этот вопрос, служитель принес наспех напечатанное на машинке приглашение. В пять часов ректор собирает экстренное заседание профессорского совета...

Заседание было коротким. Неожиданно тихим голосом Мануйлов сказал, что он, помощник ректора и проректор подали министру заявление о своей отставке. Они мотивировали этот трудный для них, необычный для профессоров императорского университета шаг тем, что в университете создалось положение, при котором выборному руководству, по сути дела, нечего делать. Фактическим хозяином университета стала полиция, роль ректора свелась лишь к тому, чтобы по телефону информировать полицию о том, что происходит в университете. Дело дошло до того, что полицейские уведомляют профессоров о том, сколько студентов в аудитории, приглашают их к чтению лекций и провожают до аудитории... Может быть, и есть профессора, согласные с таким унижением профессорского достоинства, но ректорат, обсудив создавшееся положение, посчитал, что они так действовать в пределах своих обязанностей не могут. Поскольку ректорат избран профессорским советом, профессора Мануйлов, Мензбир и Минаков просят своих коллег принять их отставку.

Все молчали. Тимирязев предложил, чтобы совет присоединился к мнению руководства университета о невозможности ректорату продолжать работать при таком положении дел. Все согласились. Зелинский предложил выбрать комиссию, чтобы составить коллективный доклад министерству в Петербург. Выбрали. Все на этот раз делалось быстро, без обычных длинных и церемонных прений. Молчали даже те, кто никогда не упускал возможности выступить в защиту порядка, «достойного императорского университета». Молчали Андреев, Лейст, Лахтин, Зограф...

С заседания возвращались также молча. В пустых коридорах не было ни одного студента. На лестничной площадке стояли городовые. Равнодушными глазами они смотрели вслед седым господам в сюртуках: эти тут зачем?.. Пуст

был и университетский двор. Под аркой ворот на Большую Никитскую стоял полицейский патруль, с улицы доносился цокот копыт конного жандармского разъезда.

— Не понимаю! — прервал общее молчание Лебедев.— Такого я не видел с осени пятого года! Что, собственно, произошло? Ведь не происходит ничего такого, что вызывало бы необходимость в этих полицейских облавах, в наводнении университета полицейскими и жандармами, во всей бестолковщине, что творится здесь у нас... Можно подумать, что в Петербурге решили просто-напросто прикрыть Московский университет, довести дело до полного прекращения его деятельности. Зачем?.. А наука? Как они могут обойтись без науки?

— Они могут! — откликнулся на вопрос Лебедева Тимирязев.— Для них важна не наука, а политика. И университет для них — не храм науки, а источник возмущения, рассадник мятежников, еще что-нибудь... А как они стараются посеять рознь между студентами... Одна эта история с академической корпорацией чего стоит! Помните, Петр Николаевич?

Лебедев, конечно, помнил эту совсем недавнюю историю, вызвавшую немало бурь в университетском совете. «Белоподкладочники» — несколько десятков студентов «из порядочных» — надумали, не без советов со стороны, создать академическую корпорацию «Наука». Новая студенческая корпорация должна была бы напоминать корпорацию образцового прусского университета. Корпоранты собирались носить синюю ленту через плечо, серебряный значок и еще какие-то цацки... Членство в корпорации должно было быть пожизненным, в почетные члены ее предполагалось ввести московских сановников, профессоров, заслуживших особое доверие корпорантов... Словом, в университете была бы создана внутренняя опора против «митинговщиков». Среди студентов этот проект вызвал недвусмысленную реакцию. Лебедеву об этом рассказал всезнающий Гопиус, когда однажды он застал в лаборатории шумное обсуждение проблем, даже отдаленно не напоминающих физику... Евгений Александрович Гопиус лаконично сказал, что главный вопрос, обсуждавшийся в связи с проектом корпорации, сводился к спору: просто ли бить корпорантам морду или же бросать в них бутылки с вонючей смесью, оставляющей неизгладимые следы на шикарных синих сюртуках членов корпорации...

На университетском совете Лейст и некоторые другие с восторгом поддержали предложение «академистов». Лейст, захлебываясь, говорил, что в корпорациях сложится дружба — на всю жизнь дружба! — молодых студенческих сердец, «они есть будут помогать друг другу в своей карьере и процветании»... Но большинство профессоров категорически выступили против того, чтобы посеять рознь между студентами, натравить одних на других, насадить в русском университете нравы буршей. Совет тогда отказал в создании корпорации. Хитрый Мануйлов воспользовался тем, что корпорантская форма-де нарушает университетские правила, запрещающие ношение неуниверситетской формы... Московские газеты, вроде «Московского листка», «Московских ведомостей», «Кремля», подняли истошный крик о том, что профессора на словах толкуют о свободе, а на деле мешают благонамеренным студентам иметь свою академическую корпорацию... «Академисты» пожаловались на решение совета в министерство внутренних дел. Министерство сейчас же ответило, что с его стороны нет возражений против создания корпорации «Наука» и что ему непонятны и причины отказа университетского совета в создании оной... На нескольких заседаниях совета зачитывалась тягучая переписка между ректоратом и министерством внутренних дел. Так тогда и зачахла идея новой «белоподкладочной» организации...

Следующий день начался с отвратительной сцены в Физическом институте. Внизу, в небольшой комнате, общество взаимопомощи студентов открыло свою книжную лавку. Издательства давали скидку студентам, в лавке можно было достать литографированные лекции, новинки научной литературы, в нее охотно захаживали не только студенты, но и профессора. Лебедев часто приходил в лавку, где можно было купить научные работы других русских университетов за несколько месяцев до того, как они появятся в фундаментальной университетской библиотеке. Да и там всегда были рады Лебедеву, и ему самому было приятно полчаса потолкаться среди студентов, поострить с ними, услышать последнюю выдумку студенческих острословов...

Лебедев успел только войти в лавку, когда в вестибюле института послышался топот тяжелых сапог, звяканье оружия... Лебедев выглянул. В парадную дверь вливалась шеренга солдат с винтовками наперевес. Солдаты!.. Такого

еще в университете не было. Какой-то офицерик, командовавший солдатами, тревожно-восторженно кричал:

— Охватывай, охватывай их со всех сторон!..

Солдаты прижимали несколько десятков студентов к балюстраде гардероба. По лестнице бежали городовые.

Неизвестно откуда взявшийся Гопиус взял Лебедева за рукав:

— Пошли, пошли отсюда, Петр Николаевич!.. Они, кажется, скоро сюда дивизион артиллерии приведут... Мало им городовых, солдат приволокли...

— А что случилось? Почему это все?

— А черт их... Говорят, в клозете какие-то прокламации нашли... Достаточно, чтобы вызвать роту солдат. Хорошо, что не выписали для этого Семеновский полк из Петербурга... Пойдемте, все равно сегодня занятия здесь не состоятся, сами видите...

— А на других факультетах?

— В новом здании Лейст, Комаровский и Челпанов читают лекции под охраной полиции. У дверей аудитории стоят усиленные наряды полицейских и солдат. Только пулеметов не хватает... Еще появятся!

— А зачем полицейские?

— Чтобы бастующие студенты не попытались сорвать лекции. А чего там срывать, в аудиториях сидит десяток академистов...

— Ладно. Пойдемте домой. Сходите, Евгений Александрович, в подвал, скажите Максиму: пусть все запрет. Эти господа с шашками еще влезут, побьют все приборы... Пусть запрет лабораторию!



Вот оно, время выбора...

Утро 2 февраля началось так же обычно, как и во все последние дни. Лебедев еще завтракал, когда пришел служитель Максим и сказал, что в лаборатории никого нет,

кроме механика да токаря Громова. Господ студентов нет, да, видно, и не будет. Университет совсем пустой, одни только городовые торчат у дверей аудиторий, а зачем — непонятно... Никто и не идет. Господин Лейст пришел в свою аудиторию лекцию читать, а там ни одного студента нет. Постоял, постоял у двери, да и обратно...

Ну что ж... Можно пойти к себе в кабинет и подумать над статьей в «Физический журнал». Если этак и дальше пойдет, он, кажется, писателем заделается.

Жена позвала Лебедева к телефону. Конечно, Саша звонит — его час... На этот раз Эйхенвальд не начал, как обычно, разговор шуткой. Голос его был встревожен и напряжен:

— Ты сегодняшнюю газету уже читал?

— Нет, не успел. А что там есть выдающегося?

— Есть, есть... Только я думаю, что это обычная газетная сенсация, основанная на слухах и предположениях. Мне все равно ехать сейчас на Девичье поле, я к тебе заеду на несколько минут. Ты же дома будешь, в университет не пойдешь?

— Да, конечно. В университете делать нечего. Приезжай, Саша!

Лебедев попросил горничную принести газету. Он взял большую серую простыню «Русского слова». Сенсация?.. Сенсации такая солидная газета обычно печатает все же на последней странице. Но на последней странице газеты ничего сенсационного, кажется, нет... Не считать же сенсацией вот это объявление:

В течение короткого времени ежедневно

ЖИВЫЕ

ДИКАРИ-ПАПУАСЫ

В МОСКВЕ,

привезенные с острова Новой Гвинеи,

с 1 дня до 11 вечера

будут показаны в помещении театра

„Гранд-Электро“.

Да... Своих дикарей хватает... Есть кого показывать в «Гранд-Электро»... Может быть, вот это?..

«Окружной суд при закрытых дверях слушал дело председателя издательства «Заря» Н. Н. Жердева по обви-

нению в богохульстве за издание романа Анатоля Франса «Остров пингвинов». Суд постановил признать г. Жердева невиновным, а книгу уничтожить».

Черт! Двадцатый век!! Сжечь книгу известного писателя! Чему же тогда удивляться! До сих пор существует цензура даже не на политические — на художественные произведения! Едешь за границу и стыдишься в глаза людям смотреть за все, что делается в родном отечестве!..

На первой странице «Русского слова» Лебедеву бросились в глаза знакомые фамилии. Вот оно!.. Маленькое сообщение:

«Поздно ночью из СПБ получено известие, что ректор Московского университета А. А. Мануйлов, помощник ректора М. А. Мензбир и проректор П. А. Минаков уволены от занимаемых ими должностей.

Все трое профессоров причислены к министерству народного просвещения».

Да... Как это так — уволены!.. Они подали в отставку с выборных должностей. Значит, следовало писать, что принята отставка, а не уволены... Увольняют дворников, мелких служащих, черт возьми, а не руководство Московского университета, известнейших профессоров, членов иностранных институтов!.. И потом, вчера еще вечером Мануйлов ничего об этом не знал. Неужели министерство, не уведомив о принятии отставки, сообщило об этом официально в печать? Нет, этого все же быть не может! Каким бы подлым ни было министерство Кассо, они все же соблюдают какие-то внешние приличия... И формулировка газеты еще не означает ничего...

По телефону позвонил Лазарев. Позвонил старик Умов. Позвонил Сергей Алексеевич Чаплыгин... Разговоры были одинаковые. Читали?.. Как вы думаете, правда?.. В такой формулировке, не сообщая Мануйлову!..

На этот раз звонок был дверной. Приехал Эйхенвальд. Даже не улыбнулся, здороваясь с сестрой, племянником, Лебедевым. И, увидя обычную мирную картину утреннего семейного завтрака, сказал:

— Ну, не будем мешать, Петя. Пойдем к тебе.

В кабинете рухнул на диван:

— Кажется, они всерьез действуют. Теперь я понимаю, что все эти непонятные действия с вводом войск, жандармов, полиции в университет — все это было задумано. Обдумано. И недаром этого, в общем-то, глупого, но срав-

пительно безвредного Жданова заменили на посту попечителя Московского учебного округа самим Тихомировым. Во-первых, ненавидит московскую профессуру, которая его выгнала из университета, во-вторых, был директором департамента, дружок Кассо... И прибыл к нам в Москву только что перед самым разворотом событий...

— Саша, я полагаю, что газета могла напечатать неточно. Для них, газетчиков, что принять отставку, что уволить — все едино... А отставка-то была подана. И с одобрения всего университетского совета!

— Последнюю строчку телеграммы из Петербурга газетчики не могли придумать. А в ней-то все и дело.

— То есть?

— «Причислены к министерству» означает, что они уволены, понимаешь, у-во-ле-ны из профессоров университета! За то, что они подали в отставку с выборных должностей, министр их увольняет, как швейцара, увольняет из московской профессуры! И вообще из университетской профессуры, потому что он, Кассо, их больше не утвердит профессорами ни в один русский университет!

— Нет, ничегошеньки не понимаю! Как же это так? Ну, Михаил Александрович Мензбир хоть заслуженный профессор, он свои три тысячи в год будет получать... А Мануйлов, а Минаков? Минакову до «заслуженного» и пенсиона осталось совсем немного... Как же это так? Так поступать с профессурой!..

— Я думаю, что все это сделано, как пишут в завещаниях, «в здравом уме и твердой памяти». Они все обдумали, они решили поставить на колени Московский университет. А затем уже нетрудно будет поступить так и со всеми другими. Начали с нас. Хочешь получать свои две тысячи семьсот, дождаться пенсиона, получить «действительного статского», парочку второсортных орденков — будь холуем, ползай в ногах таких тварей, как Кассо или Тихомиров...

Разговор Эйхенвальда и Лебедева прервала вошедшая в кабинет Валентина Александровна:

— Вот, Панин принес из ректората... Кажется, Саша, тебе не придется ехать в свое девичье царство: ректор собирает экстренное заседание совета.

— Да. Как любят писать в кинематографе: «И все завертелось перед его глазами...» Валя, милая, скажи, пусть горничная выйдет на улицу и отпустит моего извозчика.

Я уж дождусь у вас начала заседания. И дай мне сюда кофе. Это твоему Пете все запрещено, а я еще попиваю его. Хотя впору теперь не кофе, а что-нибудь покрепче выпить...

На совет собралось непривычно много людей. Больше шестидесяти человек. Лебедева и Эйхенвальда встретил нестройный гул голосов. Заседание еще не началось. Разбившись на группы, профессора — кто тихо, почти шепотом, а кто громко, во весь голос,— обсуждали газетное сообщение. И постороннему человеку, пришедшему сюда, легко было бы определить, как расслаивается университетская профессура, кто к кому тянется.

Декан физико-математического, профессор Андреев, поглаживал свою еще заметно рыжую козлиную бороду и хихикал сквозь длинные зубы:

— Не думал, хе-хе, не думал, что наш Александр Аполлонович из-за такого пустяка экстренный совет собирать будет... Вчера совет, сегодня совет... Газетчикам что! Им надобно строчки набирать, их-то по строчкам оплачивают... Вот они и придумывают эти строчки. А не кто другой, как ректор Московского императорского университета, из-за сообщения какого-то строчкодера собирает всю профессуру на совет... Правда, как-то странно это, Николай Дмитриевич?

Зелинский, как всегда, был невозмутимо вежлив и тих.

— Полагаю, Константин Алексеевич, что вам, как математику, следовало бы точнее формулировать... Думаю, что газетное сообщение соответствует действительности. А ежели это так, то касается оно не трех профессоров университета, а всех нас без исключения. И правильно сделал Александр Аполлонович, собрав нас.

— Утка-с! Обыкновеннейшая газетная утка! Как можем мы что-либо обсуждать, не имея никаких официальных уведомлений! И что это за порядки стали нынче в университете?! На всякую выдумку Власа Дорошевича профессура сбегаться будет! На каждого фельетонщика не хватит нашего времени! Да!

И когда бледный Мануйлов открыл заседание, большинство считало, что ректор поторопился собрать совет, поверив в сообщение петербургского корреспондента «Русского слова». Тихий Лахтин, обливаясь потом смущения и поти-

рая маленькие руки, подошел к столу и просительно сказал:

— Господа! Господа! Зачем же спорить? Пусть Александр Аполлонович съездит к попечителю и узнает. Александр Андреевич, так сказать, питомец нашего университета, был нашим ректором, так сказать, патриот нашей, так сказать, общей альма-матер... И он нам скажет, как обстоит дело...

Мануйлов ехать к попечителю отказался. Решили выбрать людей, далеких от всякого фрондерства: юриста графа Комаровского и географа Анучина. Выборные уехали. Заседание прервалось. Но к столу вдруг присел Тимирязев и тонкой своей рукой слегка постучал по массивной хрустальной чернильнице:

— Дай бог, господа, чтобы газетное сообщение оказалось вымыслом. Я-то не думаю, чтобы это было невозможным, как полагает большинство моих почтенных коллег. Но если это правда и наши коллеги, которых мы в свое время удостоили своим доверием, выбрали и поддерживали,— если они действительно уволены из профессуры, то они должны знать, что мы с ними останемся и после того неслыханного и невиданного, что с ними сотворили. Мы единогласно поддержали их заявление о невозможности руководить университетом в сложившейся обстановке. И столь же единогласно должны быть с ними и сейчас. Думаю, что ни один порядочный человек не отступится от своих товарищей, выполнявших наши же решения. Я, во всяком случае, часу не останусь в Московском университете, если газетное сообщение верно...

— Ну, ну, Климентий Аркадьевич,— с досадой сказал из своего угла Чаплыгин,— кроме вас, тут еще есть порядочные люди... Если можно плевать в лицо профессорам, пусть министерство назначает на кафедры приставов из ближайшего полицейского участка... Каждый из нас найдет место, где его оценят по достоинству...

Делегация вернулась от попечителя необыкновенно быстро. Граф Комаровский с ловкостью опытного политика поднял руку, успокаивая аудиторию, и сказал:

— Как здравомыслящие и спокойные люди полагали, сообщение газеты ничем не подтверждается. Александр Андреевич не получал никаких сообщений из Петербурга, знает только то, что напечатано в «Русском слове», и допускает возможные неточности...

— Врет! — вдруг тихо, но так, что это было услышано всеми, сказал Лебедев. (Соседи на него оглянулись: профессор Лебедев, аполитичный Лебедев!..) — Тихомиров все знает! И если он не опроверг категорически газетное сообщение, а сказал, что допускает неточности,— значит, врет. И я теперь верю, что все это правда, что трех известных профессоров выкинули из университета, как проворовавшегося каптенармуса какого-нибудь... Такого унижения Московский университет не испытывал ни разу за сто пятьдесят лет своего существования!..

Заседания уже не было. Мануйлов сидел в стороне и молчаливо чертил пальцем по зеленому сукну стола. Комаровского сдуло куда-то в сторону. Тимирязев — как опытный лектор в Большой аудитории Политехнического музея — завладел всеобщим вниманием:

— Только что мой сын, Аркадий Климентьевич, говорил по телефону с Власом Михайловичем Дорошевичем. Влас Михайлович всего час назад связался по телеграфу с Петербургом и получил исчерпывающие заверения в абсолютной точности сообщения их петербургского корреспондента. В редакции известен даже номер приказа управляющего министерством народного просвещения... Полагаю возможным, что господин Тихомиров передаст официальное распоряжение господина Кассо после закрытия нашего заседания, после того как мы все разъедемся по домам. Сейчас уже совершенно очевидно, что среди университетской профессуры имеется достаточное количество людей, не желающих допустить такого унижения их человеческого и корпоративного достоинства. Не будем себя обманывать, господа! Речь идет о разрушении старейшего и, как я думаю, главнейшего Российского университета. Я предлагаю, не откладывая, обратиться к управляющему министерством с обращением, что совет не может допустить и мысли, что господин управляющий министерством народного просвещения содействует своими мерами разрушению старейшего в России Московского университета... Это уж Summum Summarum — предел пределов...

— Делегация! Делегацию в Петербург! — выкрикнул кто-то из профессоров.

Решили избрать делегацию, чтобы она сегодня же, с вечерним поездом, выехала в Петербург и доложила Кассо, что вся университетская профессура настаивает на том, чтобы Мануйлов, Мензбир и Минаков были оставлены про-

фессорами университета, и что увольнение их чревато уходом из университета многих крупнейших ученых. Делегатами было решено послать тех же: графа Комаровского, Анучина, присоединив к ним такого почтенного человека, как профессор медицинской химии Владимир Сергеевич Гулевич...

Домой Лебедев пришел быстро и один. Даже Сашу просил не сопровождать его. Тот понимающе кивнул головой. Дома, непривычно тихо для домашних, сказал, что обедать не будет, пойдет к себе и просит, чтобы к телефону его не звали — кто бы ни звонил... Валентина Александровна испуганно на него посмотрела, но Лебедев, против обыкновения, был вовсе не раздражителен, не возбужден. Было в нем упорное спокойствие, угрюмая сосредоточенность.

— Мне, Валя, надобно побыть одному. О совете тебе Саша, наверное, расскажет. А я хочу посидеть в кабинете, поразмыслить о всяких делах. Прикажи подать мне туда чай с чем-нибудь...

Как рано темнеет!.. Какой Саша сразу все понимающий, какой сразу меня понимающий!.. Не хочет ничем и никак воздействовать на меня, на мое решение... Его положение другое, совсем другое... Он недавно еще был первым выборным директором Высшего технического, он и теперь желанный гость там, на Высших женских, да везде, собственно. Такого блестящего лектора, преподавателя, организатора в Москве, да, пожалуй, и в Петербурге днем с огнем не найдешь. И потом, он инженер, в свою инженерию он может уйти в любую минуту, будет зарабатывать в несколько раз больше, нежели своим профессорством...

Тимирязев уже практически добился всего. Он сделал свои главные работы, его не беспокоит материальная сторона жизни — заслуженный профессор, получает свои три тысячи и старается не замечать всей этой пакости! И у него есть еще Петровская академия...

Сергей Алексеевич Чаплыгин—директор Высших женских курсов. Профессорствует в Высшем техническом. Да и вообще ученый такого ранга, что своими работами известен во всей России. Да и за границей. Таких механиков, как он и Жуковский, и за границей не найдешь...

Ну, Владимир Иванович Вернадский плюет на всю эту министерскую банду! Он уже академик. Бог в своей геологии. Одна экспертиза у какого-нибудь горнопромышленника ему даст возможность спокойно год работать...

Стало быть, надо принимать решение, не оглядываясь ни на кого, исходя только из того, что у тебя все не так, как у других!

Он — экспериментатор. Он не может работать без того, что в этих идиотских университетских бумагах называется «предметами». Этих «предметов» у него почти на тридцать тысяч. Собирал по крохам, унижался, выпрашивал... Создал единственную пока в России лабораторию, физическую лабораторию, не хуже любой европейской... Этой лаборатории он при уходе лишается сразу же. А что он будет без нее делать?..

Он уйдет из университета, и, конечно, вместе с ним уйдут все. В этом можно не сомневаться. Не только Петр Петрович Лазарев, уйдут все ассистенты и лаборанты. Уйдут Вальберг, Гопиус, Кравец, Лисицын, Тимирязев, Титов, Яковлев... Он добился оставления при университете Галанина, Кандидова, Млодзиевского, Успенского, Пришлецова... Из них он собирался создать основу будущей кафедры физики, настоящей современной физики. Что будет теперь с ними?.. А студенты? С таким трудом, с таким тщанием он искал среди них людей с искрой исследователя... И нашел, нашел много таких, которые могут стать украшением русской науки! Такие, как Ильин, как Аркадьев, Неклепаев, Средницкий... И — зачем скрывать от себя! — они пришли, эти студенты, на факультет, чтобы быть учениками не кого-нибудь, а Лебедева!.. Что же они будут делать теперь?..

В молодости, после Страсбурга, когда начинал свою жизнь физика и его представляли какому-нибудь ученому, не забывали прибавить: кончил Страсбургский, школа Кундта... Тогда, в своих честолюбивых юношеских мечтах, ему грезилось: вот так когда-нибудь о молодом физике будут уважительно говорить: «окончил Московский, школы Лебедева». И, собственно, он уже почти достиг этого... Да, есть, есть московская школа физиков, школа Лебедева... Еще хоть десяток, ну пяток лет!.. Чтобы эта школа набрала силы, чтобы она могла существовать, расти, развиваться и без него. Зачем ему себя обманывать? От его когда-то железного здоровья уже ничего не осталось. Ему теперь

дорог каждый — нет, не год, а месяц, неделя, каждый день работы!..

А семья?.. Он начинал жизнь, не зная никаких материальных ограничений: поездки за границу, по России, собственный выезд, всевозможные развлечения — все без отказа... Теперь он один из самых бедных профессоров университета. У него есть только его годовой оклад в 2400 рублей да 300 «кормовых», как они смешно называются, да еще казенная квартира... Ему самому, при теперешних его потребностях, этого больше чем достаточно! Но семья? Всего четыре года назад он женился на Вале... Взял на себя ответственность за нее, за ее маленького сына. Что будет с ними?..

Ну хорошо, имя Лебедева достаточно известно, он член всяких там иностранных институтов, член Лондонского королевского общества, его охотно пригласят читать и в Высшем техническом и на Высших женских... Но читать лекции он не любит да и не умеет! Это не его дело, не его призвание... А лаборатории — лаборатории нет! Она останется здесь, в университете, если он его покинет...

Опять закололо... Где эти капли проклятые?.. Да, в сорок пять лет, с его здоровьем ему уже не подняться... Заново начинать все он не сумеет. В этом ему не следует обманываться. И они это знают, они это хорошо знают! Небось эта старая гадина, этот Тихомиров, сидел перед списком всех профессоров и подсчитывал, кто может уйти, а кто останется. Кто увяз плотно, кому не вытащить из этой липучки ни ног, ни крыльев... Про него они знают, что он увяз... Увяз в этих «предметах», которые оцениваются всего в тридцать тысяч и на которые он потратил двадцать лет жизни, все соки своего мозга, все свое здоровье...

И ради кого? Ради солидарности с малосимпатичным ему Мануйловым? Мануйлов — он тоже политик, кадет, кажется... Член Государственного совета от университетов. Связан с богатыми промышленниками. Он не пропадет никогда, нигде... Собственно говоря, в ректорате ему приятен только Михаил Александрович Мензбир. Но у них с него взятки гладки! Он уже заслуженный профессор, он не зависит ни от кого, его безупречная репутация знаменитого естествоиспытателя такова, что каждое учебное заведение

почтет за честь, чтобы он у них читал. Тем более, что таких дивных лекторов в России не много...

И потом, это же и есть та политика, из-за которой он нещадно всегда ругает Гопиуса, которую он старается не допустить у себя в лаборатории! Климентий Аркадьевич — тот никогда не чурался политики, он и не скрывает, что солидарность профессуры с уволенными носит политический характер. Выступление профессуры, коллективная отставка — это есть акт протеста против Кассо, против министерства, против совета министров, против правительства Столыпина, против... Да-да, против!.. Против этого жалкого человечка в полковничьем мундире, против царя... Против всего строя, при котором можно цвет национальной интеллигенции, науки выгонять, как провинившихся мелких служащих... Конечно, это все чистая политика! Но он, Лебедев, всегда же говорил, что наука настолько выше политики, что для него нет вопроса о выборе!.. А сейчас?..

Все подсчитал? Кажется, все. Что же можно противопоставить этому длинному ряду совершенно железных аргументов? Ну, что?!

Совесть. Гм... Какое странное, неопределенное понятие. И совершенно непреодолимое! Отступиться от совести... Как это говорят в народе: «Потерять совесть»... Что же теряется вместе с совестью? Достоинство. Человеческое достоинство. Если он останется, то он поступится своей совестью, которая ему предписывает быть на стороне жертвы, а не палача. Он себя поставит в положение человека, молчаливо согласного с палачом. Почему с палачом? Ну, не с палачом, так со скотиной, мерзавцем, гадиной, нечеловеком! Вот с кем он останется!..

На коленях останется! В лакеях. Как Лейст, как Лахтин, как Комаровский... И что ему вся наука, если он себя будет постоянно, ежедневно и ежечасно ощущать безнравственным человеком!..

И вдруг Лебедев вспомнил задымленный пьяный ресторан «Эрмитаж», площадку перед банкетным залом, растрепанного, захмелевшего Гопиуса и свой разговор с ним... И как Гопиус посмотрел на него внезапно протрезвевшими и ясными глазами и спросил, что он, Лебедев, будет делать,

если ему придется выбирать между наукой и порядочностью?.. Как он тогда вызверился на нахального и нетрезвого ассистента! И вот всего немногим более двух недель прошло, а этот выбор перед ним встал. Встал! И вправду, именно политика поставила этот выбор. На одной стороне его безмерно любимая наука. Но если выбрать ее, то останешься на весь остаток жизни униженным, оплеванным, в лагере подонков и холуев... А на другой стороне — политика, которую он не любит, которая ему чужда и неинтересна. Но за ней — порядочность, человеческое достоинство... Ты лишился всего, но ты не стоишь на коленях, ты стоишь во весь рост, в лицо тебе не воняет тухлятиной лакейской, а дует свежий ветер свободы и достоинства...

— Подожди, Валя, не трогай меня... Извини, но мне необходимо побыть одному. А есть я все равно не хочу. Да и не могу. Капли? Капли я выпил, видишь... А сейчас мне ничего не надо. Надо еще разобраться...

А чего еще разбираться! Все уже подсчитано. Взвешено и подсчитано. Нельзя, оказывается, отделять науку от человека, от всего человеческого... Он всегда думал об этом не как экспериментатор, а как теоретик. Всегда об этом говорил своим ученикам, спорил еще с кем-то. Никогда не думал, что ему придется проверять эту теорию экспериментом. На себе. Тем, что называется жестким экспериментом. Окончательным, решающим.

Неужели ему придется расстаться с наукой? Доживать оставшееся время лектором, литератором... Стиснув зубы, будет читать лекцию — наверное, куда-нибудь да пригласят... Писать иногда. Не о своих работах, а о других. Господи, как невкусно!..

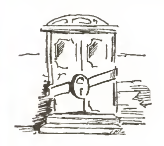
Ну, что я как Христос в Гефсиманском саду!.. Никогда и никто меня не знал вот таким — рефлексирующим, копающимся в своих сомнениях, раздираемым противоречиями. Всегда был ясен, практичен, деловит. Таким и останусь. Хотя бы в памяти меня знавших...

Итак, выберем для сего торжественного случая подходящий лист бумаги. Все же останется в архиве... Ну-с...

«Его превосходительству, попечителю Московского учебного округа от ординарного профессора Московского императорского университета Петра Николаевича Лебедева.

Считая себя целиком солидарным с избранным всеми профессорами императорского университета, а следовательно и мною, ректоратом, не могу согласиться с приказом управляющего министерством народного просвещения об увольнении г. г. Мануйлова, Мензбира и Минакова от должностей профессоров университета, чьи обязанности они выполняли с честью. В этих условиях не считаю возможным продолжать службу в университете и покорнейше прошу отчислить меня из состава профессуры университета...»

Вот так... А теперь дату. Уже и другой день давно настал. Стало быть, 3 февраля 1911 года. Точка. Можно это положить в стол и все же попытаться заснуть...



Закрыт Кассо

К завтраку он вышел веселым, бодрым, чуть ли не хохочущим. Валентина Александровна, вспомнив, какую ночь провел Лебедев, не могла сразу понять, что же с ним происходит, что он надумал, отчего это у него такое превосходное настроение? Кажется, не с чего!.. Утром пришел брат и рассказал все, что произошло вчера на совете. Он был убежден, что из поездки делегации в Петербург ничего не выйдет, что Кассо принял решение — да и не принял решение, а получил приказ свыше — о разгроме Московского университета. На вопрос сестры Эйхенвальд пожал плечами и сказал, что сам он, не дожидаясь дальнейших событий, написал заявление об отставке. И, отвечая на вопросительный взгляд, ответил, что он с Петей об этом не говорил. Его положение намного отличается от положе-

ния других профессоров. Но в характере Петиного решения нет, конечно, никаких сомнений. И Вале следует быть готовой ко многим изменениям в жизни. Конечно, профессор Лебедев всегда себе заработает на жизнь, не так уж много в мире есть физиков с таким именем, но испытаний впереди будет много... Начать, очевидно, придется с поисков новой квартиры, эту, университетскую, придется оставить.

Начиная с раннего утра, непрерывно звонил телефон; хорошо хоть, что он в передней, звонки не доходят до спальни. Звонил Петр Петрович, звонили Вильберг, молодой Тимирязев, Гопиус — всем отвечали, что Петр Николаевич поздно лег, плохо себя чувствует и когда встанет, не знает. И позвонил сам Николай Алексеевич Умов, спросил, как себя чувствует Петр Николаевич, просил ему протелефонировать, когда встанет...

Давно с таким аппетитом не завтракал! Выпил чашку своего, «лебедевского», чая со свежим калачом от Филиппова. Как бы отвечая на незаданный вопрос друга, расхохотался и сказал, что нет, от таких калачей он никуда и никогда не способен уехать... И Вале сказал, что спал превосходно, чувствует себя отлично — прямо хоть, как двадцать пять лет назад, с утра отправляться на каток!.. А что? Хорошо с утра на каток! На катке пусто, нет этих барышень с кавалерами, не мешают финские сани с дамочками, лишь несколько упорных спортсменов тренируются. Вот так с утра погоняешь на фантастической быстроте, разогреешься — сам черт тебе не брат! И хватит сил на все! Даже с подлецом попечителем разговаривать...

«Умов звонил? Сейчас пойду протелефонирую старику. Ах, и чудесный же старик!..»

— Николай Алексеевич, доброе утро!.. Недоброе?.. Ну, это как для кого! Кассо с Тихомировым да вся эта шайка—они небось считают, что утро великолепное... Николай Алексеевич! Я не думал, что может быть иначе, но это так не укладывается в голове: Московский университет без Умова! Ведь, кажется, полвека вы провели в нем? Ну что ж тогда говорить о Лебедеве! Я мальчишка по сравнению с вами! И мой уход звучит несколько иначе.

Да, конечно, я им оставлю эту лабораторию, пусть делают что хотят... Да, спасибо, Николай Алексеевич, за

сочувствие. Гёте говорил, что ужасен тот, кому уж терять нечего... Так что мы в лучшем положении: нам есть что терять... Ага! Страшен гром, говорите, да милостив бог... Ну что ж, и в этом есть свой резон. А Вернадский это вам сам говорил? И Алексинский, и Петрушевич, и Шершеневич!.. А Александр Александрович у меня тут сидит, попивает кофей. Да, он вчера уже написал заявление об отставке... чтобы университет не отвлекал от его девичьего монастыря...

А что вы думаете? Такой можно было бы создать университет, что остатки Московского показались бы церковноприходской школой! Осталась бы эта компания Комаровских да Лейстов — пусть лижут задницу Тихомирову и Кассо!.. Нет, дамы далеко, они меня не слышат... Только ведь не дадут, Николай Алексеевич, не дадут!.. Спасибо, дорогой Николай Алексеевич! Меня бесконечно тронули ваши слова... На миру и смерть красна! А особливо, если в этом миру есть вы!.. Ну, если позовут на совет, пойдем... Люди мы пока еще казенные, дисциплинированные. Пока писарь не подпишет, все еще ходим в солдатах!.. До свидания, дорогой Николай Алексеевич!..

Вернулся в столовую, протянул жене чашку.

— Пожалуйста, Валечка, еще одну... Саша, слышал мой разговор со стариком?

— А как же! Значит, и Алексинский, и Петрушевский, и Шершеневич уже решили подавать?

— Да, они еще вчера, после совета, решили не оставаться в этой конюшне. А ты слыхал, как я про тебя сказал Николаю Алексеевичу? «Небось вчера еще написал заявление об отставке». Правду я сказал старику?

— Конечно, правду. А что мне тебе рассказывать? Ты и так знаешь, что я думаю, что я собираюсь делать... А у тебя уже прошение в столе лежит? Правильно?

— Правильно, правильно, Саша! Можем с тобой выступать в «Гранд-Электро» — сеанс отгадывания мыслей! Только у нас! Спешите видеть!

— То-то мы с тобой так резвимся!.. Как будто в реальном объявили неожиданные каникулы... И чувство свободы такое!! Не надо уроки делать, можно с самого утра на каток или же гулять на Пречистенку, мимо института кавалерственной дамы Чертовой!..

Валентина Александровна поспешила на очередной телефонный звонок.

— Петя! Это звонит Петр Петрович... Спрашивает, как ты и можно ли с тобой поговорить...

— Попроси его, Валюша, ко мне зайти. Хоть сейчас, хоть к обеду. Как ему удобнее...

Лазарева проводил в кабинет, усадил в кресло, спросил, не подать ли ему сюда в кабинет чаю. Или кофе?..

— Вы меня, Петр Николаевич, уже принимаете, как человека постороннего, как гостя со стороны, так что могу не спрашивать о вашем решении... Восхищен мужеством, с каким вы через все это проходите. Честно говоря, думал, что застану вас в более тяжком состоянии... По дороге сюда встретил Сергея Алексеевича Чаплыгина. Он мне сказал, что подает в отставку, так, как бы между прочим... Да у него это так и есть: университет для него «между прочим»... Он же не лишается лаборатории, как вы.

— Что вы это все—вы да вы!.. А вы? Или, может быть, решили не так, как я?.. Боже упаси, чтобы я вам подсказывал линию поведения!.. Это дело совести каждого! Тем более, что ваше положение более сложное, чем мое. Я у физики законное дитя, а вы — незаконное дитя физики и медицины...

— Правильно. И уже это одно предрешает мой уход из университета. Я не знаю, кто может быть вашим преемником в лаборатории, я никого не вижу из московских физиков, но твердо уверен в том, что мне там нечего делать. Это только Лебедев себе мог позволить физике вторгнуться туда, куда ей всегда вход был воспрещен... Ни у кого другого я не мог бы работать. Да и не собираюсь. Собираюсь с вами и дальше работать, Петр Николаевич.

— Это где же?

— А!.. Лебедева, как некогда Ломоносова, нельзя отставить от университета... Где он будет, там будет и университет.

— Да будет вам, Петр Петрович!.. Что вы это говорите обо мне в выражениях таких, будто некролог мой пишете!.. Расскажите лучше, что происходит в Московском императорском университете? Вы там сегодня были?

— А как же! Был. Кладбищенская тишина. Не видно ни студентов, ни профессоров. Проходил мимо одной ауди-

тории, слышал сквозь дверь козлиный голос Лейста. Спросил у служителя. Оказывается, он читает перед пятью студентами... А надрывается!.. Старается, чтобы все его слышали...

— Ну, еще бы! Настало его время. Его да его сиятельства графа Комаровского. Эти сейчас расцветут. Как чертополох и бурьян на пустыре... Ну, а как там наши?

— В подвале видел только Евгения Александровича. Удивился, что он там: вертится между приборами, пишет что-то... Спросил у него, чем вызвано такое усердие в такое время? Без тени улыбки ответил, что готовит лабораторию к сдаче. Даже не спросил меня о вашем решении, Петр Николаевич! Спокоен, напевает что-то... Как будто он все это заранее знал и ничем не удивлен.

— Так оно и есть. Гопиус все знал заранее. Даже предупреждал некоторых наивных людей... Все-таки удивительный человек! Я его всегда пилю, ругаю за недостаточную активность в науке, а сам любуюсь его огромной внутренней свободой, потрясающим чувством собственного достоинства... Казалось бы, целиком зависит от университета: работает только у нас, живет тут же, в казенной квартире. Какие-то у него сложные семейные обстоятельства: вторая семья, двое или трое детей... При его репутации, ненависти к нему начальства никуда на казенную службу не примут, а к промышленникам он питает не меньшее отвращение... И вот при этаком положении абсолютная независимость суждений, поведения... Согласитесь, Петр Петрович, не часто такого встретишь в наше время!

— Знаете, что он делает, Петр Николаевич? Откладывает в сторону приборы, которые еще не внесены в реестр, в опись оборудования. Спрашиваю: зачем? Отвечает: для того, чтобы забрать. По-моему, он и некоторые ваши приборы, уже записанные в инвентарь, собирается сделать хапен зи гевезен...

— Каким же это образом? А главное, зачем? Куда он собирается это все забирать? Смешно! Ко мне на квартиру, что ли? В домашний, так сказать, музей?

— Ну, как это он сделает, его учить не нужно. Он может вместо прибора для измерения давления света подставить шведский примус. Университетские чиновники не отличат один от другого. А что надо забирать из лаборатории все, что плохо лежит, в этом я с ним совершенно согласен! Мы с ним не сговаривались, а думаем совершенно одина-

ково. Где будет Петр Николаевич Лебедев, там будет и лаборатория, там будут и его ученики! Не знаю, не представляю еще себе, как все это будет происходить, но уверен, что так и будет!

— Люблю оптимистов! Но все равно спасибо за добрые и лестные слова, Петр Петрович. Мы с вами свои люди, не нуждаемся ни в комплиментах, ни в утешении... Подождем, подождем, посмотрим, как дальше будут развиваться события...

А события развивались быстро. В московских газетах ежедневно печатались списки профессоров и приват-доцентов, подавших в отставку... С удивлением и каким-то страхом следили в России, как быстро, как мгновенно разваливается старейший русский университет. Уходили все, кто составлял гордость русской науки, ее настоящее и будущее. Ушли Умов и Вернадский, Чаплыгин и Цингер, Кольцов и Сакулин, Виноградов и Сербский, Тимирязев и Кончаловский, Цераский и Зелинский, Жуковский и Худяков... Уходили со всех факультетов, почти с каждой кафедры. Дрогнули такие, казалось бы, консервативные факультеты, как юридический, медицинский...

На противоположной стороне узкой Моховой стояли любопытствующие и глядели на знаменитое, столь знакомое всем здание университета. Оно стояло одинокое, почти вымершее. У ворот и в подъездах чернели полицейские шинели. Юркие субчики с отсутствующим выражением на лицах слонялись вдоль университетской ограды. Когда кто-нибудь из прохожих останавливался у ворот, они подходили и шипящим шепотом говорили: «Проходите, проходите, господин, не задерживайтесь...»

Внутри университета были пустынны огромные коридоры. Несколько студентов слонялись по ним, провожаемые внимательными взорами полицейских, стоящих у дверей тех редких аудиторий, где читались лекции. Но после того, как студенты, собравшись кучкой у дверей аудитории, встретили свистками выходящего Лейста, исчезли из университета и эти немногие... Но Эрнст Карлович Лейст, ах, Лейст — он не сдавался, нет! Каждый день, провожаемый двумя полицейскими, он быстро проходил по пустому коридору от профессорской до большой аудитории, выделенной для лекций профессора метеорологии. Навстречу

Лейсту дружно подымалась вся аудитория. В этой сплоченности, впрочем, ничего удивительного и не было, так как аудитория состояла всего из одного студента. Лейст подымался на кафедру, оправлял сюртук, нервно потирал мокрые руки и решительно начинал: «Милостивые государи!..» Два часа городовые скучно переминались у дверей аудитории. Пост был спокойный, но уж очень скучный, тоскливый какой-то... Через два часа выходил профессор, и застоявшиеся городовые весело провожали его назад в профессорскую. После этого осторожно открывалась дверь аудитории, оттуда выглядывал тот студент, которому — единственному! — доставалась вся эрудиция Лейста. В коридоре никого не было, и усердный студент быстро исчезал в университетских недрах, чтобы завтра оттуда вынырнуть и занять свое место в этой же аудитории. О таинственном поклоннике лейстовских лекций по университету ходили легенды. Одни утверждали, что студенческого у него только тужурка, а штаны, штаны — они с полицейским кантом... Другие исследователи стояли на том, что студент настоящий, но соблазненный немалой платой, получаемой от профессора за свое усердие. Впрочем, вариант этот был отвергнут, так как скупость профессора метеорологии была общеизвестна, а получать вспомоществование от ректората он не мог, ибо создать этот ректорат пока еще не удавалось...

На заседание университетского совета 4 февраля старое руководство не пришло. Стало известно, что попечитель предложил должность ректора профессору Зернову, но тот отказался, даже не пришел на заседание. По поручению попечителя заседание вел профессор граф Комаровский. Ему трудно было изображать из себя опытного политического деятеля, этакого хладнокровного спикера, успокаивающего парламентскую стихию. Уже стало известно, что делегацию, уехавшую в Петербург, Кассо отказался принять. Комаровский тихо, как бы про себя, прочитал полученный высочайший указ об увольнении профессоров Мануйлова, Мензбира и Минакова. Прочитав, он умоляюще посмотрел на почтенных профессоров: может быть, хватит, господа профессора? Для поддержания своей благородной репутации сделали все: обратились во все инстанции, чуть ли не до монарха дошли. Ничего не вышло, ну и хватит...

Но большая часть господ профессоров вела себя так,

как будто они себя чувствовали не профессорами, а студентами... Не только Климентий Аркадьевич Тимирязев, чья репутация в глазах начальства была уже давно безнадежно испорчена, но даже такие спокойные и благонамеренные люди, как знаменитый хирург Рейн,— даже они кричали с места дерзкие и непозволительные слова, просто как студенты на сходке!.. Спикера из графа Комаровского не получилось, он еле отбивался от ораторов, которые совсем непарламентски, крайне непочтительно, говорили о высоких университетских начальниках.

Так ничего и не решив, поздно за полночь профессора расходились и разъезжались по домам. Парные выезды, помесячно нанимаемые лихачи, обыкновенные ваньки выезжали из университетского двора на Большую Никитскую.

Лебедев с Зелинским вышли на улицу и свернули в Шереметьевский переулок. Лебедев был молчалив, от вчерашнего оживления в нем ничего не осталось; на заседании он не проронил ни одного слова, хотя в его сторону Комаровский смотрел с наибольшим страхом—так хорошо была известна всем несдержанность, ну просто недопустимая грубость профессора Лебедева!.. Лебедев и на улице так же угрюмо и затаенно молчал. Они шли с Зелинским, оба высокие, статные... Как будто по команде, они вдруг остановились и обернулись назад...

— Как все-таки странно, Петр Николаевич,— задумчиво и нетоpопливо сказал Зелинский,— мы ведь с вами не воспитанники Московского университета. Вы — Страсбургского, я — Новороссийского... Но как хотелось мне, да и наверное вам, работать в университете, открытом Ломоносовым. И добились своего... Я прослужил в нем восемнадцать лет! Да и вы, помнится мне, не меньше... Могли ли мы думать, что так мы с вами будем уходить из него?.. Отдает ли себе отчет начальство, что идет ликвидация Московского университета?..

— Отдает! Понимает!.. Мне, Николай Дмитриевич, что жалко? Что эта сволочь, эта скотина Кассо останется в истории! И хоть не будет на этом здании такой мраморной доски с надписью: «Открыт Ломоносовым в 1755 году, закрыт Кассо в 1911 году», но перед глазами каждого в будущем фамилия этой гадины будет стоять рядом с именем Ломоносова. Открыт Ломоносовым, закрыт Кассо... Герострат же не сомневался в характере славы, которой

он добивался, поджигая храм в Эфесе! Абы какая, а все же слава!.. Вот и фамилия Кассо сохранится в истории российского просвещения. Открыт Ломоносовым, закрыт Кассо...



Исключений не бывает?

И кончились январские солнечные, ясные дни. Зима быстро и упорно наверстывала свое. Резкий и холодный ветер нес по улицам крутящиеся столбы жесткого, режущего лицо, снега. Стоя у окна своего кабинета, Лебедев смотрел, как по переулку пробегают немногие прохожие, подняв воротники, уткнув в них носы и уши. Студентов среди них почти не было видно, хотя здесь всегда пролегала «великая студенческая дорога», как говорил некогда Гопиус. На днях Евгений Александрович, придя к Лебедеву, сказал, что сегодня, в понедельник, седьмого февраля, в университете было всего двенадцать студентов... Это из девяти тысяч шестисот шестидесяти шести, числившихся в Московском университете на первое января 1911 года...

Пришел он на другой день после того, как в университете состоялось собрание младших преподавателей университета. Несмотря на воскресный день, пришло больше ста пятидесяти человек.

— Вот вы меня иногда в цинизме и пессимизме упрекали, Петр Николаевич,— говорил Гопиус, прихлебывая горячий чай.— А в действительности я человек восторженный и даже сентиментальный, как уездная барышня... из Жиздры, например... Меня, знаете, чуть ли не слеза прошибла... Вам, профессорам, в конце концов, мало что угрожает. Ну, в крайнем случае, уедете из первопрестольной... Знаете ли вы, что в Москву слетаются представители из всех русских университетов? Такой случай! Можно набрать в свою провинцию самых крупных, самых известных профессоров, столпов науки!.. Уверен, что томские толстосумы-сибиряки развяжут свои кошельки и постараются забрать самых знаменитых... Ну, а членов Лондонского ко-

ролевского общества готов будет схапать любой заграничный университет...

— Да будет вам глупости молоть!..

— Вы уже, кажется, успели убедиться в моих выдающихся способностях пророка и ясновидца!.. Так вот: просто потрясающе поведение не профессоров, а ассистентов, лаборантов... Людей, которые могут завтра остаться без гроша, потерять право на пенсию... Нет, согласитесь, что такое стихийное чувство порядочности показывает бессилие многих и многих лет, потраченных начальством на то, чтобы всех превратить в безмозглых холуев.

— Вы себя имеете в виду? Вы же младший преподаватель, да еще с худшими перспективами, чем другие...

— Нет, я не в счет. Во-первых, на меня начальство никаких сил не тратило, за полной бесполезностью подобных усилий. А потом, говоря серьезно, мне же это вовсе не страшно. Чтобы прокормить себя и семью, мне не обязательно наниматься к заводчику какому-нибудь в инженеры. Могу работать плотником, печником, лудить, паять, чинить... Я свою дачку в Новогиреeве сам срубил, сам печи сложил... В оружейную мастерскую Российского союза охотников меня вызывают для консультации — самый крупный специалист по оружию... Я-то на них, на начальников, плевать хотел! А вот что и другие плюют, вот это трогательно и поучительно. Пока что подали в отставку, как я слышал, сто три профессора и приват-доцента. Интересно, что оно будет делать, новое университетское начальство?..

— А оно уже есть?

— А вы разве не слышали? После того как декан медицинского Зернов отказался от чести возглавить остатки Московского университета, попечитель предложил избрать на сей пост... кого, как вы думаете?..

— Подумаешь, проницательность какая! Графа Комаровского, наверное, вот кого!

— Гм.. Можете конкурировать со мною на поприще ясновидца... Именно-с. Его сиятельство граф Леонид Алексеевич Комаровский — ректор Московского императорского университета. А помощником к нему — Лейста... А проректором — Елистратова. Ха-ра-ша компания!

— Студентов жалко...

— Да, жалко. Их пачками исключают из университета. А градоначальник приказал выселить из Москвы всех

иногородних, исключенных из университета. Предупредили остальных, что за неявку на лекции будут исключать.

— А кто читает лекции?

— Ну, кто еще не получил уведомление о принятии их отставки, те являются в профессорскую ежедневно. А там дальше проходит уж совершенная фантасмагория! Городовые следят за расписанием, пристав приглашает профессора на лекцию, идет, бедняга, как колодник по Владимирке — два фараона по бокам... Хорошо, вы больны, можете сидеть дома и спокойно дожидаться, когда министерство соблаговолит принять вашу отставку... Газетки почитывать... Впрочем, забыл, что вы ничего, кроме газеты Дорошевича, не читаете.

— Да, я не такой любопытствующий, как вы, Евгений Александрович. Вижу, что и сегодня пришли с пачкой этой трухи... Вон даже «Московские ведомости» притащили...

— А что? Небезынтересно! Дайте я вам прочту передовицу этой правоверной газеты...

— Да ну вас!..

— Нет-нет, послушайте!.. Где это? О! «Подача в отставку в момент усиленного поджигания студентов заговорщиками есть акт пособничества беспорядкам, свидетельство солидарности с подстрекателями...» Чуете? Вот вы — известный своим презрением к политике, оказывается, влезли по уши в эту самую политику... Вы — пособник! Как бы сказал Лейст, «вы есть подстрекатель и возмутитель»!.. Правда, и в научном смысле профессор Лебедев ничего не стоит... Не верите? Пожалуйста: «Профессора, начинающие свою забастовку, в научном отношении представляют в большинстве самую незначительную силу. От удаления их наука потеряет очень мало».

— Фу!.. Охота вам, Евгений Александрович, в этой вони копаться!

— Такова судьба исследователя. Вы сами нас всегда учили, что надобно неустанно копаться, для того чтобы в явлении выделить основное, отделить это основное от всяких посторонних, так сказать, отвлекающих и малоинтересных явлений... Вот, зажав нос и заставив себя дочитать эту передовицу до конца, я выявил основное. Разрешите, профессор, мне зачитать: «Удаление нынешних профессоров только открыло бы научную карьеру для наилучшей части преподавателей...»

О! Чуете? Прямой и откровенный призыв к сволочи, к малодушным... Будьте с нами! В крайнем случае — промолчите... И тогда вы получите все: кафедры, ученые звания, из статских советников прыгнете в действительные статские... Спешите, больше никогда у вас не будет такого случая! Ну несколько месяцев, годик какой будут на вас смотреть с брезгливостью... А потом забудется! А чины и деньги останутся! И они не пахнут!..

— Никогда не видел вас, Евгений Александрович, таким злым... Меня считают злюкой, но мне до вас далеко, ах как далеко...

— Я их ненавижу!! — Гопиус встал, лицо его стало белым и мгновенно утратило свою всегдашнюю подвижность.— Я их ненавижу, весь их мир чинопочитания, угодливости, лакейства... Гнусные ничтожества, думающие, что они способны контролировать и историю, и философию, и физику, и физиологию... И поскольку они все дико невежественны, никогда и ничему не учились, а всякий офицерик или городовой, увидя их, берет под козырек, то они совершенно искренне верят, что и вправду являются хозяевами мира... Знаете, Петр Николаевич, меня не удивляет, что они врут — ну, ихняя государственная деятельность без этого не обходится; меня не удивляет и желание, чтобы этому вранью все верили... В общем-то, естественно. Меня даже не удивляет, что они обижаются, когда их вранью не верят... Поражает меня искренность, с которой они обижаются! Они действительно убеждены, что их вранью все должны верить! А кто не верит, тот супостат, внутренний враг, и место его в остроге!..

— Вы против кого эти филиппики направляете? Против Лейста и Зографа, что ли?

— Ну, еще против этих!.. Дерьма-пирога... Они ничем не командуют, только прислуживают и получают на чай. Я про других... Впрочем, извините за горячность, Петр Николаевич! Я забыл, что о политике в этом доме не говорят, что она где-то внизу, а наука сияет снеговой вершиной, до которой не могут добраться никакие миазмы политики... Так не добираются?

— Ох, злыдень вы...

— Покорнейше прощения просим... На чаек бы с вашей милости... Давайте я вам расскажу что-нибудь более веселое. Кто бы мог подумать, что ветер вольнолюбивого протеста захватит нашего университетского мефистофеля!

Да. Подал в отставку его превосходительство действительный статский советник, кавалер ордена Станислава первой степени, ординарный профессор, известнейший звездочет Витольд Карлович Цераский!.. Совершенно не представляю себе университет и Москву без него...

— А что Витольду Карловичу делать в обсерватории без Павла Карловича? Уже много лет за Цераского работает в обсерватории Штернберг. После того как он подал в отставку, что же остается делать Цераскому!..

— Мм... Да... В общем-то, да, конечно... Но Витольд Карлович проявил, так сказать, гражданское мужество без оглядки, так сказать, на своего помощника...

— Вы что хотите сказать? Что Штернберг не подал в отставку? Остается в университете? С этими?.. Вы знаете, Евгений Александрович, что я очень далек от того, чтобы диктовать кому-либо действия или убеждения. Но здесь случай какой-то совсем другой... И Павел Карлович на меня всегда производил впечатление человека такой безукоризненной порядочности... Просто не понимаю...

— Мм... Чужая душа — потемки...

— Нет, вы меня этим сообщением просто ударили... Странно, совсем странно... Да вы же с ним, как мне казалось, всегда были в добрых отношениях. Даже такой нетерпимый человек, как вы!.. А сейчас и слов не находите никаких по его адресу...

— Мм... Да, конечно...

— Ну, вот. А вы еще мне говорили, что исключения не бывает... Есть, оказывается, исключения!.. Есть?

— Нет, Петр Николаевич! Исключений не бывает!..

...Так и есть, состоялся все же с Лебедевым этот неприятный разговор! Гоппус знал, что в университете, а в особенности в их лаборатории, разговоров о помощнике директора университетской обсерватории будет много. И малоприятных. И больше всего ему не хотелось, чтобы этот разговор у него был с Лебедевым... Вот перед кем ему не хотелось не только говорить неправду, но и скрывать неправду своей обычной ухмылкой, остротой, цитатой из Гёте... Или же просто молчанием... Но что делать! Что делать!

Это было естественным следствием того невеселого разговора, который состоялся не позже чем позавчера в ма-

ленькой кладовой университетской обсерватории. В кладовой на стеллажах лежали, стояли тысячи, десятки тысяч негативов с фотографиями звезд, планет, миров, бесконечно далеких от земли и тех земных дел, о которых шел неторопливый и тихий разговор двух университетских работников не самого высокого ученого ранга.

Гопиус сидел на высоком столе, ноги его болтались, он размахивал ими, как будто в такт размеренным и тихим словам Штернберга.

— Понимаете, Женя, мы с вами как будто все предусмотрели... А вот такое, чтобы внезапно, в несколько дней началась эта политическая демонстрация профессуры, это никогда не входило в наши планы, этого мы предусмотреть не могли... Вы же понимаете, что университет не закроют, не переведут никуда. Тихие, осторожные, бездарные карьеристы — все они останутся. Ну, вместо первосортных ученых будут второсортные или третьесортные... Студентов на какое-то время тоже прикрутят. Социал-демократическую организацию в университете полностью не разгромят. Все равно через какое-то время она возобновит свою деятельность... Что делать с обсерваторией? Чуть ли не с самого начала она служит нам складом оружия, местом явок, переписки... Если я уйду, нам нужно продумать, куда мы это все денем... И что нам придумать вместо обсерватории?..

— Все равно лучшего нам никогда не придумать... Черт!.. Нельзя, нельзя вам уходить, так я полагаю. Конечно, если сомневаетесь, можно спросить у других товарищей... По-моему, нельзя вам уходить, нельзя лишаться такой прочной базы...

— А мне ходить оплеванным?! Лахтин и Лейст будут меня покровительственно по плечу похлопывать, еще орденок какой сунут... Ух, дьявол!.. А я спиной буду чувствовать, как мне смотрят вслед все порядочные люди... Еще и руку перестанут подавать. Публично. Как я вашему Лебедеву в глаза посмотрю? Он ведь всего лишается, всего и навсегда!.. Он выбрал порядочность! А я? Мне всегда так была дорога симпатия Петра Николаевича... Слушайте, Женя, это вам все просто да хорошо... Плюнете в морду всей этой банде, уйдете куда хотите, вы везде работу найдете... Так ведь и я могу найти! И может быть, там все заново начать создавать?.. Я знаю, что вы мне сейчас скажете про Клеточникова, про его работу в Третьем отделе-

ции и прочая и прочая... Так мы же не террористы, для нас вовсе не все средства хороши. И сохранить свое лицо, свое достоинство, может быть это важнее, чем требования сегодняшнего дня?.. Но вы же всегда были еретиком и в социал-демократии! Гибрид социал-демократа и народовольца...

— Ох, как наш брат интеллигент любит в потрохах своих покопаться! Вы мне леонидандреевщину не разводите, сударь! Что вы мне про непорочность вашего лица все время толкуете! Кроме десятка-другого людей, кто в Москве знает, что вы социал-демократ? Никто! Для всех вы пример аполитичного интеллигента, с ушами залезшего в науку и с высокого дерева плюющего на любую политику... Кстати, Петр Николаевич вас и почитает всегда за это. И вами тыкает мне в нос: учитесь, мол... В вашей публичной репутации мало что изменится. А мне так даже станет лучше. Буду всем говорить: видите, к чему приводит аполитичность? Вы считали Павла Карловича Штернберга порядочным человеком, а он ради насиженного места, спокойствия своего да ордена Станислава третьей степени всех своих университетских коллег запросто продал... Незадорого... Вы — боевик, а как поможете пропагандистам!

— Женя! Не представляйтесь сволочью и циником. И нам некогда тратить время на ваше обычное острословие. Я стараюсь все взвесить, прежде чем нам принимать решение. Для этого, а не для чего другого мы здесь встретились!..

— Голуба моя! Да перестаньте вы губы надувать! Я вам свою позицию изложил предельно ясно. Не можем мы, не имеем права лишать будущую, да и не только будущую, организацию такой базы, как наша университетская обсерватория. Она пока единственная вне подозрений! И это важнее всех других соображений. И вы, собственно, ничего не делаете, кроме того, что сохраняете прежнюю маску! Для всех вы аполитичный ученый, который за свою науку отступится от всего! Вы сами выбрали эту маску, она оказалась самой лучшей, самой полезной для организации. Вспомните пятый год! Вспомните, как готовились к уличным боям! У вас никогда не было ни одного провала! Продолжайте эту маску носить до того времени, когда в ней отпадет надобность. Вот и все. А остальное — от лукавого... Что мыла нажретесь, глубоко сочувствую. Ни-

чем помочь не могу. Сам частенько питаюсь этой малоаппетитной пищей... Меня беспокоит другое. Ведь у вас здесь все хорошо, потому что директором обсерватории Витольд Карлович... А как он?

— Шумит. «Пся крев, говорит, чтобы я остался с этой былентой, служальцами пшеклента». Собпрается подавать прошение об отставке.

— Фу-ть!..

— Ну, если я останусь, он пошумит-пошумит и вернется... Чтобы он не утратил самоуважения, поговорю с ним о вечной и святой науке, о необходимости сберечь ее от нечистых рук, от тупых чиновников... Прочитаю ему Брюсова: «А мы — мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светы куда-то там — в катакомбы, в пещеры...» И потом, ему до заслуженного осталось совсем немного. Даст себя уговорить...

— А еще меня в цинизме и сволочизме упрекает!.. Цераский — мелкий, рядовой черт. А мефистофель настоящий — вы!.. Ну, в общем, спорить нам не о чем, решение может быть только одно — вы остаетесь. Скажу вам вот что: петербургское начальство решило разгромить Московский университет не от сознания своей силы, а оттого, что наложило в штаны от страха. После толстовских дел, после последних забастовок снова им почудился призрак пятого года. И правильно почудился! Теперь ясно, что ни черта у них не получилось с полным разгромом организации и рабочего движения! Одна петербургская «Звезда» чего стоит!.. Все — впереди! И университетская обсерватория ах как еще пригодится! Вы думаете, мне приятен будет разговор о вас с Лебедевым? А никуда от этого разговора я не денусь! Вот то-то...

Глава V



Мертвый переулок



Пепелище

Ну, вот оно. Поставлена точка. Все-таки удивительно устроен человек! Все, что он должен был сделать, сделал. Эта бумажка ничего не прибавляет и не изменяет в том повороте жизни, который он сам совершил. Обыкновенная канцелярская бумажка, напечатанная на машинке со знакомым шрифтом — на ней печатались все приглашения на университетский совет... А все-таки когда Панин принес из канцелярии этот конверт, там, влево, в глубине, возникла эта знакомая колющая боль... Ну ничего! Вот эта бумажка, и в ней написано то, что он и хотел:

«Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 28 февраля 1911 года, напечатанном в № 47 «Правительственного вестника» за текущий год, уволен от службы, согласно прошению, ординарный профессор императорского Московского университета, доктор физики, статский советник Лебедев».

С чего начинать? Освободить квартиру? Уехать поскорее из этого казенного дома? Но уезжать еще некуда, и он имеет не меньше месяца на то, чтобы подыскать себе квартиру и освободить эту...

Затрещал телефон. Никогда у него не было такой нагрузки, как в этот месяц. Телефонные барышни уже раз-

говаривают с ним, как со старым знакомым... Лебедеву звонил Лазарев:

— Получили высочайший, Петр Николаевич?

— Да, только что Панин изволил принести. И вы получили?

— И я получил. Разрешите прибыть к вам?

— Ну, что вы так величественно! Я уже не ваш сюзерен. Король в отставке. И — даже в изгнании...

— Страшен сон... Так я сейчас приеду, извозчик уже меня ждет.

Лазарев неодобрительно оглядел домашнюю куртку Лебедева, его неподстриженную бороду, двухдневную щетину на щеках.

— Хотел вас предупредить, Петр Николаевич, чтобы вы никому не поручали искать квартиру.

— Это почему же?

— Этим мы с Александром Александровичем займемся.

— А чего это вас в квартирные агенты занесло? Думаете, более выгодная работа, чем быть приват-доцентом в университете?

— Университет — дело прошедшее. А мы будем смотреть в будущее. Я хочу вам сказать, да это и не секрет для вас, что мы вовсе не считаем лебедевскую лабораторию закрытой. Лебедевская лаборатория — это та лаборатория, которой руководит Лебедев. Эта лаборатория будет! Мы ее будем создавать.

— Кто это — мы?

— Ваши ученики, Петр Николаевич.

— А на какие это средства вы ее будете создавать? Как-то так получилось, что среди моих учеников нет миллионеров...

— Деньги найдем. Есть университет Шанявского, есть леденцовское общество. Наконец, есть богатые люди, которых Александр Александрович и я можем потрясти... Вы про это не думайте! А сейчас займемся другим. Сегодня в лабораторию собрались все ее сотрудники, я обещал им, что с вами придем туда.

— А!.. Прощание Наполеона со старой гвардией в замке Фонтенбло... Склонились знамена, рыдают старые, израненные гвардейцы, утирая сопли рукавами в галунах... А я-то думал, что буду здесь сидеть один как сыч и никто

про меня не вспомнит... Как в старом стихотворении: «Но маршалы зова не слышат — иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою».

— Представьте себе, ни один маршал вам не изменил. Вообще любопытные цифры... В течение десяти дней — с четвертого по четырнадцатое февраля подали заявления об уходе из университета семьдесят профессоров и приват-доцентов. А на сегодняшний день количество ушедших преподавателей достигло больше ста тридцати человек. Кажется, это бóльшая часть профессорского и доцентского состава... А в нашем институте физики ушли все без исключения профессора... И Умов, и Соколов, и Эйхенвальд, и, конечно, Лебедев... В органе профессора императорского Московского университета Иловайского, в газете «Кремль», напечатано, что, дескать, ждать от факультета, где работают Аппельрот, Эйхенвальд, Лейбензон, Цингер, Энштейн... Даже нашего почтенного Александра Александровича произвел от иудейского племени...

— Да, да, для Иловайского и всей этой сволочи — дело ясное и понятное... Вон господин Шмаков в речи на Всероссийском дворянском съезде сообщил почтеннейшему собранию, что Троянская война была вызвана интригами семитов. Не удивлюсь, если они в старой купеческой семье Лебедевых обнаружат семитские признаки... Ну, подождите меня, Петр Петрович! Сейчас я приведу себя в достойный вид старого отставного императора... Или козы барабанщика...

«Храбрится старик»,— думал Лазарев, искоса поглядывая на Лебедева, осторожно спускающегося по лестнице в подвал. Лебедев был торжествен: накрахмаленное белье, новый сюртук, даже надушился... И бледен. Очень бледен. И синие губы. Нехорошо, ах, нехорошо... Уговорить его, что ли, съездить в Наугейм на то время, пока мы тут будем возиться? Согласится ли?..

Внизу, в коридоре, столпились лебедевские помощники, друзья, ученики. Петр Петрович комически ему представлял:

— Уволенный лаборант Леонтий Иванович Лисицын... Уволенный лаборант Гебгард Брунович Порт... Уволенный лаборант Вячеслав Ильич Романов... Уволенный лаборант Михаил Иоганнович Вильберг... Уволенный лаборант Александр Андреевич Титов... Уволенный лаборант Арка-

дий Климентьевич Тимирязев... Уволенный лаборант Евгений Александрович Гопиус...

Лебедев церемонно шаркал ногой и, пожимая руку, отвечал:

— Очень приятно! Уволенный ординарный профессор Лебедев...

Только старик Максим нарушил импровизированный спектакль, который должен был скрыть все, что чувствовали эти собравшиеся в подвале люди. Он стоял в углу и плакал, и Лебедев тщетно пытался его развеселить:

— Ну-ну, Максим, что это такое... Не расстаемся же навек, все равно придумаем что-нибудь. В одной же деревне жить остаемся!.. Вот видите, Петр Петрович, все так и происходит, как в Фонтенбло... Максим один за всю старую императорскую гвардию...

Лебедев обошел всю лабораторию. Он вдыхал такой знакомый, такой родной запах лака, горелой резины, машинного масла, меди... В витрине не увидел некоторых, знакомых до последнего винтика приборов — сам в свое время делал их, исторические, так сказать... Вероятно, Гопиус их — как это сказал Петр Петрович? — хапен зи гевезен...

В одной из маленьких комнат столпились все, как это бывало во время обходов Лебедева, лебедевские ученики.

— Одни уволенные кругом,— шутил Лебедев,— хоть бы один был из порядочных... Нехорошо, господа... А где же студиозиусы?

— «Иных уж нет, а те далече...» — меланхолически ответил Гопиус.— Сегодня прибыл еще один список на триста семьдесят исключенных студентов. Говорят, уже около тысячи человек исключили из университета... Мне сегодня рассказывали, что вывесили объявления о записи студентов физмата на лекции доцента Локотя. И представьте себе: ни один студент не записался. Как говорится, близок локоть, да не укусишь!..

— Остряки-самоучки... Все же интересно: чего вы тут, господа, собрались? И вид у вас такой, будто спорили и ругались... О чем шумите вы, народные витии?..

Лебедев был не очень далек от истины. За полчаса до его прихода в лаборатории стоял истошный крик, что было просто удивительно, потому что Гопиуса поддерживал

лишь один молодой Тимирязев. А он всегда говорил так медленно, что из самых острых его выступлений исчезала всякая полемичность... Зато ее хватало у Евгения Александровича Гоппуса.

— И не очень понятно, а самое главное, не очень грамотно: «наука, которая одна выведет Россию на торную дорогу прогресса»... Выходит, нет в России других сил, кроме науки, которые бы ее, бедняжку, вывели на торный путь?.. Не слишком ли самоуверенно, господа физики?

— Ах, Евгений Александрович, мы же собираемся не прокламацию писать, а обращение к обществу! И, кстати, к тому обществу, у которого денег много. Зачем же нам в это обращение политику всовывать?..

— Милай, так это же вы суете туда политику, а не я! Заявление о том, что наука, дескать, является единственной силой, способной вывести страну из тупика, это и есть политическое заявление. Только очень неумное. Любительское и неграмотное.

— Ну и пусть неграмотное! А по-вашему, обязательно надобно вставлять цитату из Маркса? А если я не марксист?

— И ради бога! Нужны вы марксизму, как дырка в голове!.. Ну хорошо, хорошо, не будем же мы из-за двух-трех слов портить нашу обедню. Я согласен подписать и такое обращение...

Лебедев успокоил Максима, шутил со всеми, хохотал, когда ему рассказывали анекдоты о графе Комаровском. Только по подрагивающим рукам Лазарев догадывался о его волнении, о том, что ему плохо, что надобно уводить его домой. Лебедев как будто понял мысли Лазарева. Он грузно поднялся со стула:

— Ну-с, пора, пора, рога трубят... А то у нас с вами, господа, вид погорельцев. Видел я как-то только что сгоревшую деревню. От домов одни трубы остались, еще головешки дымятся, скарб свален в одну кучу, а погоревшие мужики стоят толпой и всё обсуждают: откедова зачалось да куды сначала пошло... И спорят, спорят об этом с таким ожесточением, как будто это имеет для них самое большое теперь значение. Кажется, и мы с вами сейчас так себя ведем...

— А нужно, мужички,— продолжил почти лебедевским голосом Гопиус,— пораскидать умишком, откеле бревна таскать, где хаты новые ставить, потому как землишки мало, куренка, скажем, некуда выпустить...

Лебедев с Лазаревым уходили из подвала, а позади был еще слышен пронзительный голос Гопиуса, рассказывающего что-то, вероятно, очень веселое, потому что ему вторил дружный хохот уволенных лаборантов бывшей лаборатории физических исследований бывшего профессора Лебедева...

— Хорошо быть молодым! А?— улыбаясь своим мыслям, сказал Лебедев.— То, что для людей моего возраста представляется драматическим крушением, концом всего, для них — только эпизод... И дикая, упорная и непоколебимая вера в то, что все будет так, как они задумали, как им хочется!.. Вдруг вспомнил себя в этом возрасте и понял это огромное, ни с чем не сравнимое преимущество — быть молодым! Вы же знаете, Петр Петрович, как я ненавижу любое проявление жалости ко мне, готов тут же вцепиться в горло! А сегодня я смотрел на них и ощутил сострадание к тому, что произошло со мной, со мной лично... И меня это не оскорбило, как всегда... Даже тронуло... Наверное, это от старости?

— Вы что, Петр Николаевич, Тургенева начитались?

— Почему вдруг Тургенева?

— А это у него я встречал такие фразы: «В комнату вошел немолодой уже человек двадцати пяти лет...» или: «Старик сорока лет...» Сначала я не понимал, почему он так пишет. Сам Тургенев до глубокой и настоящей физиологической старости сохранил молодость души, творческую энергию... А потом понял: речь идет у него не о физиологическом возрасте, а о возрасте положения в обществе. Кончали в прошлом веке университет очень рано, чуть ли не в восемнадцать—девятнадцать лет. К двадцати пяти годам занимали твердую дорогу к служебной карьере. Ну, а в сорок лет был в зените карьеры, сделал уже что мог... Это все по чиновной шкале идет отсчет. Для ученого существует совсем другой отсчет времени. Я несколько раз слышал, Петр Николаевич, как вы уверяли, что только в молодости человек способен к большим научным открытиям. Как человек, имеющий отношение к медицине, а следовательно, и к физиологии, не могу с вами согласиться. В молодости человек просто имеет больше сил, физи-

чески способен больше работать, упорнее сидеть за приборами или лазать по горам, бродить по тропическим там лесам... Но Дарвин закончил свою главную работу, будучи — по шкале Тургенева — уже глубоким стариком. А Франклин? А Ньютон? Да я вам могу тут же назвать десяток великих, которые сохранили могущество ума до самой глубокой, действительно уже физиологической старости...

И хочу вам сказать, мы все моложе вас не только по возрасту. Мы ваши ученики, и не воспринимайте наше стремление сохранить в русской науке Лебедева как акт жалости к нему. Скорее, это сознательное и активное стремление сохранить для себя и для своей науки учителя, наставника, человека, который нас ведет. Не о вас, а о себе, о физике мы хлопочем... И только так прошу вас воспринимать все, что будет происходить...

Тогда, по дороге домой, Лебедев не обратил внимания на слова Лазарева. Его только удивил серьезный тон Петра Петровича, еще более серьезный, чем обычно. Только через несколько дней, третьего марта, он понял смысл и шуточек Гопиуса и серьезность Лазарева. Валентина Александровна вошла с утренней газетой, задержавшись в передней, с каким-то странным выражением...

— Ну, я вижу опять какие-то новости в газете! На этот раз что?

— Да ничего, Петя, плохого... Вот, прочти...

Лебедев не спеша взял газету, пробежал глазами первую страницу и развернул газетные листы. И сразу же на третьей странице наткнулся на свою фамилию. «Письмо в редакцию»... Письмо было длинное, он посмотрел на подписи. А, вот, значит, что имел в виду Петр Петрович. Ну, так что они соизволили придумать?

«В числе лабораторий, прекративших свою научную деятельность в связи с совершившимся уходом профессоров из Московского университета, находится и лаборатория научных исследований при Физическом институте, состоявшая под руководством профессора П. Н. Лебедева.

Мы, нижеподписавшиеся ученики профессора Лебедева, имеем в виду в недалеком будущем подробно ознакомить русское общество с трудами как самого профессора

Лебедева, так и руководимой им лаборатории. В настоящий момент мы считаем долгом выяснить хотя бы приблизительно размеры переживаемой нами потери.

С тех пор как П. Н. Лебедев, совсем еще молодым человеком, поселился в Москве (в 1892 году), он весь свой труд отдавал исключительно Московскому университету, а в его стенах все время посвящал одному только научному труду. Результатом этого труда является целый ряд ставших уже классическими исследований, которые доставили своему автору высокое признание во всем мире, а скромную московскую лабораторию выдвинули на одно из почетных мест.

Однако с общественной точки зрения гораздо более важным представляется то обстоятельство, что профессор П. Н. Лебедев не удовлетворился одними собственными научными трудами. За короткое время, в течение которого он занимает в Москве самостоятельное положение, он успел создать вокруг себя обширную научную школу. Его лаборатория превосходит едва ли не все существующие в мире по количеству ведущихся в ней научных работ, что находится далеко не в соответствии с ее небольшими размерами и отпускаемыми на нее скромными средствами. В последнее время в ней велось до тридцати научных работ, объединенных общей программой. Некоторые вопросы физики именно в московской школе, совместными трудами ее представителей, получили свое полное и исчерпывающее разрешение.

Плоды этой деятельности налицо: за короткое время существования лаборатории из нее вышло пять докторских и магистерских диссертаций, свыше трех десятков других научных исследований. Ее питомцами уже замещены две университетские кафедры. Она же дала несколько десятков ассистентов, лаборантов, приват-доцентов и преподавателей высших учебных заведений как в Москве, так и в других университетских центрах.

Физика стоит ныне в центре всех точных наук, всех научных разработок, техническо-прикладных дисциплин. Неужели суждено погибнуть ее молодому пристанищу?

Инициатива создания нового специального научно-исследовательского института, заведование которым нужно просить взять на себя профессора Петра Николаевича Лебедева, должна принадлежать обществу.

Институт этот должен стоять отдельно от учебного за-

ведения, чтобы быть вне сферы тех потрясений, которые периодически испытывают наши университеты. Он должен служить одной науке, не отвлекаемый от нее ни делом школьного преподавания, ни какими-либо иными посторонними задачами. Он должен быть поручен профессору Лебедеву, чтобы в нем могла продолжаться интенсивная работа лаборатории; чтобы получили вновь приют начатые исследования, которые теперь стоят перед грозной опасностью никогда не увидеть своего конца; чтобы сохранилось для нашей родины крупное сосредоточение науки, которая одна, ценою упорного труда, выведет Россию на торную дорогу прогресса.

М. В. Вильборг, Е. А. Гопиус, А. Г. Иоллас, П. П. Кандидов, Т. П. Кравец, П. П. Лазарев, Н. Н. Лебеденко, Л. И. Лисицын, А. Б. Млодзиевский, Г. Б. Порт, В. И. Романов, А. К. Тимирязев, В. С. Титов, Н. Е. Успенский, Н. К. Щадро, В. И. Зомарх, К. П. Яковлев».

...Жена стояла рядом у стола и ждала, пока Лебедев не кончит читать. Она внимательно следила за его лицом, силясь понять, как он встретит это заявление своих учеников, появившееся сегодня в нескольких московских газетах.

«Несбыточное мечтание», как однажды уже заявил при вступлении на престол ныне благополучно царствующий государь император... Сначала разозлился — уж очень некрологом воняет! — а потом увлекся мечтаниями наивных молодых людей. Хотя среди них имеется и Петр Петрович, который и не молодой, и не наивный...

— Ну почему же, Петя, ты их считаешь уже столь наивными? Мне кажется, что все они вполне деловые, практически мыслящие люди. И не один Петр Петрович...

— Видишь ли, Валя, с тех пор как наука существует в России, она всегда была казенной. Никогда у нас не было ни одного научного учреждения, которое не содержалось бы государством, а следовательно, от него зависело. Милые люди, сочинившие это письмо, предлагают не более не менее, как создать первый русский научно-исследовательский институт, независимый от начальства. Даже если предположить, что такие люди, как Петр Петрович, выколотят деньги у меценатов, то все равно начальство этого не допустит!

— Ну какое начальство? Министерство?

— И министерство... Министерство народного просвещения. Министерство внутренних дел, Академия наук, попечитель, генерал-губернатор, градоначальник, исправник, пристав Тверской части... Господи, да их полно, этих начальников, от которых мы все зависим! И каждому из них, и всем вместе с высокого дерева плевать на науку! Все они, Валя, рассматривают все происходящее в России и за ее пределами только с одной точки зрения: будет ли нам, начальникам, от этого лучше или хуже? Как это может повлиять на наши должности, звания, жалование, усадьбы, заграничные поездки, успех у балерин...

— Ну чем же может им в этом помешать лаборатория, содержащаяся на деньги общества? Не понимаю!..

— А чего тут не понимать! Они все могут держаться на своих местах, только подминая под себя все живое, не допуская ничего, что могло бы конкурировать со всем, что им подчинено!.. Как будет выглядеть императорская Академия наук, если будет существовать какая-нибудь «Вольная академия», которая заткнет ее за пояс? Как будет выглядеть казенное образование, если будут существовать неподчиняющиеся министерству школы и университеты? Нет, нет, это все очень трогательно, но совершенно нереально...

Как и во все эти дни, Лазарев пришел к Лебедеву. Спокойный, сдержанный, как будто не происходили события, смещающие неизвестно куда его жизнь, работу, будущее... Лебедев на него покосился с иронической улыбкой:

— Да, да, конечно, читал... Письмо запорожцев турецкому султану... Удивительно, что и вы принимали участие в этом милом юношеском порыве. Как-то непохоже на вас. Всегда восторженная речь и кудри черные до плеч... Не вы, не вы, Петр Петрович... Никогда не замечал у вас никакой восторженности. А тут!..

— Да, вы правы, восторженность мне не очень свойственна. Не о жесте идет речь, Петр Николаевич, а о совершенно конкретном деле. Мы в состоянии сохранить то, что не должно быть уничтожено. У нас ведь не состоялся очередной ваш коллоквиум...

— Многое не состоялось, Петр Петрович. Да и не состоится, очевидно...

— Ну, это мы еще посмотрим. А теперь о конкретном: университет Шанявского просит перенести лебедевские коллоквиумы в его стены. Естественно, что он обеспечивает занятия всем необходимым. Как вы смотрите, Петр Николаевич, на то, чтобы собрать его дней через десять? В воскресенье, скажем, тринадцатого марта?.. Программу коллоквиума я намечу и покажу вам. А десять дней в наше время — срок большой... Еще всякое может быть.

— Да, да... Например, за эти десять дней в России в первопрестольной будет создана «Вольная академия»... Вот еще не знаю только, кого предложить в президенты: вас или моего Александра Александровича? Каждый из вас способен, черт побери, принять этот пост без улыбки и слепить эту академию из ничего!..

— Ну, почему же это из ничего?— не принимая иронии Лебедева, спокойно сказал Лазарев.— Слава богу, есть из чего! Пусть только не мешают нам, а уж что и как делать, мы знаем... А знаете, хорошая эта мысль: Российская Вольная академия наук... Звучит!



„Вольная академия"

С тех пор как неистовый помор создал в Москве первый русский университет, все, что объединялось коротким и бесконечно расплывчатым понятием «наука», было связано только с университетом. Конечно, существовали другие высшие учебные заведения, были у них в Москве и отличные лаборатории, и превосходно поставленные кафедры, но все привыкли к мысли, что настоящая наука в Москве только одна — та, что заключена в небольшом прямоугольнике между Воздвиженкой, Моховой, Шереметьевским, Тверской. И уж, во всяком случае, камертон, настраивающий всю научную работу в Москве и, пожалуй, во всей России, этот камертон звучал здесь. И только здесь.

Трудно было поверить, что может быть иначе. А то, что

из знаменитого Московского университета уходит жизнь, становилось очевидным не только ушедшим из университета, но и оставшимся в нем. Приехал из поездки в Петербург новый ректор. Комаровский был там везде: и у министра Кассо, и у министра финансов Коковцева, и у самого «Петра IV», как называли петербургские остряки всесильного и властного председателя совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Графский титул и благонамеренность нового ректора Московского университета открывали ему двери во всех больших приемных. Тщетно старался Комаровский убедить своих высокопоставленных собеседников, что наука и ученые — вещи, довольно взаимосвязанные, что кафедры — не административные или выборные должности, что заменить Умова, Вернадского, Лебедева, Зелинского нельзя...

На заседаниях университетского совета, поредевшем, скукожившемся, скучном, Комаровский чуть ли не со слезами в голосе рассказывал, как он старался убедить разрешить оставить в университете Мануйлова, Мензбира и Минакова и этим прекратить неслыханную в истории русской науки «профессорскую забастовку». Он публично винил себя, что не мог убедить даже такие светлые головы, как Петр Аркадьевич Столыпин и Владимир Николаевич Коковцев, в невозможности заменить несколько десятков профессоров... Члены университетского совета молчали мрачно и сочувственно. Совет теперь собирался часто — больше почти и делать было нечего в опустевшем и полумертвом университете, и эти частые заседания все же создавали какую-то иллюзию жизни...

Неудачу Комаровского объяснил своим собеседникам Гопиус в старом трактире на Большой Дмитровке, том самом, где происходило традиционное продолжение лебедевских коллоквиумов. Руками, привыкшими к тонкой и точной работе со сложными приборами, он раздирал на полупрозрачные волокна превосходную астраханскую воблу и деловито, как будто излагал физическую теорему, говорил:

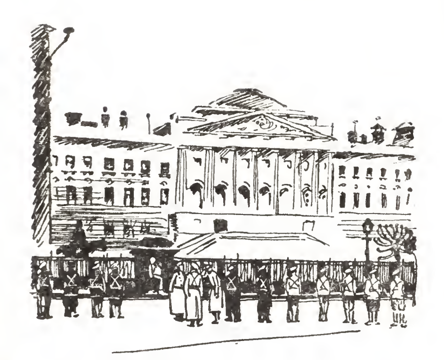
— Комаровский, хотя и граф, болван и порядочная скотина, но все же полжизни крутится в университете и понимает, что невозможно взять, скажем, помощника градоначальника полковника Модля и назначить вместо профессора Лебедева. А в Петербурге это понять им невозможно. Каждый из них считает себя способным управлять Россией. А что?! Что он, глупее Петра Аркадьевича или

Владимира Николаевича? Те управляют — и ничего... Значит, и мы можем. Очень даже просто. С Россией справились, так неужто с какой-то там физикой не справимся?! А потом, они убеждены, что для физики, географии там и прочего — для этого есть извозчики... А уж заменить извозчика не так трудно. Да и вообще, кроме них, всех заменить всегда можно. Вот мы сейчас пьем пиво Карнеева и Горшанова, а не будет его, перейдем на «трехгорное», золотое... Да и не только они, даже многие вроде как бы интеллигентные господа еще не совсем поняли, что теперешний Московский университет так же напоминает прежний, как чучело лисы в витрине — живую лису в лесу...

Еще по старой разнарядке Охранного отделения филеры выходили ранним утром на свои посты у ворот университета. Еще каждый день городовые заставляли дворников расчищать мокрые кучи снега у ворот Манежа, посыпать песком площадку — старый Манеж был готов принять гостей... Но ничего не происходило у старого бело-желтого дома на Моховой. Жизнь перемещалась куда-то совсем в другую сторону. В какую?.. Вдруг откуда-то вынырнуло и пошло, пошло по газетам, по заседаниям, по профессорским гостиным, по кабинетам начальства странно, дерзко и непривычно звучащее название: «Вольная академия».

Уже на другой день после того, как Лебедев невесело сострил насчет «Вольной академии», в самой солидной, самой «профессорской» газете «Русские ведомости» появилась статья о том, что после всего случившегося в университете необходимо создать в Москве «Вольную научную академию». Автор статьи с профессорской, неторопливой обстоятельностью объяснял, что это должен быть частный научный институт со многими хорошо оборудованными лабораториями, в которых будут работать — по своим самостоятельным темам — крупнейшие ученые России... И что для этого надобно найти деньги у тех богатых людей, которые прежде охотно давали их на строительство новых университетских зданий и клиник.

Для Лебедева самым удивительным было то, что статью эту написал не кто-то из его буйного лебедевского окружения, а самый что ни на есть спокойный и почтенный московский профессор — Дмитрий Николаевич



Анучин. Знаменитый русский географ и антрополог был такой же неизменной составной частью университета, как, скажем, его домовая церковь... Он возглавлял кафедру больше четверти века, был президентом Общества любителей естествознания больше двадцати лет, никогда не был замечен ни в каком фрондерстве... Даже в отставку не ушел вместе с другими!.. И вот этот-то спокойный и благонамеренный человек как о нечто само собой разумеющемся писал о том, какой должна она быть, эта «Вольная академия»...

Гопиус сейчас мог бы подкольнуть Лебедева: он читал теперь не одно только «Русское слово». Каждое утро горничная приносила ему в столовую целую груду московских газет. И почти в каждой были самые разные статьи об этой неведомой «Вольной академии». Такие здравомыслящие и серьезные люди, как Умов, Мензбир, Минаков, Рот, детально разбирали вопрос о том, какой она должна быть, эта академия, какие в ней должны быть лаборатории, кто

ею должен руководить... Может быть, стоит расширить университет Шанявского или же «Вольную академию» создать при Обществе испытателей природы? А как ее назвать? Ну конечно, начальство не допустит, чтобы существовала еще какая-то академия, да еще с таким названием, как «Вольная».

Но это и неважно! Можно назвать ее по-другому! Ну, скажем, «Московский физический институт» или еще как-нибудь... А деньги? Не дожидаясь, пока развяжут свои большие кошели знаменитые московские богатеи, начали собирать деньги сами ученые. Одни вносили 50, другие по 100, некоторые по 200 рублей. И даже обязывались вносить эти суммы ежегодно в течение десяти лет...

И чтобы у начальства уже не было никакого сомнения, что будущая «Вольная академия» будет пристанищем самой разнузданной анархии, газеты напечатали беседу с проживающим в Париже знаменитым ученым Ильей Ильичом Мечниковым. Он не только считал возможным создание «Вольной академии», но и говорил, что уже существует в мире ее прообраз. «В сущности наш Пастеровский институт является именно такой Вольной академией. Здесь у нас полная анархия, никакой иерархии нет. Мы все товарищи, семья сынов науки...»

И наконец на стол попечителя Московского учебного округа, бывшего ректора Московского университета, действительного статского советника Тихомирова, легла казенная бумага из Петербурга со строгой надписью наверху справа: «Секретно».

«Ваше превосходительство, милостивый государь Александр Андреевич! — тоскливо читал Тихомиров. — Министерством народного просвещения, а также другими авторитетными и компетентными органами получены сведения о том, что в Москве некоторыми неблагонамеренными частными лицами проектируется организация так называемой «Вольной академии». Ячейками вышеуказанной т. н. «Вольной академии» должны стать лаборатории, основанные профессорами императорского Московского университета, демонстративно ушедшими в отставку:
физической — П. Н. Лебедева,
биологической — М. А. Мензбира,
химической — Н. Д. Зелинского.

Деньги на организацию этих частных лабораторий, создаваемых для подрыва и дискредитации правительственных научных учреждений, предполагается получить от правления университета им. Шанявского и Леденцовского общества содействия опытным наукам. Из осведомленных источников сообщается, что московские капиталисты, известные своим радикализмом, обещали дать на организацию т. н. «Вольной академии» 300 000 рублей.

По содержанию изложенного покорнейше прошу Ваше превосходительство принять соответствующие меры к недопущению каких бы то ни было учреждений, имеющих противоправительственный характер...»

Письмо было подписано товарищем министра народного просвещения Шевляковым.

Попечитель Московского учебного округа долго, нескончаемо долго сидел за огромным пустынным письменным столом. Сидел, сжав тонкие бесцветные губы, прикрыв глаза полупрозрачной пленкой истонченных век... Конечно, им в Петербурге легко писать такие письма... Сам так делал, когда сидел в министерстве директором департамента... А вот что здесь, в этой буйной распущенной Москве, делать, когда тут даже полоумные купцы дают деньги на бунт, а такие обеспеченные и положительные люди, как инженеры, связываются с самыми оголтелыми революционерами!.. Общества!.. Знаем мы эти общества!.. Вот совсем на днях приезжал полковник из Охранного и сообщил, что Общество физико-механиков, оказывается, связано с самыми опасными социал-демократами, с большевиками... Арестовали члена общества какого-то Иванова... А у другого члена общества, Соболева, нашли при обыске материалы о какой-то большевистской школе в Италии, на острове Капри... И сам Ленин приглашает прислать студентов в ихний большевистский университет или школу в Париже... Вот тебе и физики, вот тебе и механики!.. Разрешили этим механикам, этим приличным как бы господам инженерам, построить себе в Харитоньевском технический клуб для обсуждений всяких там научных вопросов, а они вот как... И каждый день, каждый день приносят из Охранного, от градоначальства засургученные пакеты, и в каждом из них какая-нибудь неприятность для попечителя. Вот уже сегодня утром принесли такой... Сообщают, что Московским охранным отделением

арестован студент Московского технического училища Андрей Николаевич Туполев и найдены у него при обыске материалы о связи этого Туполева с петербургским студенческим не разрешенным союзом... Ну что с ними со всеми делать?!

А теперь еще эта «Вольная академия»! Не допускать! А как не допускать?.. Ну конечно, никакой такой «академии» он не разрешит, и министерство внутренних дел не утвердит этого... А что им помешает создать эту проклятую академию под видом всяких там научных обществ, кружков, лабораторий, коллоквиумов, семинаров, еще как-нибудь назовут, черт их дери!!! Как им запретить заниматься каким-то полусумасшествием, вроде взвешивания света! Божьего света, ниспосланного господом нашим!.. Этому Лебедеву за этот неприличный фокус непристойные почести оказывают, даже избрали членом Лондонского королевского общества... А он его знает, хорошо знает по университету. Неприятный господин! Непочтительный, злой, воображает о себе бог знает что! Ведет себя как князь! А сам из купчиков, разорившихся купчиков... Теперь его ученички подняли в газетенках истошный крик, чуть ли не Ломоносовым его изображают... Институт, видите ли, для него создать!.. И учеников этот Лебедев подобрал себе весьма подозрительных. Лазарев... Кажется, ни в чем не замешан, а человек скользкий, темный, очень подозрительный... И этот молодой Тимирязев... Вот уж действительно яблоко от яблони... Отец — разнузданный человек, всегда был красным, и сын, наверное, такой же... И в этой компании есть еще какой-то Гоппус, что ли, о котором давно, еще в пятом, были такие сведения!.. Ну и компаньица же собралась в Московском университете! Хорошо, что нарыв этот лопнул, сейчас самое главное — не пускать их назад, прочистить и продезинфицировать больной организм университета...

В субботу, двенадцатого марта, Лебедеву позвонил Лазарев и долго рассказывал о новых работах Резерфорда, опубликованных в свежем, только что им полученном из Лондона номере «Трудов королевского общества». Потом, прощаясь, как бы между прочим напомнил, что завтра в университете Шанявского очередной лебедевский коллоквиум — как обычно...

Сугробы серого талого снега лежали на московских улицах, ручьи вдоль тротуаров бежали с журчанием, клекотом и звоном, заглушающим стук конских копыт. Впервые в этом году Лебедев ехал не на санях, а в пролетке, солнце переливалось на медных начищенных бляхах сбруи. У Румянцевского музея, со Знаменки, низвергался пенистый поток, по которому неслись уже намокшие и полузатонувшие бумажные кораблики... Весна! И Лебедев подставлял лицо солнцу, он как бы чувствовал на коже щекотное прикосновение солнечных лучей, их теплоту, их тяжесть... Да, да, стоит только вот так напрячь свои чувства, как без всяких этих приборов можно ощутить приятное, ласковое, нежное давление света... Поэты, музыканты, вообще люди искусства, наверное, поняли это гораздо раньше, нежели физики... На днях Саша Эйхенвальд несколько часов восторженно ему рассказывал о том, как его хороший знакомый, композитор и музыкант, известный всей Москве Александр Николаевич Скрябин пробует соединить музыку с цветом, как он интересно доказывает существование некоей связи между звуком и цветом. Гм... Интересно, конечно, но физикой тут и не пахнет... Хотя, кто знает, что нам откроет завтрашний день науки?.. Уж он-то, Лебедев, никогда не аргументировал, как чеховский герой: «Этого не может быть потому, что не может быть никогда». Разве максвелловская теория света не выглядела на первый взгляд столь же фантастично, как и эта странная скрябинская музыка?..

На Волхонке, у подъезда университета Шанявского, чернела толпа. Что сегодня там? Лекция? Концерт?.. Медленно сходя с пролетки, Лебедев увидел обращенные к нему восторженные лица, услышал гулкие, нестройные аплодисменты... Господи! Этого еще не хватало! Как тенора какого, как Собинова встречают!.. Ну погоди, Петр Петрович, любезнейший господин!..

Поджав губы, вскинув вверх подбородок, Лебедев прошел сквозь расступившуюся толпу и сердито поднялся по парадной мраморной лестнице в профессорскую. К сожалению, он не мог сразу же высказать Петру Петровичу, что он думает про этот спектакль, галла-концерт, эстраду, цирк, кафе-шантан, черт возьми!.. В профессорской было полно почтенных профессоров и приват-доцентов, которых раньше арканом нельзя было затащить на физический коллоквиум. А теперь? Наверное, от нечего делать, что

ли, явились сюда. А еще Лазарев ему вчера сказал: «как обычно». Да уж, как обычно!..

Здоровался со всеми, Лазареву холодно кивнул издали. Тот и глазом не повел. Не прошибешь его! Отыгрался на Эйхенвальде, которого отвел в угол и сказал, что он, наверное, тоже принимал участие в том, чтобы обыкновенный, обыденный коллоквиум превратить не то в политический митинг, не то в представление профессоров белой и черной магии, хиромантии и оккультистики... Эйхенвальд, по обыкновению, смеялся над горячностью Лебедева и уверял, что Петя должен по гроб жизни быть благодарен за то, что он не разрешил своим курсисткам прийти на сегодняшний коллоквиум. Иначе восторженные девицы засыпали бы его цветами и зацеловали...

Участники коллоквиума с трудом поместились в просторной аудитории. Сидя за большим столом, Лебедев сердито смотрел на это скопление студенческих тужурок, профессорских сюртуков и непривычных для лебедевских коллоквиумов дамских черных платьев с белыми воротничками. Все-таки попали сюда и женщины!.. И открылся коллоквиум не совсем обычно. Лазарев зачитал восторженное письмо Климентия Аркадьевича Тимирязева, в котором он этот обыкновеннейший физический коллоквиум называл чуть ли не крупнейшим событием в научной жизни России...

Хорошо хоть, что дальше все шло по программе, составленной самим Лебедевым. Торичан Павлович Кравец отлично рассказал о своих работах по поглощению света в окрашенных жидкостях. Как и всякие оптические опыты, то, что он проделывал, было красиво, эффектно, действительно почти как представление профессора белой и черной магии... Юрий Викторович Вульф, которого он уже давно хотел пригласить выступить на своем коллоквиуме, увлекательно — как это только может быть в такой скучной науке, кристаллографии! — рассказал о жидких кристаллах, их странных свойствах, о том, что может дать науке понимание природы этого противоречивого и странного явления... Словом, было не только парадно, но и интересно. Правда, не обошлось и без дивертисмента. Какая-то горячая голова выступила под конец и от имени присутствующих просила Аркадия Климентьевича Тимирязева передать его отцу благодарность за нравственную

поддержку выдающейся деятельности выдающегося ученого в выдающейся лаборатории выдающегося... Тьфу!.. Ох и любят же в России всякие там красоты и любезности!..

И уж вовсе неожиданной была концовка коллоквиума. Когда Лебедев, поблагодарив участников, объявил заседание закрытым, вдруг снова попросил слово Кравец. Лебедев недоуменным жестом пригласил его на кафедру. Но Кравец сделал неожиданное заявление. Он, Лебеденко и Романов учредили Московское физическое общество, устав и название которого зарегистрированы в Городском присутствии об обществах и союзах. Общество, основателями которого являются ученики Петра Николаевича Лебедева, ставит своей целью дальнейшее развитие идей и работ своего учителя. Общество имеет право устраивать выставки, лаборатории и научные кабинеты. Средства нового общества составляются из членских взносов и добровольных пожертвований. Учредители Московского физического общества просят всех желающих стать членами нового общества, записаться у казначея общества Вячеслава Ильича Романова... Под дружные аплодисменты Кравец торжественно сошел с эстрады, раскланиваясь налево и направо, как знаменитый артист после удачного выступления...

В профессорской Петр Петрович Лазарев как ни в чем не бывало подошел и предложил отвезти Лебедева домой: его извозчик ожидает у подъезда. Лебедев на него покосился:

— Благодарствую-с, Петр Петрович... Может быть, и домой ко мне соизволите зайти-с?

— Соизволю, Петр Николаевич. С большим удовольствием соизволю...

Дома отвел Лазарева в кабинет, усадил, встал перед ним и мрачно скрестил руки на груди.

— Что ж, и дальше у нас будут такие коллоквиумы? Конфетти, серпантин, живые цветы, восторженные клики и девичьи вздохи!.. Бросание в воздух чепчиков и прочих принадлежностей дамского туалета... И в такой милой интимной обстановке мы будем обсуждать, на сколько градусов отклоняется луч света в искусственной среде? Да?

— Петр Николаевич! Вы напрасно весь коллоквиум на меня волком смотрели. Первое заседание после разгрома университета! Да это не только научное заседание, это и

общественное явление... Ведь пришли сегодня люди, пусть и мало смыслящие в физике, но искренне заинтересованные в русской науке, в работах лаборатории профессора Лебедева. Что ж, мы их взашей будем толкать? И без нас таких толкальщиков хватит! А дальше работа вашего семинара приобретет свой обычный и деловой характер. Конечно, нам с вами следует иметь в виду, что в университете Шанявского не существует столь резких ограничений, как в императорском университете. И в семинаре может пожелать принять участие более широкий круг людей. Даже дамского пола-с... Так вы же никогда женоненавистником не были, Петр Николаевич...

— Ну хорошо. А это общество? Это что — научное общество?! Вы видели, как обступили, как чуть не задавили тихого Вячеслава Ильича? При чем тут физика? Это же будет общество «Белой ромашки» — так сказать, вполне благородное и этакое гуманистическое, но к физике, к науке вообще никакого отношения не имеющее... Очень почитаю гражданственный порыв Торичана Павловича, как и его способности ученого. Но согласитесь же, Петр Петрович, какая научная цена физическому обществу, составленному из восторженных студентов под водительством Торичана Павловича Кравеца... Московское физическое общество без Умова, без Эйхенвальда... И вас я не услышал в числе членов... Ну, без Лебедева Физическое общество может обойтись... Это теперь почти аксиоматично...

— Совершенно с вами согласен, Петр Николаевич, что вы и можете заключить из того, что не услышали моей фамилии в числе членов-учредителей. Конечно, общество это — юношеское увлечение, хотя Торичан Павлович уже отнюдь не юноша. Но воздадим должное благородному порыву, а сами перейдем к созданию другого, настоящего научного, настоящего Физического общества... Да и что там говорить — общества! Это для регистрации мы его так называть будем. А речь идет о создании нового Физического института под вашим руководством.

— Моим?

— А чьим же?.. Не почтенного же Алексея Петровича Соколова, который уже взял назад свое прошение об отставке и вернется снова к исполнению обязанностей директора Физического института университета... Да, под вашим, Петр Николаевич, и вот это-то и есть дело, которым я с Александром Александровичем сейчас занимаюсь.

Дело большое, серьезное, и я вас прошу к нему отнестись со всем вниманием. В самое ближайшее время состоится учредительное собрание этого общества...

— С такими же речами, слезами умиления, горящими глазами? Будет такой же татьянин день, как сегодня?

— Ну, хватит шпынять, Петр Николаевич, за сегодняшний день! Богу — богово, кесарю — кесарево... Сегодня мы на всю Москву, на всю Россию громко заявили, что министерской банде не удалось уничтожить лебедевской школы русских физиков! И пусть молодежь объединяется в том обществе, которое вы так критикуете. Кому же, как не ей, встать в защиту науки, своих учителей! Пусть этим занимаются. А мы, взрослые люди, профессионально занимающиеся наукой,— мы будем создавать лебедевский институт...

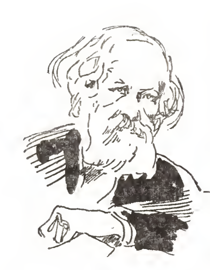
— Петр Петрович, миленький, на какие это шиши будете делать? Я сегодня смотрел на собравшихся, у меня сердце щемило от боли, от тревоги... Ведь это люди, мгновенно, в один день, лишившиеся заработка, у всех у них семьи... Бог мой, что они делать будут?!

— Вот-вот... Тихомиров и компания и рассчитывали на отчаяние, на то, что можно рукой голода ухватить ученых... А знаете ли вы, что в пользу профессоров и приват-доцентов, лишившихся заработка, уже собрано четырнадцать тысяч рублей? Нет-нет, вы не спешите возмущаться, вовсе не о благотворительности идет речь. Хотя — видит бог! — не вижу ничего зазорного в том, чтобы общество материально поддержало людей, ради этого же общества идущих на жертвы... Мы создадим капитал, достаточный для того, чтобы в самой необходимой степени оплачивать труд профессоров, ассистентов, лаборантов, которые будут работать в вашей лаборатории.

— Моей?..

— Вашей, Петр Николаевич...

Учредительное собрание «Общества Московского научного института» проходило так, что даже настороженный Лебедев не мог в нем найти ничего восторженного, юношеского, декламационного. В чинном и строгом зале заседаний в Харитоньевском переулке 25 марта собрались три-четыре десятка людей, хорошо известных Лебедеву. За столом председателя возвышалась высокая, массивная



фигура патриарха московских физиков — Николая Алексеевича Умова. Как всегда, выступал он торжественно, велеречиво, его седые кудри развевались, образуя сияющий нимб.

Но восторженность Умова была вполне нейтрализована деловитостью других ораторов. Все были согласны с тем, что создается общество, которое должно стать юридической основой частных лабораторий, создаваемых по мере того, как новое общество получит в свое распоряжение достаточно денег. Заседание проходило быстро, без излишних слов, Лебедеву, сидевшему в стороне, было совершенно очевидно, что Лазарев и Эйхенвальд уже продумали все детали не только будущего общества, но даже и этого, учредительного заседания.

Умов предложил избрать председателем общества Петра Николаевича Лебедева. Лебедев не успел подняться с места, как присутствующие единогласно за это проголосовали. Столь же дружно избрали товарищем председателя Петра Петровича Лазарева. Членами совета выбрали Умова, Эйхенвальда, Вульфа, Лебеденко. Секретарем — Кравеца. Председателем ревизионной комиссии — Аркадия Климентьевича Тимирязева. Казначеем — Романова. Библиотекарем — молодого Млодзиевского...

— Ну, ты доволен сухостью и краткостью заседания?— спросил Лебедева Эйхенвальд. Они ехали из Харитоньевского не на извозчике, а на лихаче — любил, любил Саша этак погусарить...

— Да, слава богу, обошлось сегодня без мелодекламации... Но клянусь, Саша, если бы Николай Алексеевич стал опять со слезой в голосе говорить о заслугах Лебедева перед наукой, прогрессом, цивилизацией, человечеством, господом богом и всеми святыми, не выдержал бы я, отказался решительно! Ну не переношу я такое, и никто лучше тебя этого не знает!..

— Ну, положим, знают это все, характер профессора Лебедева сидит в печенках у каждого, кто с ним дело имеет. Но дело есть дело...

— Да. Даже Евгений Александрович сегодня рта не раскрыл, ни разу никого не поддел, не сострил. Кстати, а почему это он не вошел в руководство обществом? При всей кажущейся своей разболтанности, Гопиус, по-моему, один из самых толковых людей у нас...

— Мы думали об этом. Но Гопиус сам отвел свою кандидатуру. Сказал, что надобно выбирать людей безупречных, трезвых, положительных. А про него-де начальство знает, что он не безупречный, не положительный и не всегда трезвый..

— Да. Начальство про него, наверное, больше знает, нежели мы. Чужая душа — потемки... И не люблю я тех, кто в чужую душу прется с сапогами...

— Ну если над этими сапогами штаны с кантом, то оно и понятно. Наверное, Евгений Александрович вот этих душеведов и имел в виду...

Слева осталась маленькая церковь на углу Мясницкой. В юности Лебедев никогда не обращал на нее внимания — ну обыкновенная древняя, замшелая московская церквушка... А в последние годы, в те редкие дни, когда ходил по Москве и заносило его к Лубянским воротам, захаживал на маленький церковный двор, чтобы постоять возле вросшей в землю надгробной плиты, надпись на которой давно заросла лишайником. Под ней похоронен первый русский ученый, первый русский математик Леонтий Магницкий. Вот ведь как сумел! Самоучкой, без посторонней помощи изучал европейские языки, математику, стал в понимании ее значения на уровень самых больших ученых мира... И умер почти в безвестности, и был похоронен не в подобии Вестминстерского аббатства, а во дворике своей приходской церкви, в могиле, о которой никто не беспокоится, которая никому не нужна... Купит какой-нибудь купчина у духовного ведомства этот кусок церковного двора за немалые деньги и построит москательную или мануфактурную лавку. И землекопы выкинут из котлована череп замечательного ученого...

Толстые дутые шины новенькой лакированной пролетки мягко пружинили по булыжнику Лубянской площади. Над вечерней весенней Москвой плыл звон десятков церквей. На Кузнецком мосту зажглись электрические фонари,

вспыхнули витрины магазинов. Одетая уже по весеннему, толпа гуляющих толкалась на тротуарах. Представительный, хорошо одетый господин с черной бородой, встретившись взглядом с седоками лихача, почтительно приподнял котелок. Лебедев хмуро кивнул в ответ головой.

Эйхенвальд усмехнулся:

— Что ж ты так нелюбезен с Павлом Карловичем? Ты ведь всегда очень хорошо относился к Штернбергу... Восхищался им.

— Да. Всегда нравился как ученый, как человек... И ругаю себя за то, что не могу преодолеть возникшей к нему неприязни. Имеет же он право остаться в университете! И иначе он не мог поступить: ему без обсерватории нечего делать, а частных обсерваторий в России нет. И не будет. Все это головой понимаю. Говорят, что Витольд Карлович Цераский взял обратно свое прошение об отставке. И это понимаю. И извиняю. Цераский есть Цераский! А вот от Штернберга ждал другого: мне почему-то казалось, что под его спокойствием, хладнокровием, деловитостью есть что-то такое горячее, жертвенное, отчаянное... И вдруг — ничего такого... Почувствовал себя, как мальчишка, которого обманули. Вот глупо-то!

У подъезда квартиры Лебедева Эйхенвальд остановил извозчика.

— Петя! О заседании отделения физики тебе уже сообщали? Тут уж тебе некуда деваться. Не каждый день члена Общества любителей естествознания избирают членом Лондонского королевского общества... И общество имеет право это отмечать. Придется тебе пятого апреля быть в парадном сюртуке. И Вале придется страдать с тобой...

— О господи!..

Сидя за длинным столом на эстраде Большой аудитории Политехнического музея, Лебедев осматривал доверху заполненный знакомый зал. На первых скамейках сидели нарядные дамы, и Валя была в центре этого цветастого шелково-кружевного общества. А позади сидели знакомые, знакомые люди. И странно было видеть, как они сгруппированы... Конечно, явились все коллеги Лебедева по университету, все, кто уже десятки лет были действительными членами этого знаменитого русского на-

учного общества... Были здесь и Андреев, и Лейст, и Зограф, и Сабанеев... Но какая-то невидимая отчетливая черта была проведена между теми, кто ушел, и теми, кто остался.

И каждый раз, когда называлась фамилия Лебедева и огромный зал взрывался аплодисментами, так смешно было видеть, как, раскрасневшись от усилий, с размаху, не жалея ладоней, хлопают одни и как осторожно, еле касаясь ладонями, беззвучно и холодно аплодируют другие...

Председательствовал Николай Егорович Жуковский. Его массивная, медвежеподобная фигура возвышалась в президиуме среди других друзей Лебедева. Из тех, кто не разделил судьбы и председателя собрания и чествуемого, единственным был, пожалуй, только Анучин. Все остальные были такие же, как Лебедев, и сидели они в президиуме с таким торжественным и ликующим видом, что казалось, все слова, которые здесь говорились о Лебедеве, имели прямое отношение и к ним...

Как всегда, когда вслух говорили о его научных заслугах, Лебедев внутренне вздрагивал и покрывался липким потом какой-то стыдной неловкости... Он слушал Жуковского, который говорил, что Лебедев и есть настоящий создатель школы русских физиков, настоящее украшение университета, который невозможно представить без Лебедева... Он слушал физиков, занимавшихся в его семинаре, и про себя отметил, что они здесь гораздо красноречивей, нежели на занятиях семинара. Не забыть бы им это когда-нибудь напомнить!.. Но сквозь это привычное, нелюбимое им чувство неловкости пробивалось возникающее в нем ощущение связанности с этими людьми. Они гордились им потому, что он был для них свой!.. Лебедев всегда выливал ушат холодной воды знаменитой лебедевской иронии на тех, кто любил ораторствовать о корпоративности ученых. Но сейчас он так сильно ощущал это единение своих коллег, товарищей, друзей...

«Но разве это корпоративность физиков?» — спрашивал себя Лебедев, водя пальцем по зеленой скатерти стола. Разве Алексей Петрович Соколов, отличный физик, с которым он работал два десятка лет,— разве не объединяет их многолетняя работа над созданием Физического института. А сейчас сидит вон направо Алексей Петрович, сидит отчужденно от него, Лебедева, от многих других лю-

дей, с кем у него десятки лет были общие научные интересы... Значит, не наука только объединяет?

После заседания пестрая толпа ученых рассаживалась по экипажам, чтобы ехать в «Прагу», где должен был состояться товарищеский ужин в честь Лебедева. Устроители усадили виновника торжества и Валентину Александровну в автомобиль, нанятый для этого высокоторжественного случая. Жена, не привыкшая к треску и опасной скорости машины, прижалась к Лебедеву. «Лорен-дитрих», испуская клубы сиреневого дыма, мчался по Моховой мимо столь знакомого здания в глубине за оградой... Медный, начищенный до блеска рожок автомобиля угрожающе ревел, встречные лошади шарахались в сторону. У нового огромного здания ресторана лакеи высаживали из экипажей гостей и провожали их по парадной лестнице в банкетный зал.

В пестрой тесноте участников ужина, толпившихся у дверей зала, Лебедев не увидел ни Лейста, ни Сабинина, ни Андреева... И даже не было Алексея Петровича Соколова...

Почему? Почему нет Алексея Петровича?.. Не потому же он не участвует в чествовании коллеги, что начальства боится? Чего ему бояться?.. Значит, стыдно? В коридоре Гопиус с уже раскрасневшимся лицом — и когда он только успел?! — весело разговаривал с каким-то человеком, стоявшим спиной к Лебедеву. Гопиус хватал его за руки и хохотал, наслаждаясь своим рассказом. Собеседник Гопиуса, как бы почувствовав любопытствующий взгляд Лебедева, обернулся и, приветливо улыбаясь, свободно и непринужденно подошел к Лебедеву.

— Душевно рад, Петр Николаевич, поздравить вас, Валентину Александровну и всех нас с этим радостным для русской науки днем...

— Благодарю, благодарю, Павел Карлович. Рад вас встретить здесь. Надеюсь, что вы не чувствуете себя одиноким... Так сказать, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил...

За спиной Штернберга оглушительно захохотал Гопиус. Штернберг и не думал смущаться.

— Спасибо, Петр Николаевич, что хоть эти пушкинские строчки вспомнили, а не какие-нибудь другие...

— «Как с древа сорвался предатель-ученик...» — с чувством продекламировал Гопиус.

— Ну, полно, полно, Евгений Александрович,— с досадой сказал Лебедев.— Мне бы не хотелось, Павел Карлович, чтобы у вас составилось мнение, что я вас за что-то осуждаю. Я не знаю и не имею права знать мотивы ваших поступков, но глубоко уверен, что в них нет ничего низменного и безнравственного...

— Дай-то бог, Петр Николаевич, чтобы вы как можно скорее могли в этом убедиться,— с несвойственным ему волнением вдруг сказал Штернберг...

— ...Нет-нет, пешком пойдем,— запротестовал Лебедев, увидев у подъезда ресторана «лорен-дитрих».— И Валя хочет пройтись...

Москва была тиха и темна. Вдруг подморозило, и под ногами потрескивал ледок. Дверь церкви в углу площади была раскрыта, в глубине ее мерцали тусклые огоньки. Пустым ночным переулком они вышли к Консерватории. Как это у них часто бывало, Лебедев и Эйхенвальд молчали, словно бы ведя между собою внутренний, неслышный другим, разговор. Потом Эйхенвальд сказал:

— Да. Ты, конечно, прав. И мне уже хочется будней...

— Невозможно больше! Шум, пальба и крики, и эскадра на Неве... У меня уже от этого голова лопается. Петиции, декларации, заявления, чествования, выступления... Многоуважаемый шкаф!.. С утра крахмальный галстук, парадный сюртук... Многоуважаемый... Высокочтимый... Встаю, раскланиваюсь, трясу головой... Можно подумать, что меня в академию избрали, а не из университета выгнали.. С января прибора не видел... О физике ни с кем не говорил... Ничего не делаю. Незаконно проживаю в университетской квартире. Вчера Ксения рассказывала, что остановил ее смотритель университетских зданий, расспрашивал, когда господа собираются съезжать с квартиры... Выходишь из дома — на тебя глазеют, как на опереточную диву или же прокаженного... Не могу так больше!.. Если я не могу больше заниматься физикой — значит, не стоит больше мучиться, глотать эти капли, микстуры, обкладываться горчичниками, выслушивать, что эти дураки доктора говорят... Жить не стоит!

— Ну, тише, тише... Услышит Валя, не надо ее пугать...

— По ночам все время думаю: могу я начать Аб Ово? С самого начала? Как будто не было этих двадцати лет? Как будто приехал я только что из Страсбурга и должен

начать свивать свое гнездо в науке, закладывать кирпичи своего собственного научного здания... Не знаю, что я успею сделать? Но хочу начинать, ждать больше я не в силах. Невозмутимость и спокойствие Петра Петровича меня уже приводят в бешенство. Знаю, Саша, что несправедлив к нему, но у него впереди десятки лет работы в науке, он может ждать и сохранять ледяное спокойствие... и пока ничего не делать. А я — я не могу!

— Ты несправедлив к Петру Петровичу. Он — человек дела. Он тебе не говорил ничего о предпринятых им шагах только потому, что просил меня тебе показать найденное им... Ты завтра свободен днем?

— Сашенька, не остри. Уж свободнее меня в Москве человека нету!

— Ну и отлично. Я за тобой заеду. И начнем, как говорил древний латинянин Квинтол Гораций Флакк,— начнем Аб Ово...



„АБ ОВО..."

Увидев взволнованное лицо сестры, Эйхенвальд испугался.

— С Петей плохо?

— Нет, спал хорошо и ни на что не жаловался. Но утром пришло письмо из-за границы, кажется из Швеции... И стал как туча мрачен. Пойди к нему...

Действительно, на столе перед Лебедевым лежал солидный, обклеенный цветными марками конверт. Эйхенвальд повертел его в руках. На конверте был гриф учреждения, хорошо известного ему. Да и не только ему, но и всем физикам мира.

— Что господин Арениус? Зовет в Стокгольм?

— Ага. Поздравляет с Лондонским, королевским... Соболезнует. Удивляется. Возмущается. И зовет в свой институт. Предлагает полную свободу в тематике, самое

современное оборудование... Любое количество ассистентов и лаборантов. Могу забрать своих учеников из России. Опять же Нобелевский комитет рядом... Словом, ему обещает полмира, а Францию только себе... Да прочти!

Эйхенвальд не спеша пробежал письмо директора физико-химической лаборатории Нобелевского института. Он снова перечитал конец письма: «Естественно, что для Нобелевского института было бы большой честью, если бы Вы пожелали там устроиться и работать, и мы, без сомнения, предоставили бы Вам все необходимые средства, чтобы Вы имели возможность дальше работать... Вы, разумеется, получили бы совершенно свободное положение, как это соответствует Вашему рангу в науке...»

Эйхенвальд вложил письмо назад в роскошный хрустящий конверт.

— Ну, чего ж ты в мрачность впал? Нобелевский институт — лучший в мире по оборудованию и научной свободе. В Америке есть неплохие институты и лаборатории, но все же там надобно работать с пользой для хозяев, а институт Арениуса действительно свободен, занимается только чисто научными проблемами. Самая высокая марка!.. Так чем же ты недоволен? Не любишь, когда тебя покупают? Да?

— Не люблю.

— Да. Противновато.

— Сижу и обдумываю, как бы ему написать повежливее, чтобы не проскользнуло что-нибудь в стиле московских ломовиков...

— Хо-хо-хо!.. За что это беднягу Арениуса?

— Да, он не виноват, конечно. И письмо написал вполне искреннее. Но меня в бешенство приводит этот оттенок пренебрежения к России. Дескать, что вы в этой дикой стране можете делать? И зачем вам возиться с вашими дикими начальниками, диким народом?.. Прихожу в бешенство оттого, что это почти правда. И оттого, что не могу я этому цивилизованному, сверхкультурному Арениусу объяснить, что эта дикая страна — моя! И никакой другой мне не нужно ни за какие блага! И не могу я ее оставить, когда она глубоко несчастлива... И не могу я свободно и приятственно заниматься в Стокгольме физикой, когда я знаю, что в Москве Тихомиров выгоняет из университета самых способных, умных, талантливых... Я не в состоянии объяснить Арениусу, что у него меня бы

заел стыд! Самый обыкновенный стыд!.. Когда я думаю, что в Кембридж, Манчестер, Копенгаген, Стокгольм приезжают самые способные физики со всех стран мира, свободно и весело там работают, спорят, выясняют истину, а у нас не только чужих не привечают, своих гонят в шею!.. Видел я на международных конгрессах, как восторженно встречали Столетова... К Николаю Алексеевичу Умову относятся с огромным почтением... И, как они считают, твой покорный слуга тоже не у бога теленка съел... А когда-нибудь приезжали к нам из-за границы учиться молодые физики? Да это и в голову никому не приходило! Вот второй час сижу над письмом Арениуса и готов головой биться об стол от стыда и горя!

— Ну зачем же лоб расшибать! Голова Лебедева еще пригодится. И не только Швеции, а и России... Ну, ты потом придумаешь, как Арениусу ответить повежливее, да с этакой горделивостью... Спасибо, дескать, за вашу сайку, да у нас самих калачей невпроворот... Помнишь наш вчерашний уговор?

— Ну, помню...

— Так вот... Хочу тебя пригласить на одну прогулку. По старым, хорошо знакомым местам. Ты как себя чувствуешь? Пешочком можешь? Видишь, солнце-то какое сегодня! Сейчас у Вали чашечку кофе попрошу, и пойдем...

— И пошли они, солнцем палимы...

— Правильно. И пойдем...

Солнце светило совсем не по-апрельски жарко. Жалкие серые куски слежавшегося снега были видны лишь в нескольких подворотнях на левой стороне улицы. Зато высокий холм, на котором стояло огромное и легкое здание Румянцевского музея, уже стал ярко-зеленым, было видно, как настойчиво и с силой пробивается сквозь прошлогоднюю молодая трава. И в ней кое-где уже желтели маленькие солнца цветов мать-и-мачехи. Мостовая и тротуары были почти сухие, от них подымался еле заметный парок. У храма Христа Спасителя сирень выбросила первые листочки, и среди них были видны сморщенные зачатки будущих лиловых тугих гроздьев.

На Пречистенском бульваре Эйхенвальд предложил посидеть и отдохнуть. Мимо скамейки степенно шли няньки с колясками, в которых лежали толстые младенцы. Девоч-

ки в шелковых капорах гоняли по бульвару большие цветные обручи.

— Интересно, Саша, куда ты меня ведешь? Как Сусанин...

— Не бойся! Не по Владимирке тебя поведу, а по местам, где ты дрался, целовался, воровал цветы в палисадниках... Помнишь, как ты одной девочке поднес цветы, которые ты у нее же в палисаднике и нарвал? А там был какой-то единственный в Москве сорт лилий, девочкин папахен догадался, кто грабит его цветник, и захотел познакомиться с кавалером своей дочери. И ты бежал со свидания быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла...

— Ты ж меня, черт, и подучил тогда...

— Ну да, надо было тебя учить... других прекрасно мог научить... Ну, для таинственности пойдем по Сивцеву. Там не так круто, как на Пречистенке...

Они шли по Сивцеву Вражку, мимо маленьких деревянных особняков с огромными, закрывающими весь фасад, колоннами. За окрашенными серой краской заборами были обширные сады, просторные дворы. Редко-редко между столетними дворянскими особнячками вдруг возникал многоэтажный и очень важный дом, облицованный по вспыхнувшей новой моде цветными изразцами. У просторных парадных подъездов с дверьми из толстого зеркального стекла дежурили толстые швейцары в еще новеньких, обшитых галунами ливреях. Новые дома в этих Пречистенских и Арбатских переулках были построены для богатых, не жалеющих денег, квартирантов.

Эйхенвальд вынул из жилетного кармана часы, посмотрел.

— О! Уже время... Двенадцать пробило, а Германа все нет...

— И как тебя, Саша, такого несолидного, директором избрали в Техническом! Не можешь обойтись без таинственности... Поучился бы у Лазарева спокойствию и деловитости.

— Так Петр Петрович и есть самый загадочный человек, набитый всеми тайнами. Ты сейчас в этом убедишься.

Они дошли до Староконюшенного, пошли налево и вышли в переулок.

— Мертвый переулок!.. Ты меня к миллионеру какому ведешь?



— Мы, Петя, сами не бедные. А Мертвый переулок ничего не стоит превратить в Живой. На то мы физики...

У нового большого дома, того самого, мимо которого они когда-то гуляли с Эйхенвальдом, стояли два респектабельных господина. Один из них пошел навстречу друзьям. Это был Лазарев.

— Добрый день, господа! Прекрасный день, Петр Николаевич! Разрешите вас познакомить с архитектором Георгием Константиновичем Олтаржевским. Вас, Александр Александрович, знакомить не надо... В отличие от других домовладельцев Георгий Константинович не должен был обращаться к другим архитекторам. Этот принадлежащий ему дом он выстроил сам, по своему проекту. Мы теперь можем по достоинству оценить мастерство и практичность Георгия Константиновича...

Лебедев оглянулся. Да, это был дом двадцать — тот, который когда-то ему так не понравился. Похож чем-то на своего строителя и хозяина: суховатый, надменный, стремится выглядеть богаче, чем на самом деле. Правда, место очень милое... Тихий старомосковский переулок, рядом эта уютная церквушка Успения-на-Могильцах...

— Сейчас, Петр Николаевич, вы поймете, чем нас, помимо других достоинств, привлек этот дом. Кстати, он еще и не заселен, и Георгий Константинович предоставляет нам полное право выбора всего, что мы захотим. Ну-с, прошу вас...

Они вошли в подъезд, и Лазарев широким, гостеприим-

ным жестом указал Лебедеву на широкую лестницу, ведущую вниз.

— Да, да, подвал. Просто было бы уже странно, чтобы лаборатория Лебедева была не в подвале! Термин «лебедевский подвал», наверное, войдет в историю физики...

Ох и дипломат этот Лазарев! Дипломат, галантен и действительно человек загадочный... Но подвал, подвал был хорош! Очень хорош!

— Вот видите! Нисколько не хуже университетского. По-моему, даже лучше. Более светлый, совершенно сухой. Если договоримся с Георгием Константиновичем, вернее, если вам понравится, Петр Николаевич, то владелец дома нам облицует некоторые комнаты лаборатории метлахскими плитками, сменит проводку на трехфазную, заводского типа... Вода, канализация здесь имеются... Вот тут можно поставить перегородки, здесь у нас будет гардероб... А для ваших личных занятий, Петр Николаевич, мы оборудуем две комнатки вон в том углу. Там наиболее светло и тихо. А теперь подымемся наверх...

Они поднялись в вестибюль. Да, хорош подвал! И лестница спокойная, нетрудная...

— И лифт уже работает. Хотя нам и всего-то нужно на третий этаж. Но при наших годах пусть и на третий нас подымает электричество, тем более что нас, физиков, оно и обязано подымать!.. Хо-хо!..

Квартира была прекрасной. В ней не было мрачности и скуки университетской квартиры. Свежие паркетные полы блестели нетронутым глянцем. В гостиной и кабинете — уютные и глубокие эркеры. Кухня оборудована почти как лаборатория.

— В такой кухне, Петр Николаевич, Валентина Александровна будет командовать с таким же удовольствием, как и вы внизу, в подвале... Впрочем, мы с Александром Александровичем ее привезем и с удовольствием выслушаем все ее замечания. Одно из преимуществ, которое нам Георгий Константинович предоставляет,— возможность сделать и внизу, и здесь так, как нам этого хочется... Ну-с, так что вы об этом доме думаете, Петр Николаевич?

Мм... Что он думает? О многом, что он не желает высказывать здесь, в присутствии этого хитрого московского дельца с повадками гонористого шляхтича.

— Подумаем... Подумаем, господин Олтаржевский. Я, знаете, из купцов, Георгий Константинович. Никогда

сразу не решаем. Пораскидаем умишком, повздыхаем, посчитаем, помолимся к вечеру, чтобы с утречка и решить...

И действительно, пока втроем — с Эйхенвальдом и Лазаревым — ехали на новом, наемном таксомоторе домой, молчал и посапывал...

Дома сказал, набычившись:

— Настолько привык жить в казенных квартирах, что даже не представляю себе, сколько же этот господин берет с таких жильцов, как я. Да и жильцы беспокойные: лаборатория, ученые, студенты, физика-мизика, черная магия... Откеля гроши, хлопцы?— как это наш старик Максим всегда спрашивает.

Эйхенвальд кивнул Лазареву:

— Докладывайте, Петр Петрович.

— Значит, так, Петр Николаевич. Лаборатория организуется университетом Шанявского. Она будет финансироваться университетом Шанявского и обществом Леденцова. Ее деятельность будет проходить по особому положению, которое мы с вами составим и которое будет утверждено правлением университета. Мы надеемся, что сумеем создать руководителю лаборатории условия, максимально приближенные к тем, какие у него были на казенной службе.

— Условия! Руководителю!! А вы представляете себе стоимость оборудования? А штаты? Лаборанты, ассистенты, механик... Вот что важнее, чем это «максимально приближенное»...

— Все, все представляем, Петр Николаевич! Видите, член правления университета Шанявского профессор Эйхенвальд уже смеется... Он ведь знает, что арматура и станки заказаны на Механическом заводе Краснова, ну, в Екатерининском переулке, на Полянке. А лабораторное оборудование покупается в фирменном магазине Дубберке на Воздвиженке. Мне уж владелец, почтенный такой немец, звонил домой и господом богом просил прислать ему другого представителя, чем господин Гопиус, который нравственно испортил всех его приказчиков, а его самого чуть ли не свел с ума...

А относительно штатов?.. Конечно, они будут меньше, нежели в университете. Ведь в нашей новой лаборатории

не будет учебной нагрузки, она будет чисто исследовательской. Те студенты императорского университета, которых бог создал физиками, будут у нас заниматься приватно, дополнительно к занятиям у Алексея Петровича Соколова. Они будут и ассистентами и лаборантами, и мы им ничего платить не будем. Боюсь, что они сами захотят приплачивать...

— Чего сказал? Приплачивать?! Но я вижу, что вы с Александром Александровичем, Гопиусом и прочими темными и за дело уволенными из императорского университета людьми за моей спиной настоящий заговор устроили! И все уже почти сделали!.. Ну, ну!.. Слушайте, это же надобно отметить, такое! Пошли в столовую, заставим Валю нам подать этакий келькшоз, черт возьми!.. Да, Саша, мне сейчас будет полегче ответить господину Арениусу...

Лебедев оживился, его обычная бледность прошла, лицо разрумянилось, в глазах появился молодой блеск. Эйхенвальд невольно залюбовался своим другом. Давно, ох как давно не видел его таким, почти как в молодости...

Меньше чем через год, серым и сырым днем, возвращаясь с Алексиевского кладбища, Лазарев и Эйхенвальд вспоминали это последнее лето Лебедева. Казалось, что на какое-то время к нему вернулось все утраченное, потерянное: здоровье, молодость, сила, бодрость, дикая и непоколебимая уверенность в будущем... Он почти и не бывал в своей квартире, Валентине Александровне приходилось спускаться в подвал и уводить мужа, чтобы заставить его обедать, отдохнуть.

С раннего утра и до позднего летнего вечера Лебедев пропадал в подвале, и иногда ему действительно казалось, что он окунулся в свою молодость, только еще лучшую, еще более шумную, веселую и осмысленную. В лаборатории работали днем и ночью. И не только рабочие, но и молодые физики, студенты, предпочитавшие таскать ящики в Мертвом переулке, нежели слушать лекции на Моховой... Когда Лебедев выходил из своей квартиры на лестничную площадку, он стоял некоторое время, вслушиваясь в разноголосый и всегда веселый шум, доносившийся снизу, из подвала. Там устанавливали оборудование, монтировали приборы, студенты даже пробовали красить под укоризнен-

ные вздохи и смешки настоящих маляров. Иногда приходил владелец дома, вид у него был недовольный — казалось, что он уже жалел, что связался с такой шумной компанией. Несколько раз господин Олтаржевский пробовал доказать, кто является настоящим хозяином дома, но после нескольких объяснений с Гопиусом махнул рукой и больше в подвале не показывался.

А Гопиус — Гопиус и вовсе не вылезал иногда сутками из лаборатории. Свою казенную квартиру быстро бросил, снял квартиру где-то рядом, в Никольском переулке на Арбате, и его маленькие сыновья таскали ему еду в лабораторию. Хотя на него и падала вся тяжесть объяснений с многочисленными фирмами, поставлявшими оборудование, по-прежнему он притаскивал по утрам кипу самых разных газет и, урча себе под нос, быстро читал, иногда прищелкивая от смеха пальцами...

В хороший майский день хитро взглянул на Лебедева и, придерживая кипу газет, спросил:

— Так вы, значит, Петр Николаевич, из газет только «Русское слово» читаете? А на «Русские ведомости» плевать хотели?

— Ну да ладно вам!.. А что, напечатали уже мою статью?

— Представьте себе, напечатали. Такую статью охотно напечатала бы и не такая тихая газета, как эта! Господа! Идите сюда! Отличную статью написал Петр Николаевич, имеет самое прямое отношение к тому, что мы здесь с вами делаем. Называется «Русское общество и русские национальные лаборатории».

Окруженный сотрудниками лаборатории и студентами, Гопиус читал вслух, без обычной своей иронии, без хихиканья:

— «...Русский ученый, у которого есть и способности, и желание работать в области чистой науки, волею судеб поставлен в особенно тяжелые условия благодаря своей крепостной зависимости от учебных учреждений, и если мы теперь, в годовщину 19 февраля, с жутким чувством читали воспоминания о том, как баре помыкали своими крепостными художниками и заставляли их красить заборы, то, может быть, с таким же жутким чувством наши потомки через пятьдесят лет будут читать воспоминания о той учебной барщине, которую отбывали Менделеевы, Сеченовы, Столетовы и ныне здравствующие крупные русские

ученые, чтобы только получить право производить свои ученые работы, чтобы оплатить возможность прославить Россию своими открытиями...»

Присев на ящик в углу, Лебедев слушал, как Гопиус читает то, что он писал, холодея от волнения, отрываясь от бумаги, чтобы побегать по комнате, немного успокоиться... Он писал, чтобы русское общество знало, на что обрекают науку в нашей стране, чтобы если не он, то, может быть, будущее поколение ученых могло бы не зависеть от министра, попечителя, от министерских чиновников, которым плевать на науку.

И вот, оказывается, он дожил до того, что будет работать в лаборатории, которая не будет зависеть от Комаровского, Лейста и всей этой компании. Он не будет встречаться с ними, тратить время на глупейшие заседания, после которых хоть в сумасшедший дом сбегай!.. Господи! Не верится никак!..

На днях, придя утром в подвал, Лебедев сразу же понял, что его ждет какой-то приятный сюрприз — так на него оглядывались лаборанты, вышедшие на лестницу покурить. В одной из комнат будущей лаборатории слышался такой знакомый гудящий голос... Акулов, в своей обычной рабочей блузе, сидел на табуретке и привычно ловко монтировал воздушный насос. Увидя своего профессора, встал.

— Алексей Иванович! Какими судьбами? Рады такому гостю. И уже помогаете?

— Ну, я здесь уже не гость, Петр Николаевич, а ваш, можно сказать, служащий. С университетом рассчитался, пришел работать сюда. Я механик лебедевской лаборатории, а не чьей другой...

Валя удивилась, когда Лебедев пришел к обеду такой веселый, улыбчивый и рассказал, что чувствует себя так, как когда-то в юности, когда ему отец верховую лошадь подарил. А тут подарок был подороже, ох подороже!..

И Лебедеву все больше и больше нравился этот превосходный, настоящий старомосковский переулок, с таким мрачным названием. Но, пожалуй, и вправду можно этот Мертвый переулок превратить в Живой!

Уже на Пречистенке был слышен тот веселый шум, которым был переполнен новый и такой внешне солидный дом в Мертвом переулке. Со всех заборов в переулках — Мертвом, Могильцевском, Денежном, Левшинском, Старо-



конюшенном — свешивались уже начинавшие увядать огромные, всех оттенков лилового цвета, шапки сирени. Уговорить Лебедева уехать на курорт или хотя бы на дачу было невозможно. Вдруг он понял, что почти никогда, кроме как в далекой молодости, и не видел настоящей летней Москвы. И не ценил ее красоту, живость, ее летнюю прелесть. Он теперь много ходил пешком. По вечерам вместе с Валей совершал далекие прогулки. Переулками — через Пречистенку, через Остоженку — выходил на набережную реки, почти напротив стрелки. Он садился под тент маленького павильона, пил вкусный холодный лимонад и смотрел, как напротив, у красного кирпичного здания яхт-клуба, молодые люди несут к воде на руках длинные, узкие, похожие на хищную рыбу, лодки. И вспоминал, как сам когда-то проводил на стрелке целые дни, как соревновался и па одиночках и на двойках...

И была ли у него грудная жаба? Может, напутали эти доктора? Он давно уже не просыпался от давящего страха, от острой боли где-то там, в груди... По-прежнему он подчинялся Вале и аккуратно глотал все предписанное, но теперь ему казалось, что он это делает почти из чистого суеверия, ну еще чтобы доставить Вале удовольствие...

С каждым днем в подвале становилось все меньше хаоса, суеты, ремонтной неразберихи. Постепенно уходили плиточники, маляры, электрики, слесаря. Уже тихо шумел станок, булькала эмульсия, уже налаживали приборы, и все сильнее чувствовался запах лаборатории: лака, горелой резины, начищенной меди... Когда Лебедев уставал от шума, от резкого жеребячьего хохота Гопиуса, от шуток и анекдотов, он присаживался в своей дальней комнате и, глубоко затягиваясь — как курильщик дымом,— дышал этим сладостным запахом лаборатории.

Иногда приезжали смотреть, как идут дела в лебедевской лаборатории, Тимирязев, Жуковский, Чаплыгин... Тимирязев сиял так, как будто это была лаборатория не физика, а ботаника, не Лебедева, а его собственная. Ну, а Жуковский и Чаплыгин смотрели на все строго и придирчиво, как и положено знаменитым механикам. Смотрели и одобрительно хмыкали. А однажды подкатил к дому двадцать бывший ректор Московского университета. Мануйлов ходил с Лебедевым по всем закоулкам лаборатории, ахал, вздыхал и все время приговаривал:

— Ах, хорошо же вам, физикам! Не то что нам, не то что нам...

А Лебедев удовлетворенно поглаживал бороду и, похохатывая, говорил:

— Мда... Жалею, что не могу показать господину Тихомирову. Пусть бы увидел, что и не так уж и просто запугать нас...

Как быстро, как почти незаметно прошло это последнее лето Лебедева! А осенью уже началась жизнь, которую он и называл «нормальной». Как и раньше на Моховой, утром приходил в подвал и начинал свой ежедневный обход. От прибора к прибору, от ассистента к ассистенту, от студента к студенту... Когда видел, что в маленькую комнату, где разбирают опыт, сбегаются со всех закоулков лаборатории, переходил в мастерскую — в самую большую, самую центральную комнату. У большого стола, всегда заваленного мотками лакированной проволоки, кусками олова, склянками с кислотами и ртутью, Лебедев садился на стул, откидывался немного назад, осматривал окружающих внимательными глазами и начинал «прочистку мозгов», как называл эти разговоры Гопиус.

— ...Слышали, слышали, как Евгений Александрович съязвил относительно моего восхищения перед этим фабричным насосом? Он хотел, очевидно, напомнить мне, как я требую, чтобы каждый экспериментатор умел сам изготовить свой прибор. Я и не отказываюсь от этих требований! Физик должен уметь сделать то, что он придумал. Но это вовсе не значит, что он должен свой прибор делать только из старой проволочки, сургуча, куска веревки, самодельной колбочки... В прибор надобно смело включать самые последние достижения лабораторной техники. Можно самому

сделать идеальный ртутный насос? Никогда! Для этого требуется ювелирная заводская точность! Но такой насос, как насос Геде, нужно смело включать в свой прибор, в его схему... Не легкими же своими создавать вакуум!

Знаете, господа, что́ я больше всего люблю читать? Прейскуранты магазинов Крафта, Швабе, Дубберке, Блока, Викланда... Я их читаю за столом, в постели, как увлекательный роман! Современная физическая лаборатория должна опираться на самую современную технику. Да-да, физика будет становиться все более дорогой штукой! И наступит время, когда физическая лаборатория будет под силу только очень состоятельным учреждениям! Мы еще с вами можем пока обходиться сравнительно недорогим оборудованием. Но у меня недавно были в гостях Николай Егорович Жуковский и Сергей Алексеевич Чаплыгин. Им уже надобны лаборатории, которые будут стоить не тысячи, не десятки тысяч, а, пожалуй, сотни тысяч рублей... Тут уж и самый богатый меценат не поможет, тут нужна помощь государства! А я вспоминаю, с каким трудом выколачивал в ректорате каждую сотню, и думаю, что нет, никогда наша казна не расщедрится на такие сумасшедшие деньги!..

И все же не перестану твердить: даже из самого совершенного оборудования никогда не возникнет новая физическая идея! Новое оборудование может только помочь ее решению! Больше того: новое техническое оборудование, самая совершенная лабораторная техника и возникает как результат требований новой идеи... Самый совершенный и совершенно незаменимый прибор в физике — голова исследователя. И она же — лучший учебник и справочник...

— И как сказал любимый учитель Петра Николаевича господин Гёте: «Умные люди — лучший энциклопедический словарь».

— Умные! Умные, Евгений Александрович! И нетерпеливые!

— Покорнейше благодарим, Петр Николаевич!

— Кушайте, кушайте на здоровье...

— ...Ну-с, потом что вы будете делать? Я понимаю, что, ставя опыт, вы знаете, что от него хотите... Но план подготовки опыта? План его проведения? Схема работы прибо-

ра? Где это у вас?! Вы же не алхимик! Дескать, насыплю-ка я немного ртути, сурьмы, того-сего и посмотрю, что из этого произойдет... В наше время бродить по науке, завязав глаза, на ощупь, не только стыдно, но и бессмысленно! Вы должны ставить опыт не наобум, не на авось, а только тогда, когда вызрела полная и точная необходимость в нем. И план опыта у вас должен быть готов до самых его мельчайших подробностей, до самого последнего винтика! И не в голове только, а на бумаге. Чтобы Евгений Александрович, или Аркадий Климентьевич, или Петр Петрович, или я — чтобы мы могли взять этот план и, стоя у прибора, по часам следить, как он развивается, как проходит! Вот это и есть настоящая исследовательская работа! И вообще, господа, ведите научные дневники. Не записные книжечки, где вы между адресами знакомых барышень записываете пришедшую вам в голову гениальную мысль, а исчерпывающий, полный и точный дневник, куда заносите все свои опыты, все технические его детали, все течение опыта... По дням, по часам... Может быть, это и скучно... Но пройдет год, вы возьмете свой дневник в руки, и перед вами предстанет не только описание всей вашей работы — нет, там будут все ваши догадки, предположения, проверка их, удачи и неудачи, перед вами будет тот самый накопленный опыт, на основе которого только и могут созревать научные открытия!

Покойный мой отец пробовал когда-то меня приучать к делу, заставлял вести конторские книги нашего предприятия. Ну, вы знаете, что промышленник, купец из меня не получился, но батюшке за его попытку благодарен на всю жизнь! Свои научные дневники веду, как хороший приказчик конторские книги. И до сих пор для своих научных дневников покупаю в магазине самые лучшие, на толстой хорошей бумаге, настоящие конторские книги...

— ...И прекрасно!! Господа, идите сюда! Сейчас наш коллега, господин Коншин, нам объяснит, в чем он не согласен с теорией Максвелла... Я прошу, категорически прошу прекратить этот неприличный смех! Здесь не цирк, не оперетта, а исследовательская лаборатория... И не урок закона божьего в церковноприходской школе... Здесь каждый не только имеет право, но и обязан сомневаться в любой фи-

зической теории... Все дело лишь в том, чтобы не отмахиваться от фактов, как упрямый бычок, а выложить, сформулировать свои сомнения. А еще лучше — указать пути к выяснению этих сомнений. А вообще-то ученый, который заранее закрывает путь ко всем возможным изменениям своих взглядов, перестает быть ученым... Мы живем всего двенадцатый год в новом двадцатом веке. А насколько же за один десяток, один десяток лет, изменились наши взгляды на множество, казалось бы, фундаментальных физических идей! И чем дальше, тем скорее будут происходить эти изменения. И горе ученому, у которого закостенеет мозг, который станет догматиком и к физике будет относиться как к катехизису православной церкви... А потом, это же величайшая научная заслуга — увидеть в установленном физическом законе, даже не законе, а явлении, какую-то трещинку, какой-то изъян, что-то сомнительное, противоречивое... Иногда из такого взгляда, такого сомнения вырастает новое и великое открытие! Поэтому не смеяться следует над господином Коншиным, а отнестись к его словам с величайшим вниманием, уважением и почтением! Да-да! И прошу вас всех сюда и слушать внимательно и серьезно. Прошу вас, коллега...



Света! Больше света!..

...Когда это у него вновь появилось? Ах, как прекрасно, как дивно прошло это лето! Как интересно, дружно, как хорошо началась осень!.. Валя недовольна, что лаборатория у него буквально под ногами, что он может в ней очутиться в любую минуту, когда только захочет. Она говорит, что он злоупотребляет этой возможностью... Может быть! Конечно, это не самый полезный образ жизни и работы — приходить в лабораторию ночью, открывать ее своим ключом и там работать. Иногда и до самого утра.

Но он так начал делать только после этого последнего приступа, после этой страшной бессонной ночи, когда он

лежал не двигаясь, чтобы не застонать от боли, не разбудить жену, не вызвать в доме той ночной паники, которая сопровождала приступы его грудной жабы. Он лежал до утра, обдумывая, что же ему осталось сделать, сколько у него в распоряжении времени?.. Времени было мало. Это он знал твердо. Он получил лабораторию, освобождение от преподавательской работы, от чтения лекций, он получил возможность заниматься тем, что он хочет, пожалуй, поздновато... Но это же был бы великий грех, который невозможно себе простить, если бы он не использовал время, которое ему еще отведено!.. И если бы еще знать: сколько ему отведено? Но он этого не знает. И никогда не узнает. И врачи ему не скажут. И не по своей там врачебной этике, а потому что попросту сами не знают...

Это ему сказал Лазарев, которому он верит. Однажды, в хорошую минуту, когда остались одни в лаборатории и обсуждали план работ на ближайшие год-два, он вдруг спросил его со всей серьезностью, без улыбки и без испуга:

— Сколько мне жить осталось, Петр Петрович? Вы же понимаете, почему так спрашиваю? Не как пациент ваш, а как ученый, который должен спланировать свою работу, выделить из своих планов самое главное, сосредоточить на этом главном все свои силы...

Лазарев тогда себя повел, как и подобает настоящему ученому. Не утешал, не успокаивал, а просто и серьезно объяснил, что все коварство грудной жабы и заключается в том, что это мина с таким часовым механизмом, где взрыватель поставлен на никому не известное время. Можно жить с ней десятки лет. И есть люди, которые живут со стенокардией до самой глубокой старости. А может и вызвать катастрофу мгновенно... Надо относиться к своему здоровью внимательно, но без излишней подозрительности. Важен режим жизни, работы...

Сначала Лебедев и пытался этот режим соблюдать. Но потом, вот тогда, после этого ночного приступа, когда с ледяным спокойствием думал о будущем, со всей отчетливостью понял, что невозможно себя обманывать. Да, когда внутри взорвется мина, неизвестно. Но часы в ней тикают, отмеривая минуту за минутой, час за часом... И он обязан, чтобы эти часы и минуты не пропадали даром. Вот тогда-то он и начал все больше и больше пропадать в лаборатории. В своих собственных лабораторных комнатах оставал-

ся все чаще, все больше. Однажды Вильборг его спросил: «Почему это, Петр Николаевич, вы беретесь теперь за самое сложное? Может быть, оставить это, как наиболее трудоемкое, на будущее?..» Он тогда посмотрел Вильборгу в глаза и усмехнулся. И увидел в глазах своего ассистента испуг. Понял Вильборг, что Лебедев хотел ему сказать... Да, он не может больше откладывать ничего на будущее. И должен браться за самое трудное, потому что никто более его не годится к преодолению этих трудностей. Лебедев ловил себя на том, что он становится все более и более раздражительным, менее уверенным. Когда-то он гордился тем, что мог работать в любой обстановке. Ему не мешали ни шум станка в механической мастерской, ни голоса студентов, ни споры вокруг приборов. Иногда ему даже казалось, что в этом приятном, родном шуме лаборатории лучше работается, приятнее живется...

А теперь ему становилось трудно сосредоточиваться, от шума начинала болеть голова, ныть сердце. Он старался, чтобы никто не заметил, как ему становится плохо. И от этого делался неестественным, злым, раздражительным. Однажды вечером, когда ему в лаборатории стало плохо, он присел, спокойно отдышался. Вокруг никого не было, ему не надобно было притворяться здоровым, видеть вокруг испуганные глаза людей, также притворяющихся, что они не боятся за него...

И тогда все чаще он стал приходить и работать в лабораторию поздно вечером, когда все расходились. Лебедеву казалось, что в этой тишине лучше, острее работает мозг, что каждая минута становится более ёмкой. Если ему вдруг становилось худо, он доставал из ящика капли или пилюлю, глотал их и несколько минут так сидел, прислушиваясь, как боль отходит, успокаивается, затихает... Несколько раз поздно ночью приходила за ним Валя. Он уговорил ее, что так ему лучше, что на него успокаивающе действует ночная тишина. Поверила. Или сделала вид, что верит. Пробовала на него воздействовать через доктора Усова. Знаменитый московский врач уже много лет лечил Лебедева, был с ним почти в приятельских отношениях. Но он хорошо знал характер своего пациента и всегда говорил, что преодоление характера обходится дороже, нежели выгода, от этого получаемая... «Пусть делает,— сказал он Валентине Александровне,— пусть делает так, как ему лучше. Или даже так, как ему кажется лучше...»

...Несколько раз Лебедев, приходя ночью в лабораторию, заставал там Гопиуса. Это совпадало с теми днями, когда Лебедеву было особенно плохо, когда он был более, чем всегда, сердит на окружающих, на себя, на свою проклятую болезнь. Один раз промолчал, сделал вид, что не замечает Гопиуса, который возился в одной из комнат у прибора и тихонько высвистывал что-то свое, как всегда легкомысленное. А в другой раз не выдержал и кликнул его к себе. Гопиус пришел, сел на стол и, по своему обыкновению, сидел этаким фертом, боком, болтая одной ногой.

— Вы что ж, сударь, в добровольные соглядатаи записались?

— У кого это?

— Ну, у Валентины Александровны... или Петра Петровича... Черта вам тут делать ночью! Над своей темой вы не работаете, как я вас ни уламывал... Чего ж вам тут сейчас делать? Только за Лебедевым присматривать! Уж не печатает ли по ночам фальшивые деньги, или бомбу делает...

— А почему это вам, Петр Николаевич, не приходит в голову, что я здесь хочу бомбу делать? Так сказать, под покровом лаборатории профессора Лебедева и за счет университета Шанявского изготовлю этакую бомбину да и трахну ею какое-нибудь высокопревосходительство... Вот смеху будет!..

— Нет, какой же из вас, Евгений Александрович, бомбист? Бомбисты — народ, наверное, мрачный, и на лице этакое... роковая печать. Нет, на бомбиста вы непохожи. И на социал-демократа непохожи.

— А вы откуда социал-демократов знаете, Петр Николаевич?

— Да в Германии на них насмотрелся... Знакомили меня с ними. Там они даже среди преподавателей есть. И видел я праздники социал-демократические. Ничего такого страшного — почти как обычные ферейновские. Только значки другие. А однажды мне самого Бебеля показали. Ничего, симпатичный господин. Приятный такой, на русака чем-то похож, а не на немца. Только совсем другой, чем вы... Вы больше на ниспровергателя похожи, чем ваш Бебель...

— Чего это он мой?.. Да и за кого вы меня принимаете, Петр Николаевич?

— Ну, как — за кого?.. У вас же, Евгений Александро-

вич, репутация что ни на есть красного... Небось Любавский да Лейст убеждены, что вы по ночам бомбы делаете или подпольные прокламации печатаете...

— А вы как думаете?

— А я, в отличие от Лейста, и не думаю об этом... Помоему, люди делятся на умных и глупых, порядочных и подлых, а не на красных или серо-буро-малиновых. Цвет политических убеждений — это не научное мерило, не объективный фактор. Политические убеждения могут сопутствовать любым человеческим качествам — как вероисповедание...

— А вы не замечали все ж некоторого сходства, некоторой взаимосвязи, что ли, между нравственными качествами и политическими убеждениями? Вы какого мнения о нравственных достоинствах господ, скажем, Кассо, Тихомирова, полковника Модля, генерала Андрианова?

— Самого низкого.

— Почему же мы из всей правительственной камарильи, из всех здешних начальников, не можем — ну просто ни в какой телескоп не можем разглядеть человека высоконравственного, бескорыстного, способного на жертвенный поступок... Вы не можете таких назвать?

— Нет, не могу.

— И я не могу. Зато я могу назвать вам десятки людей необыкновенно умных, безупречно порядочных, которые являются теми, которых вы называете «красными». Все эти люди по своим высоким интеллектуальным и другим качествам способны были сделать самую высокую карьеру. Они предпочли неизвестность, бедность, лишения, может быть, и потерю свободы, самой жизни...

Теперь в голосе Гопиуса не было и тени той раздражающей задиристости, которая ему была всегда свойственна. Он не кричал, не хохотал своим резким высоким голосом, не перебивал и не цитировал любимых поэтов. Лебедев был готов поклясться, что Гопиус был скорее тих, задумчив и даже лиричен.

— Но вы что же, Евгений Александрович, считаете, что те, кто исповедуют другие, нежели вы, убеждения, что они не являются людьми убежденными, принципиальными? Они верят в другое, чем вы. Вот и все.

— Может быть, может быть... Только вот что удивительно: то, во что они верят, почему-то им очень выгодно. Я среди этой публики не встречал таких, чьи убеждения

шли бы вразрез с их личными выгодами. Не встречал, и все тут... И вы не встречали, Петр Николаевич.

— Не встречал, не встречал... Слушайте, Евгений Александрович: теперь я знаю, что вы приходите сюда, чтобы распропагандировать профессора Лебедева и обратить его в свою красную веру. Какое коварство!.. Но, говоря серьезно, не следует вам с таким опасением относиться к моим ночным работам. Я же знаю, что вот так, случайно, я тут буду встречать то вас, то Млодзиевского, то Вильборга, то Лисицына... Не надо! Я прихожу сюда работать только тогда, когда чувствую себя в силах, и только потому, что так мне работать легче и лучше. И давайте на этом покончим с нашими ночными политическими разговорами. Я и рад был бы их вести, но нет у меня для этого времени... Идите домой, идите, голубчик, и не злите вы меня, ради Христа...

В этом году осень была настолько же зла и холодна, насколько тепло и ласково было лето. Рано похолодало, за несколько дней сильные дожди и резкие ветры сорвали с деревьев еще даже не успевшую пожелтеть листву. Сугробы мокрых, еще ярко-зеленых листьев лежали на бульварах, на тротуарах, вдоль заборов. Иногда они почти наполовину закрывали подвальные окна лаборатории. И зла оказалась осень к Лебедеву.

Все чаще и чаще на площадке лестницы, перед входом в лабораторию, появлялось объявление о том, что «профессор П. Н. Лебедев сегодня по болезни на семинаре присутствовать не будет». И теперь уже у Лебедева не было никакого расписания работы — ни дневного, ни ночного. Он работал вне зависимости от времени: тогда, когда ему становилось лучше. Иногда в середине дня, когда лаборатория была полна людьми, вдруг на пороге показывался Лебедев. С серым лицом, седой клочковатой бородой, потухшими глазами. Тяжело шаркая ногами, он проходил через весь подвал в свою комнату, со вздохом опускался на стул и раскрывал лежащий на столе дневник. Он просматривал последние записи, постукивая пальцами по столу, потом наклонялся к прибору... Иногда к нему в комнату заходил Лазарев, и они, непривычно тихо, разговаривали — только о физике, только о приборе, только о деле. Лебедев себе не разрешал ни своих обычных «проповедей», ни

острот, ни даже гнева. И последнее было самым страшным для окружающих. Страшно, странно, непривычно было, что в лаборатории Лебедев и не слышно вокруг него взрывов смеха, не раздается по всему подвалу его гневный и сердитый голос. Все занимались молча, уткнувшись в тетради, в приборы, так, как делают в квартире, когда в дальней комнате лежит тяжко больной близкий человек...

Хотелось иногда, чтобы в лаборатории начался тот приступ слепого гнева, которого пугались все, включая даже невозмутимого Петра Петровича Лазарева. Пусть кричит, топает ногами, говорит грубости, только бы не угрюмо и как-то беспомощно молчал. Однажды Гопиус нарочно подложил ему на стол номер газеты «Кремль». Анонимный автор, скрывшийся под псевдонимом «Русский», написал о лаборатории в Мертвом переулке большую статью. Называлась она «На еврейские деньги». В статье обстоятельно рассказывалось, как на деньги «иудо-масонов» некто Лебедев, изгнанный из императорского университета, организовал в Мертвом переулке, в подвале дома, принадлежащего какому-то подозрительному поляку, очень странную лабораторию, куда принимаются только или нерусские, или же русские, но дающие подписку об отказе от своей национальности... Чем занимаются в подвале, точно неизвестно, там днем и ночью у дверей стоит вооруженная охрана, которая не пропускает никого посторонних... Навряд ли это все имеет отношение к науке. Удивительно только то, что полиция ничего не предпринимает против этого поистине странного и глубоко чуждого России учреждения... И можно это объяснить только тем, что у еврейских банкиров денег много, а, как известно, деньги не пахнут...

Статья в «Кремле» пользовалась большим успехом в лаборатории, она вызвала живой восторг и у людей гораздо более спокойных, нежели Гопиус. Даже тихий увалень Аркадий Климентьевич Тимирязев взвизгивал своим негромким высоким голосом... Но Лебедев даже не дочитал статью до конца, даже не усмехнулся... Просто тихо отложил газету в сторону и брезгливо потер руки, как будто на них попало что-то нечистое...

Последнюю улыбку Лебедева увидели только на рождество. Дома у него для маленького сына Валентины Александровны, как всегда, была устроена елка. Самая обычная елка, обвешанная ватными ангелочками, позолоченными

грецкими орехами, цепями из ярких стеклянных шариков, мохнатыми нитями золотой и серебряной канители.

Но с этой обыкновенной домашней елкой нельзя было и сравнить ту, что устроили в лаборатории. Она стояла в центре мастерской, украшенная щедро и необычайно. Кроме фабричных ангелов, висели на ней и самодельные черти, в которых нетрудно было усмотреть сходство с очень хорошо известными личностями. Черти умели взмахивать черными, чертовскими крыльями и корчиться на огне, который горел под ними. Стеклянные, сделанные тут же, в лаборатории, звезды и кометы светились, мигали, тухли и снова зажигались. В ватном огромном сугробе под елкой спал большой черт, иногда он просыпался, и тогда глаза его начинали светиться таинственным зеленым огнем. А стоящий над ним большой Дед-Мороз старательно начинал бить черта большой клюкой...

Лебедев спустился в подвал, когда вся эта сложная махина была в движении, а вокруг нее стояли счастливые создатели необыкновенной елки и нетерпеливо ждали, когда придет тот, для которого они делали эту елку. Лебедев прошел сквозь расступившихся и замолчавших сотрудников лаборатории и долго рассматривал елку. Потом улыбнулся и спросил:

— Тут нет корреспондента из газеты «Кремль»? Он бы наконец понял, чем же занимается таинственная лаборатория в подвале дома двадцать в Мертвом переулке...

Не переставая улыбаться, Лебедев повернулся и, тяжело ступая по лестнице, начал подыматься наверх.

...И невесело пришел в дом новый, 1912 год. Обычные новогодние визитеры не подымались наверх, а оставляли свои визитные лоснящиеся карточки. Иногда Лебедев рассматривал их и удивленно говорил:

— Скажи, пожалуйста, с чего это Леонид Кузьмич Лахтин вздумал засвидетельствовать мне свое почтение? Ведь знает, что не отвечу!.. А вот Александра Васильевича Цингера хотелось бы повидать... Когда это еще будет...

Как и год тому назад, напротив Лебедева за столом сидел Эйхенвальд. Он прихлебывал кофе, перелистывая новогодний номер «Русского слова». Изредка он отрывался от газетного листа, чтобы сообщить сестре и Лебедеву:

— Господи! Треску в этом году будет! И Отечествен-

ная война, и Смутное время, и близкое воцарение династии Романовых!! Орденов-то, медалей!.. И чины не в очередь! Сколько удовольствий ждет тех, кто не бросил легкомысленно казенную службу! Ордена, медали, молебствия, приемы... Торжественные речи, освящения памятников, приемы делегаций, слезы восторга, визг репортеров, жетоны большие, жетоны маленькие, роскошные альбомы, памятные подарки!.. И знаешь, Петя, этим будут заниматься не только чиновники и сановники, но и множество вполне, казалось бы, серьезных людей: литераторы, художники, скульпторы, типографщики... Множество людей, чьей профессией должно быть распространение культуры, будут совершенно серьезно тратить все свое время на этот собачий бред, глупую и никому не нужную суетню.

— Да... Все-таки интересно устроена человеческая память, человеческое сознание... Исторический опыт никого не может ничему научить... Даже самые, казалось бы, умные люди только оттого, что они выезжают в карете или автомобиле с лакеем и охраной, оттого, что вокруг к ним относятся как к чему-то отличному от других людей, начинают почти искренне верить в свое высокое место в истории... Я как-то, будучи в Петербурге, был на панихиде в Александро-Невской лавре. А потом прошелся по кладбищу. Господи! Сколько же там пышных памятников, сделанных лучшими скульпторами мира! И на них написаны все титулы: граф, светлейший князь, просто князь, действительный тайный, просто тайный, гофмейстер, шталмейстер, еще обер-камергер, генерал от инфантерии, от кавалерии, еще от чего-то... И совершенно мне неизвестные фамилии... А я все же не смазной мужичок из глухой деревни, как-никак учился чему-то, профессор университета... И никого почти не знаю, слыхом не слыхал таких фамилий... И вдруг меня как бы в сердце толкнуло!.. Такой довольно скромный памятник. И написано, что лежит под ним генеральская вдова Наталья Николаевна Ланская... И стою как зачарованный перед этой могилой... И только потому, что женщина эта — и говорят, что вполне обыкновенная была женщина,— что женщина эта несколько лет была женой Пушкина, она навсегда врезалась в мою память, в мои чувства. А от князей, графов и действительных тайных — ничего не осталось! Как говорится, ни синь-пороха... Не осталось в нашей памяти ни одной фамилии тех инквизиторов, перед которыми отрекался Галилей... Они так ни-

чтожны перед Галилеем, что просто никому не интересно даже и узнать, как их звали! Но они-то, когда сидели на возвышении, а перед ними по их приказу унижался Галилей, они тогда, наверное, совершенно искренне были убеждены в своем величии и ничтожности Галилея...

— И сказано было мудрецами: «Сик транзит...»

— Да, ежели она составлена из одного только шума. Когда слава составляется только из перечисления должностей. Хотя, конечно, есть, есть преимущества... Хорошо еще, что у меня нет детей. Если бы они у меня были, то тем, что я ушел со службы, не дождавшись действительного статского, лишил бы их потомственного дворянства... Вот как. Так вот и помру статским советником, и Вале не придется даже быть после меня ее превосходительством...

— Петя!..— Валентина Александровна умоляюще посмотрела на мужа.

— Ладно, ладно. Договорились уже. Не будем об этом...

...Так было почти во все дни только что начавшегося года. Хмуро и неласково проходили они в новом доме Мертвого переулка. Но и не лучше было в старом-престаром доме на Моховой. И хмуро было в Москве. Хотя, как и предсказывал Эйхенвальд, все газетные страницы были посвящены юбилейному году. По случаю ли столетия Отечественной войны, но профессоров университета награждали так щедро, будто именно они и победили Наполеона. Гопиус не упустил случая сказать, что награжденные одержали крупную победу над своей совестью и порядочностью.

Ордена, деньги, благодарности обильной рекой изливались на тех, кто остались в университете. Автор передовицы из «Московских ведомостей» оказался прав. Перед каждым, кто удержал себя от призыва совести и остался с начальством — вдруг, внезапно! — открылись возможности огромные, невероятные... Без обычной многолетней канители, томительного ожидания, непрерывного подсчитывания опубликованных работ, перед каждым из благонамеренных ученых распростерлась широкая, свободная дорога: из лаборантов в ассистенты, из ассистентов в приват-доценты, из приват-доцентов в экстраординарные профессора, из экстраординарных в ординарные... И для этого

даже не надобно было особенно подличать. Только молчать... Только спокойно и тихо заниматься своим делом... Только сохранять спокойствие, когда нежно и покровительственно заглядывает в глаза попечитель Тихомиров... И еще — когда надо было пережить день, обычно радостный день, всегда ожидаемый с нетерпением — 12 января. День основания Московского университета. Татьянин день.

...Наверное, из всех ста пятидесяти семи татьяниных дней, пережитых старейшим русским университетом, этот был самый странный. И наверняка самый грустный. Для фотографа, снимавшего церемонию «торжественного акта» откуда-то сверху, с хоров, она показалась бы обычной. Так же на эстраде под большими портретами в толстых золотых рамах восседали почтенные люди с орденами в петлицах и на шее... Так же, как всегда, блеском золота, брильянтов, муаровых лент были залиты первые ряды... Так же чернел за ними лес строгих сюртуков, а дальше — до самого конца актового зала — чинная зелень студенческих сюртуков, подбитых белым атласом... Наверное, небольшой снимок, да еще небрежно склишированный и оттиснутый на серой газетной бумаге, ничем почти и не отличался от такого же прошлогоднего снимка. Если только не начать рассматривать этот снимок под сильным увеличением. И тогда нетрудно увидеть: это совсем не тот, знаменитый, старейший русский университет! Здесь не было ни одного, кто составлял славу и гордость русской науки,— никого, чьи фамилии были известны в каждом университете мира. Даже те, кто остался, такие, как Анучин, как Зернов, и те не пришли на самое большое университетское торжество, отговорившись болезнью или старческой немощью... И, уж конечно, никто из них не пришел вечером на Трубную, к Оливье...

Знаменитый ресторатор был обескуражен, смущен, возмущен. Пусты огромные залы, на сдвинутых столах не тронуты бутылки с пивом и дешевым вином, не протоптаны дорожки по опилкам, покрывавшим паркет ровным, нетронутым слоем. Десятки официантов с белыми салфетками, перекинутыми через левую руку, скучающе стояли у дверей. Наверху, в банкетном зале, чинно и скучно ужинали господа профессора. И мерный перезвон вилок и ножей перекрывал лишь довольный хохоток Лейста. Теперь он сидел уже за другим столом — за тем, за самым глав-

ным... Так же, как и в прошлом году, блестело серебро приборов, так же была свежа на огромном куске льда паюсная икра, так же были безупречно хороши дорогие вина... Только вот когда подвыпивший помощник ректора запел «Гаудеамус игитур», никто его почти и не поддержал... Сидели господа профессора и господа приват-доценты, опустив глаза в свои тарелки, и никто из них не подхватил старую, родную студенческую песню. Да, невесел был пустой, молчащий ресторан Оливье вечером татьяниного дня...

Зато шумели маленькие дешевые рестораны вокруг Трубы, на Бронных, на Самотеке... Вот там пели и «Гаудеамус» и многие другие песни — не латинские, а русские, звучавшие не восторженно, а угрожающе... Там пели и пили студенты, настоящие и бывшие. Те, кто еще уцелел, и те, кого уже выкинули... И, не пытаясь переодеться в студенческие тужурки, стояли вдалеке и слушали нестройный, доносящийся из ресторанов гул филеры из Охранного. А стоять приходилось подальше, потому что и студенты стали отчаянные, и гульба идет не в чинном и знакомом ресторане. Тут и подойти страшно: хорошо, если отделаешься тем, что морду набьют!..

А в дорогих ресторанах: у Тестова в Охотном, в «Альпийской розе» на Софийке, в «Славянском базаре» на Никольской, в «Праге» на Арбатской — празднуют татьянин день бывшие университетские профессора. Кто-то из них уже профессорствует в Техническом, Инженерном, в новом институте на Щипке, на Высших женских... Кто занимает кафедры в провинциальных университетах и в первопрестольную приехал только попраздновать татьянин... И в этих дорогих ресторанах, и в дешевеньких трактирах — всюду, где идет знаменитый московский праздник, пьют за здоровье того, кого нет ни в одном из всех многочисленных московских мест гульбы...

...Лебедев утром не поднялся со своей постели. Он продолжал смотреть на прямоугольник окна, как это делал всегда во время ночной бессонницы. Сначала сквозь занавеску еще просвечивали блики фонарей. Потом они тухли — значит, уже пробило двенадцать, фонарщики прошли по переулкам и выключили фонари. Затем долгие часы темноты, иногда прорезаемой быстрым, скользящим лучом автомобильного фонаря... А потом на черном фоне стены

начинают проявляться серые прямоугольники окна. Значит, уже светает...

Так было и утром татьяниного дня. Часик посидел у постели Саша. Рассказал, в какой компании и где кто отмечает сегодняшний день, повспоминали прошлые татьяпины, пошутили над убытками господина Оливье... Ушел — стало еще хуже. И—скучнее. Лежал закрыв глаза и думая о своем. Днем Валя открыла дверь и спросила:

— Слышишь?

За двойными зимними рамами окон столовой был слышен громкий и нестройный хор молодых голосов, знакомый мотив студенческого гимна.

— Студенты пришли тебе «Гаудеамус» петь под окном, как серенаду любимой женщине,— стараясь улыбнуться, сказала жена.

Лебедев в ответ молча махнул рукой.

Не встал, не вышел в столовую, не подошел к окну. Думал о другом — менее суетном, более важном. Ночью, когда дом уже спал, встал и ушел в подвал. На этот раз там никого не было. Все гуляли, все праздновали, никому не приходило в голову, что Лебедев придет в подвал... Он сидел часа два, просматривая свои дневники. Боже! Сколько наивного и сколько надежд! Многие из них уже сбылись. Проверены, вошли в науку. И много отсеявшегося. И еще больше — требующего месяцы и годы, чтобы проверить мелькнувшую догадку, выяснить еще крупицу истины... И вот это — это самое интересное! Но оно уже достанется другим... Когда открыл своим ключом дверь, в прихожей увидел Валю. Она стояла одетая, не решаясь нарушить запрет, спуститься в подвал. Лебедев погладил захолодевшую руку жены и прошел к себе.

Последний раз Лебедев пришел в свою лабораторию днем пятого февраля. Утром подошел к окну, долго смотрел, как в переулке штормовой ветер гонит валы сухого, крупитчатого снега. Даже сквозь толстые двойные рамы был слышен исступленный вой ветра. Несмотря на уговоры жены, оделся и стал медленно спускаться вниз. В лаборатории было тепло, тихо, потрескивали трубы отопления. Не было еще в лаборатории ни Лазарева, ни Гопиуса, никого еще из его ассистентов. Лишь несколько человек сидели за приборами. Они, увидя Лебедева, встали, ожидая,

что он к ним подойдет. Но Лебедев, кивком головы отвечая на приветствия, прошел до конца лаборатории, на минуту заглянул в свою комнату, не присаживаясь, молча пошел к выходу. И по лестнице подымался медленно, отдыхая на каждой ступеньке, прислушиваясь к тому, как внутри его разгорается боль — как будто нарыв в сердце...

И долго, долго еще ученики и помощники Лебедева не могли себе простить, что в этот день задержались дома из-за плохой погоды. Не пришли с самого утра, не увидели в последний раз своего учителя, не услышали его глуховатый голос...

Что Лебедев слег, а болезнь его приняла опасный характер, мгновенно стало известно всей Москве. Приезжали и приходили из университета, с Женских курсов, из Технического, с Пречистенских курсов, из университета Шанявского... В квартиру никто не рисковал являться, чтобы не беспокоить больного, не отрывать родных... Все приходили в лабораторию. В ней никто почти и не работал в эти дни. Но все являлись рано, с самого утра, проводили в ней полный день и медленно, неохотно и со страхом уходили... Иногда сверху прибегала горничная Ксения, и тогда на постоянно дежурившем извозчике кто-нибудь из лаборатории мчался на Арбат в аптеку Иогихеса за подушкой кислорода. Почти бессменно дежурили у больного врачи Бомштейн и Низковский, и когда кто-нибудь из них спускался вниз, его обступали студенты и лаборанты.

— Ну что ж, господа,—маленький, толстый Низковский разводил руками,— мы не можем предсказать, как будет себя вести сердце Петра Николаевича. Он уже несколько раз выходил из почти таких же тяжелых приступов... Будем надеяться, что и на этот раз организм его справится... Хотя состояние его очень, очень тревожное...

Каждый день к больному приезжал Усов, и по тому, как он спускался с лестницы, садился на извозчика, в подвале догадывались, что Лебедеву не становится лучше... С каждым днем Усов все больше мрачнел и однажды на вопрошающие взгляды окружающих безнадежно махнул рукой...

...В среду, поздно ночью, когда собирались уходить из лаборатории последние дежурившие там люди, наверху на лестнице захлопали двери, послышались торопливые шаги,

и кто-то вбежал в лабораторию, и кто-то уже побежал за извозчиком... Лебедеву стало плохо, с ним обморок!.. Через полчаса приехал Усов, в подвале появились Лазарев, Тимирязев, Гопиус... Лаборатория наполнялась людьми... Время от времени Лазарев спускался вниз. Бледное лицо его было, как всегда, неподвижно, он — как перед студентами клиники — отрывисто говорил:

— Пульс немного выравнивается, и дыхание улучшается... Мне кажется, что самое тяжелое уже позади. Посмотрим, что покажет утро и день... Перенесет этот день Петр Николаевич, и тогда можно надеяться на поправку...

— Этот день... Уже первое марта сегодня...

— Да, первое...

И действительно, все более успокаивающие вести приходили с третьего этажа.

...Боли меньше... Перестал метаться... Пульс наполненный, ну просто хороший пульс!.. Задремал... Заснул!.. Впервые за сутки заснул...

...Этот вскрик наверху, этот стук дверей услышал первым Гопиус. Он сорвался со стола, на котором, по своему обыкновению, сидел, бросился к двери и выскочил. Казалось, что он отсутствовал минуту или меньше... Он вошел уже совершенно не спеша. Снова сел боком на стол. Только лицо его было удлинившееся, и глаза стали косые...

— Умер. Умер Петр Николаевич.

— Мда... Вот так. Ухайдакали они его все-таки!.. Долго, сволочи, старались, но своего добились...

Гопиус встал, ни на кого не глядя, прошел к шкафу в мастерской, открыл, вынул бутыль технического спирта, налил в мензурку, понюхал, содрогнулся от отвращения, выпил... Аккуратно поставил бутыль на полку и снова вернулся на свое место.

— Теперь мы от них наслушаемся... Высокочтимый, почитаемый нами. Лейст придет, венок с фарфоровыми цветочками принесет... Как же — бывший профессор... Смерть как-то загладила грехи Лебедева перед начальством, перед царем и богом... Теперь эта шайка будет делать вид, что

он все же, хоть и ошибался, но был из них, с ними. Дураки! Они думают, что мертвый уже не страшен!.. О, кретины, болваны лютые!..

Гопиус бормотал, раскачиваясь на месте, как делает человек, когда у него нестерпимо болит зуб и он его заговаривает вот таким бормотанием, уговорами... В одной из комнатушек всхлипывал какой-то студент...

Открылась дверь, вошел Лазарев. Был он, как всегда, спокойный, только воспаленные от бессонницы глаза были красны, как бы подернуты мутной пленкой.

— Как?.. Как же это так?.. Ведь ему было лучше!.. Ведь надеялись!..

— Да, да, надеялись... И все как-то успокоились. Он заснул, спокойно так заснул... Только дежурная сестра осталась при нем. Рассказывает, что он вдруг проснулся, привстал и сказал что-то... Она к нему бросилась... Он уже был мертв...

— А что — что он сказал?..

— Она не поняла...

— Он сказал: «Света! Больше света!..»

Все в комнате обернулись на Гопиуса.

— Да, да... Это были последние слова Гёте. И Петр Николаевич мог так сказать. Не только потому, что очень любил Гёте... И свет он очень любил... В науке, в физике, в жизни больше всего любил свет... Как это удивительно точно по-русски говорится: светлый человек... Светлый...

Лазарев как бы смахнул с лица невидимую паутину.

— Пойдемте, господа... Пока никого нет, пойдемте простимся с нашим Петром Николаевичем...

...В пустой прихожей, в углу, плакала горничная. В квартире было тихо и пусто. Они прошли в спальню, где все эти последние дни и недели было темно от постоянно задернутых штор. Сейчас шторы были широко раздернуты, комната была наполнена светом. Среди серых туч пробилось солнце, и солнечные зайчики играли на стеклянных пузырьках лекарств. Лебедев лежал на постели, укрытый до горла белой простыней. Измученное и усталое лицо было спокойно, с него ушло то выражение гнева, раздражения, неудовлетворенности, которое в последние месяцы было для него обычным. Теперь это лицо было спокойным, удовлетворенным, как будто он все же добился своего, достиг, сделал все, что мог... Да, сделал. Все, что мог, сделал, а чего не смог — он не виноват... Пусть это сделают

другие. Люди с Моховой, с Волхонки, с Нижне-Лесного переулка, люди из многих других городов и улиц России...

В маленькой квартире Лебедева поток людей шел неиссякаемо, постоянно. Профессора, учителя, студенты, курсистки с Женских курсов, москвичи и приезжие — они шли по лестнице, усыпанной мелкой хвоей, заходили в маленькую прихожую, шли в столовую, огибая стол, на котором в гробу лежало тело Лебедева. Два огромных венка стояло у гроба. На аккуратно расправленных лентах надписи: «Бывшие профессора и преподаватели Московского университета — дорогому Петру Николаевичу Лебедеву, своему знаменитому товарищу», «От Московского технического училища — гордости русской науки, величайшему из русских физиков». Эйхенвальд — с опухшим лицом и красными глазами — встречал и провожал тех, что с гордостью поставили перед своим званием слово «бывшие»: Умов, Мензбир, Жуковский, Чаплыгин, Тимирязев, Реформатский, Павлов, Кольцов, Виноградов, Цингер, Вульф... На столе в глубокой вазе лежали телеграммы — груда их росла... Из Берлина от Планка, из Стокгольма от Арениуса, из Лондона, Амстердама, Парижа, Кембриджа... Из Петербурга, Костромы, Харькова, Одессы, Томска, Тюмени, Олонца... Лежала телеграмма из Петербурга от Ивана Петровича Павлова: «Всей душой разделяю скорбь утраты незабываемого Петра Николаевича. Когда же Россия научится беречь своих выдающихся сынов, истинную опору отечества». И кто-то положил рядом с телеграммой Павлова другую, присланную из Архангельска: «Скорбим со всей мыслящей Россией о кончине стойкого защитника русской свободной школы, свободной науки, профессора Лебедева. Ссыльные студенты».

...Лазарев подошел к молодому Тимирязеву:

— Аркадий Климентьевич, пошли бы вниз, посмотрели за Евгением Александровичем. Видел я его, не нравится он мне, надо бы как-то привести его в порядок...

Тимирязев протолкнулся сквозь толпу людей в комнатах, в прихожей, на площадке, на лестнице и спустился вниз. Лаборатория была пуста. Не обычной воскресной или послерабочей пустотой, а тревожной, горестной. Как будто кончилась жизнь не только Лебедева, но и этого любимого им подвала... В глубине, в какой-то комнате, был слышен

приглушенный голос. Тимирязев вошел в лебедевскую комнату. На столе, покачивая ногой, сидел Гопиус, бледное его лицо заросло трехдневной щетиной, красные глаза остекленели. Почти уже пустая бутылка водки стояла на смятой газете, рядом валялся недоеденный кусок черного хлеба.

Тимирязев постоял в дверях, укоризненно качая головой.

— Евгений Александрович! Евгений Александрович! В комнате Петра Николаевича!.. За его столом!.. И вообще... Зачем так!..

— Да бросьте, Аркадий Климентьевич! Петр Николаевич не зайдет внезапно, больше уж нечего бояться. Ни ему, ни нам. А чего мне там наверху делать? Утешать Валентину Александровну я не умею, да и глупо это... Сам не могу утешиться, других стану уговаривать?.. Похороны организует университет Шанявского, все будет завтра как надо... Еще и придут черные сюртуки с Моховой. Со скорбными лицами, но довольные...

— Ну, ну... Это уж слишком вы!.. Конечно, осталось там много ничтожных людей, но не такие уж они негодяи, чтобы радоваться смерти такого великого ученого...

— Да не в радостях дело! Петр Николаевич вам сказал бы, что надобно больше Гёте читать!.. У него сказано точно: «Для посредственности нет большего утешения, чем то, что и гений не бессмертен»... Вот говорят и пишут: «великий, великий»... Ан в сорок шесть лет и помер, а мне вот под семьдесят, и я живу... Да еще и каждый год орденок да следующий чинок огребаю... Да ну их!.. А я вот так и не успел договорить с Петром Николаевичем! Ах, не успел!..

— О чем?

— О жизни. О жизни, Аркадий Климентьевич!.. Не о науке — тут мне с ним не о чем было разговаривать, надобно было только его слушать. А вот о жизни... Об этом не договорил... Никогда не надо откладывать разговоров с великими людьми, с умными людьми, с замечательными людьми... Потом кусаешь себе локти, да поздно!.. Да вы, милуша, не беспокойтесь. Небось Пепелаз вас послал для наведения порядка? Ничего. Завтра на похоронах буду трезвый, побритый, прилично одетый... И в морду никому не дам. Чего это днем студентов из университета так много?

— Так студенты физмата заявили преподавателям, что под впечатлением смерти Лебедева они продолжать занятия не могут... И аудитории там пусты. И в лабораториях Физического института, у Алексея Петровича Соколова, совершенно пусто.

— Скажи на милость, как не везет начальству с Лебедевым... Ну, потерпят. Немного осталось... Идите, идите, дорогой... Успокойте Пепелаза, Александру Александровичу скажите, что Гопиус в порядке и приличие блюдет...

В воскресенье, четвертого марта, резко потеплело, подул сырой теплый ветер, плотные, слипшиеся снежинки падали с темно-серого неба косыми прямыми линиями. Мертвый переулок был запружен людьми почти до самой Пречистенки. Гроб Лебедева плыл на плечах студентов среди огромной черно-зеленой толпы. Где-то позади родных, делегаций среди учеников Лебедева шел и Гопиус, такой, каким обещал быть: бледный, трезвый, аккуратный, мрачный...

— Кто это? — спросил у него шедший рядом Кравец, оглядываясь на стоявшую на тротуаре группу людей, одетых в одинаковые длинные пальто и черные котелки.

— Делегация,— мрачно буркнул Гопиус.— Не видите, что ли? Делегация от исполняющего обязанности градоначальника полковника Модля. Это, так сказать, официальные представители. А неофициальные идут с нами, учинив на своих мордах соответствующее скорбное выражение...

Процессия вышла на Пречистенку и стала спускаться вниз, к Пречистенским воротам, туда, к Волхонке, к старому голицынскому дому, где находился университет Шанявского. В домовой церкви шла последняя панихида. Сквозь толпу протискивалась группа людей с большим металлическим венком. Белые фарфоровые цветы качались и тихо звенели. Впереди шел, выставив длинную бороду, с блестящим цилиндром в руке помощник ректора Московского университета Эрнст Егорович Лейст. На лице у него застыло скорбно-унылое, соответствующее моменту, выражение. Он тихо отдал распоряжение, венок от императорского Московского университета прислонили у входа в церковь, на соответствующее значению венка видное место. После этого Лейст приосанился, быстро перекрестил свой

парадный сюртук и прошел в церковь, откуда плыл ладанный дым и неслось тихое погребальное пение.

Гопиус вышел из толпы, не смогшей попасть в церковь, и пошел вдоль рядов бесконечных венков, прислоненных к стенам. Он шел, быстро просматривая надписи на шелковых лентах венков: «Знаменитому...», «Великому...», «Незабвенному...», «Гордости русской науки...», «Светочу...». Потом он остановился перед большим венком, с трудом приподнял его и поставил рядом с металлическим венком от Лейста. Гопиус аккуратно расправил ленты на принесенном им венке и, прищурившись, снова перечитал надпись на них: «Он горд был, не ужился с тьмой! Студенты Московского университета».

Теперь похоронная процессия длинной черной змеей двигалась по заснеженной Волхонке туда, на восток, по дороге, по которой столько раз в своей жизни ходил Лебедев. Несмолкаемый хор студентов пел «Вечную память»... У здания Московского университета процессия остановилась. Гроб со студенческих плеч перешел на траурный катафалк, лошади в черных траурных попонах начали медленно размешивать серую снежную грязь по дороге к Алексеевскому монастырю.

Все остальное прошло очень быстро. Модль, Тихомиров и безвестные личности, затесавшиеся в толпу, провожающую Лебедева, могли не беспокоиться. По просьбе родных речей на могиле не было, могильщики привычно быстро опустили гроб с телом Лебедева в могилу, неподалеку от могилы его старого учителя — Столетова.

...Маленькая группа людей вышла к Страстному монастырю, повернула на Большую Дмитровку и начала спускаться вниз. Уже вечерело. Они шли быстро, ни разу не перекинувшись словом, не спрашивая друг друга, куда они идут. Дорога была знакомой, ох как она была знакома!.. Какой же веселой, какой радостной она была когда-то!..

Они вошли в знакомый трактир и стали раздеваться, отряхивая свои пальто от налипшего мокрого снега. Знакомый половой, радостно удивляясь появлению старых знакомцев, повел их в угол — тот самый, где они всегда

усаживались... Как и всегда, он сдвинул столы, накрыл их скатертью и быстро принес все, что он приносил обычно: бутылки с пивом, рыбку, колбасу — незатейливое меню господ из университета, пришедших к нему после большого перерыва. Он расставил стулья и стоял, глядя, как они рассаживаются. Он поискал глазами того — большого, красивого, веселого,— что был у них всегда главным. Поискал, не нашел и, мгновенно догадавшись, вздохнул и незаметно перекрестился...

Гопиус разлил по стаканам пенящееся пиво. Он оглядел всех за этим столом и совсем не так, как всегда говорил, а медленно, со знакомыми интонациями, от которых вдруг невыносимо защемило сердце, сказал:

— Ну что ж, товарищи! Коллоквиум Лебедева продолжается...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Для старшего возраста

Лев Эммануилович Разгон

ОДИН ГОД И ВСЯ ЖИЗНЬ

Ответственный редактор
М. А. Зарецкая
Художественный редактор
И. Г. Найденова
Технический редактор
Е. М. Захарова
Корректоры
В. Е. Калинина и *Л. А. Рогова*

Сдано в набор 5/I 1973 г. Подписано к печати 15/V 1973 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 8. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 13,7. Тираж 75 000 экз. А09137. Заказ № 112.
Цена 57 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Разгон Л. Э.

Р17 Один год и вся жизнь. Рис. Г. Филипповского. М., «Дет. лит.», 1973.

255 с. с ил.

Повесть о жизни и деятельности одного из самых замечательных русских ученых — Петра Николаевича Лебедева (1866—1912). Основатель школы русских физиков, П. Н. Лебедев был одной из самых ярких и интересных личностей в истории русской науки.

53(09)

го.

ных
ова-
яр-

09)







ЦЕНА 57 КОП.